

ADENAUER: AFGHANKRIEG: AGENT
 007: AIDS: AL CAPOONE: AMUNDSEN:
 ANNA PAWLOWA: ARMEENTERMASSA-
 KER: AUTOBAHN: BEATTIE: BILL
 GATES: CARUSO: CD: CHAPLIN:
 CHE GUEVARA: CHRISTIE:
 CHURCHILL: COMPUTER: COU-
 STEAU: DALAI-LAMA: DAN: DIESEL:
 DIGITALISIERUNG: DIOR: DJS: DYS-
 NEY: EBOJA: EDISON: EINSTEIN: EL
 NIÑO: ELVIS PRESLEY: E-MAIL: EURO:
 EXPRESSIONISMUS: FEMINISMUS:
 GERNEHEN: FIDEL CASTRO RIZ:
 FRANGO: GAGARIN: GLOBALISIE-
 RUNG: GORBATSCHOV: GREEN
 PEACE: HARRY: HELMUT KOHL:
 HEMINGWAY: HENRY FORD: HERZ-
 TRANSPLANTATION: HIROSHIMA:
 HITCHCOCK: HITLER: HOLOGRAUF:
 HUSSAIN: INTERNET: JEANS: JET-
 KASKA: KALASCHNIKOV: KAMIKA-
 ZE: KATE MOSS: KERNSPRETUNG:
 KING-KONG: KLONEN: KOMINTERN:
 KOSOVO: KUNSTOFFE: LADY DI:
 LENIN: USD: MACIA: MAHATMA
 GANDI: MANDELA: MAO TSETUNG:
 MARIENE DIETRICH: MAVERAII:
 MAX PLANCK: MERYLIN MONROE:
 MONDINVASION: MUSSOLINI: NABO-
 KOV: NATO: NATURKATASTROPHEN:
 NOBELPREIS: NYLON: OPEL: OZON-
 LOCH: PASTERNAK: PELE: PENCI-
 UN: PERESTROIKA: PICASSO: PIAN-
 WIRTSCHAFT: POL POT: POP-ART:
 QUARK: RECYCLING: RICHARD
 STRAUSS: RINKE: ROBERT KOCH:
 ROBOTEK: ROCK-N-ROLL: SAGHA-
 ROW: SEXREVOLUTION: SIGMUND
 FREUD: SPUTNIK: STAAT ISRAEL: STA-
 LIANGRAD: STRAVINSKI: TARSAN:
 THATCHER: TITANIC: TOUTOU:
 TONFILM: TSCHECHOW: TSCHERNO-
 BYI: TSCHETSCHENIEN: TSWETAIJEN:
 UDSSR: UMWALZUNG: UHO: VIAGRA:
 VIETNAMKRIEG: VITAMINE: WELT-
 KRIEG: WWW: ZEPPELIN

BEK XXI

Выпуск 2

ВЕК XXI

АЛЬМАНАХ

выпуск второй

2001

Альманах "ВЕК XXI"

выпуск второй

Ответственный редактор А.Барсуков

Литературные редакторы Г.Киселева, Е.Тинтман

*Издание подготовлено редакцией
литературного объединения "Edita Gelsen e.V."
Postfach 100304, 45803 Gelsenkirchen*

Copyright © 2001 bei Autoren und Übersetzern

Umschlaggestaltung

Copyright © 2000 bei Viktor Lozenko

Alle Rechte in dieser Ausgabe vorbehalten

Gesamtherstellung Edita Gelsen e.V.

Printed in Germany

ISBN 3-00-008582-3

Sprache der Ausgabe Russisch

Уважаемый Читатель!

Со времени выхода первой книжки альманаха прошло чуть больше года. Приводить здесь положительные, а порой и однозначно хвалебные отзывы о нашем первом издании было бы нескромно. Однако и не упомянуть о них представляется неразумным. Выработанная нами концепция интегрирующей эмигрантской литературы имеет, судя по отзывам об альманахе, полное право на жизнь. Актуальность проблематики европеизации (либо американизации, либо "израилизации") отягощенной коммунистическим прошлым человеческой личности не вызывает никаких сомнений.

К сожалению, молодые люди, переместившиеся на Запад в сознательном возрасте и уже нашедшие точку приложения сил в мире твердой валюты, в большинстве своем выпадают из круга наших читателей. Не беда! Мы сознательно ориентируемся при отборе авторских работ на семью как микроэлемент социума, на людей с вполне сложившимся мировоззрением, - с тем чтобы через них, возможно, донести и до наших юных соотечественников простые и ясные идеи духовности, служения делу, гражданственности, в конце концов; идеи, имеющие так мало общего с фетишами "общества удовольствий": с кабриолетами, с отпуском на Мальдивах, с шестизвездочными отелями...

Мы безмерно благодарны нашим авторам-единомышленникам, мы делаем все от нас зависящее, чтобы сократить путь от авторского манускрипта до публикации и надеемся в будущем расширить и расширять сферы нашей деятельности.

Особую благодарность хочется выразить членам литобъединения "Edita Gelsen e.V.", финансовая поддержка которых вносит существенный вклад в реализацию наших проектов. Членство в "Edita Gelsen" станет, как мы надеемся, непременно проявлением неуспокоенности и гражданской ответственности.

Коротко об авторских книгах. "Edita" готовит к публикации и выпускает авторские монографии. Все средства от этой деятельности используются для финансирования нашей периодики.

Желаем вам творческих успехов и ...до новых встреч!

Издатель

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИРИКА

Jana Rentsch. Стихи. Пер. А.Смолянского 7

РАССКАЗ

В.ЛеГеза. Все утки... 12

ПОЭЗИЯ

М.Кравцова. Стихи 19

РОМАН

В.Фадин. Семеро нищих под одним одеялом 23

О НОВЫХ КНИГАХ

М.Кравцова 266

ВОСПОМИНАНИЯ

Л.Зац. Время... 267

ЛИЧНОЕ

Г.Ионкис. Линда 278

РАССКАЗ

В.Волков. "Вишневый сад" 323



Jana Rentsch

Отдельные стихотворения Яны Ренч из Коттбуса мы опубликовали в первом выпуске альманаха. В этом номере сборника работы поэтессы публикуются в переводе Александра Смолянского.

aus den nebelwallenden wiesen
steigt der tag
gras im haar
und ein gänseblümchen
im knopfloch
verschmitzt blinzeln
und dann
rennt er lärmend los
bei rot über die straße
und so
verwegen
in jedes fenster schauend
an allen türen rüttelnd
daß ihr's wißt
er ist da
der neue tag

с затуманенного луга
день встает
торчит травинка
в волосах и маргаритка
из петлицы
подмигнув лукаво
молча
сломя голову несется
через улицу под красный
и при этом
удается
в каждое окно побиться
и в любую дверь толкнуться
чтобы знали вы
что здесь он
новый день

das schwerste
das unverständnis
ertragen
nach jedem schritt
vertrauens

der gleiche weg
zurück
ist noch lange nicht
der gleiche weg

auf unserer summenden wiese
liegen wir mitten im frühling
fühlst auch du
den winter
aus dir herausrennen?

das meer der tränen ist unendlich
mein herz schmerzt in der eisernenhand
des windes
schwarze einsamkeit
das wankende schiff der zuversicht
meiner sehnsucht gerät in sturm
finsterste ungeheuer eines ichs
liebe - gelte ein schrei gen himmel
dort wo keiner ist
liebe - kreischen die dunklen vögel
von den masten zurück
kahl
vom wind leergefegt
ist mein herz
seine wurzeln suchen nach halt
liebe - wispere sie in die tiefe
liebe - flüstern die lippen
die verdorrten
die den versiegten brunnen hüten
liebe - schreit mein herz
durch windstille finsternis
ich treibe durch die nacht
liebe?

всего тяжелей
непонимание
вынести
после нового шага
к доверию

та же дорога
но назад
это совсем не
та же дорога

на нашей жужжащей лужайке
лежим посредине весны
а чувствуешь ты
как зима
сейчас из тебя вытекает?

море слез бесконечно
мое сердце щемит железные лапы
ветра
как одиночество мрачно
а кораблик который влачит
тоску мою встретился с бурей
с мрачным чудищем моего же я
любовь - несетя вопль с поднебесья
где никого нет
любовь - визжат эти мрачные птицы
за гнущейся мачтой
голое
опустошенное ветром
сердце мое
что сосудами ищет покоя
любовь - это ропот из бездны
любовь - это шепчут губы
пересыхая
как иссыхает родник
любовь - кричит мое сердце
через стоячую темень
я тяну тебя через ночь
любовь?

der morgen knirscht

eisig unter den füßen
dunkelheit
und grau
und weiße leere
flicßen in mich ein
und ich?
ich habe keine farben mehr
um mich zu wehren

утро льдисто

хрустит под ногами
нечто черное
и серое
с белым ничто
втекают в меня
как быть?
другие краски сама ищи
для самозащиты

der schlaf

das klebende spinnentier
breitet seine dichten netze
über mir aus
wie eintagsfliegen
kämpfen die gedanken
um's überleben
vergeblich
für diesen tag

сон

клейкой нитью
тянет паук свою сеть
как раз надо мной
однодневками-мухами
мысли бьются жужжат
как пережить
ненужность
этого дня

manchmal

bin ich dir so fern
da gibt es keinen
einzigsten menschen
in der welt
der dich liebt

порою

я так от тебя далека
что никого уже
в целом мире
нет и не будет
кто тебя любит

ich liebe an dir auch

was du nicht bist
weil du mich
daran erinnerst

я люблю в тебе то

чего ты не имеешь
ведь ты мне об этом
напоминаешь

mein herz rast

wie ein schnellzug
durch die nacht
ohne ziel

мое сердце мчится

как скорый поезд
сквозь ночь
без цели

müdigkeit

klammernde schwere
hältst mich
traumlos
am boden
ohne licht
leere
breitet sich aus

seht nur

die flamme
die tänzelnde
züngelnde
funken spr/m?hende
ihre hände
reicht sie euch
und dem himmel
ihr tanzt mit ihr
die gesichter gerötet
und glühend
von ihrer wärme
im kalten rücken
die schwarze nacht
mit ihren wild
funkelnden augen
hier beim feuer
tut sie euch nichts
für euch
gibt es keine angst
das sprüht es
in wildem funkenschlag
hinauf
dem sternklaren
himmel entgegen

was sind vögel

anderes
als
kleine
pochende herzen
mit zwei flügeln?

усталость

вцепившись в меня
не дает
уснуть
на полу
без света
опустошенная
расстелилась

ВИДИТСЯ ТОЛЬКО

пламя
вихлястое
языкастое
искристое
руками
тянется к вам
и к самому небу
танцует с вами
вгоняет в краску
опаляет
теплом своим
холодные спины
черная ночь
с многоточием
диких глазниц
здесь у огня
вам не грозит
ничем
страха поэтому нет
и мечутся
тычутся искры
вверх
яснозвездному
небу навстречу

кто такие пернатые

не что иное
как
мелкие
вздрагивающие сердечки
только крылатые

wärst du das ufer
umschmeichelte ich dich
käme ich augenblick
für augenblick
als schäumende welle
zu dir zurück
allen zeiten zum trotz

wasser
spül den tag mir aus den poren
reich mir in die seele
deine zärtlichen kleinen hände
spül leer mir die augen
spül leer mir die seele
begieße die verdorrten traumgräber
in mir
auf daß sie blühen mögen
irgendwann
auf daß sie hergeben
was ihnen doch nicht angehört
denn ich brauche sie doch
meine träume
zum leben
zum weiterleben

wind
schmeichler
streichler
zärtlicher freund
zauser
zerrauer
wildestes pferd

wieviel kraft
mag die seele
dem körper verleihen
und
wieviel nehmen!

был ты берегом
я обольстила б тебя
неотступно и бережно
лаская и теребя
как волна бурлива
но не подвержена
власти отлива

вода
вымой день из всех моих пор
достань саму мою душу
маленькой нежной рукой
выполоскай мой взор
выполоскай мою душу
полей сухие могилки надежд
во мне
чтобы на них появились цветы
когда-нибудь
чтоб они мне смогли одолжить
то чего у них не было
ведь они мне так нужны
мои надежды
чтобы жить
чтобы дальше жить

ветер
льстивый
шаловливый
нежный друг
взвинченный
взломаченный
норовистый конек

сколько силы
может душа
телу дать
и
сколько отнять



В.ЛеГеза
Все утки...

Дыра в рыжем стволе. Это не дупло, а пещера в самом основании дерева. Полость в рост человека. Вигвам. Внутренности дерева, из которого вынули сердце и желудок. Впрочем, может быть, сердце располагается выше, ближе к кроне, короне ствола, и к небу. Мы забираемся внутрь, заполняя собой пустоту. Теперь дерево приобрело новый смысл. Кентавр, русалка, полудерево, получеловек, человеки. На несколько минут мы породнились через ствол с обитающими в нем белками, жуками, дятлами, древоточцами и грибами-паразитами. Если дерево поднатужится, оно может втянуть нас внутрь, принять в свое лоно, сделать твердыми, как орехи, неподвижными и мудрыми. Мы ждем, но ничего не происходит. Дереву не до нас. Мы значим для него не больше, чем жуки и белки. Приходится выбираться наружу, так и не затвердев.

Красный лес называется красным за рыжий пух, покрывающий его стволы. Красно-рыжий лес многовековых секвой. Деревья древние, а пух новенький, как на цыпленке. Только пробился. В лесу всегда темно. Кроны закрывают солнце. Но солнце и так собирается закатиться, как медная монета за горизонт. Пора. Вечер. Поднимается ветер. Он поднимается с земли, закручивая опавшие листья и пыльную затоптанную хвою. Треплет наши волосы. Поднимается вдоль волосатых стволов к темным ковровым игольчатым лапам. Перебирает растопыренные пальцы ветвей вплоть до верхушек. Мы идем между секвойями в красном лесу. Валечка и я. Настоящее его имя - Кирк Мюллер. Он родился в день святого Валентина. (Американский праздник, сладкий, как переваренный сироп. Шоколадные сердца в золотых обертках, поздравительные открытки с диатезными ангелочками и неизбежные красные розы). Сентиментальная бабушка потребовала, чтобы ему дали второе имя - Валентин. Кирк-Валентайн на американский

манер. Я называю его Валечкой. Имя Кирк напоминает мне не то кирку, не то кирху. Слоистый разлом горной породы. Крик утки в седых жестяных камышах. Звон косы, наскочившей на камень.

Мне сорок. И Валечке сорок. Но у меня - половина белых волос, двое почти взрослых детей, два замужества за плечами, три диплома, аспирантура. Я переменила четыре профессии и три страны. Я знаю четыре языка и еще могу читать на иврите. Я потеряла все, что могла, включая Советское гражданство, последнего мужа-альпиниста, работу и левую почку.

Валечка моложавый, мускулистый блондин без единого седого волоса. Ему не дашь больше двадцати пяти. Его вышибли из одиннадцатого класса школы за употребление и продажу наркотиков. Он навек обиделся на человечество в целом после того как отсидел две недели в каталажке. Это не мешает ему хорошо относиться к отдельным людям. Он - добрый, отзывчивый и недалекий. Валечка никогда не был женат, все еще ищет себя, думает кем ему быть. Он строит планы и живет со своей мамой, Джиной, в доме, где он родился сорок лет назад в день св. Валентина. Если смотреть ретроспективно - у нас нет ничего общего. Если взглянуть на сиюминутную картину жизни - мы удивительно похожи. Нам по сорок, мы оба одинокие, без работы, и практически бездомные, находимся в одной и той же точке Земли и времени. Сумерки. Мы - в красном лесу. У Валечки преимущество, английский - его родной язык. Поэтому он относится ко мне покровительственно.

Мы остановились возле дерева, уходящего на километр в высоту. Стоим как на распутье. Можно пойти дальше по тропе, а можно - вверх по стволу. Оба пути ведут в темноту. Мир становится удивительно трехмерным. У подножья - табличка: «Дерево посвящается президенту Линкольну». Дереву это безразлично. И мне это безразлично. А Линкольну и подавно. Между рожками стволами течет ручей. Маленький поток, который берет начало в горах и мог бы разлиться в грозную стихию, но не хочет. Ему и так хорошо. Поток времени, поток сознания, поток круговращения природы. Он несет мусор, сбитые листья и сучья после недавнего дождя, он несет зыбкие отражения, пауков-водомеров, мелких рыб, блики уходящего дня, запахи травы и тины. Он тянет по дну картовые камешки, он тянет в глубь леса устремленные на него взгляды. В ручье, в потоке времени, плывет нарядная утка. «Валечка, - говорю я, - посмотри, какая утка!» Утка ближе, интереснее, чем вековые деревья. Многовековые деревья. Я не многовековая, я здесь временно. Меня больше интересует утка. Она

своя, близкая, смешная, даже аппетитная. И Валечка.

Мы садимся на поваленный ствол секвойи. Зеленый, а не рыжий. Мертвый пух позеленел, заплесневел. Кругом мрачные папоротники, цветущие раз в году на Ивана Купала. Шумит ручей сознания и мешает мне сосредоточиться. Вечный, болтливый ручей сознания, повторяющий на разные голоса банальные истины, ворочающий обкатанные гольши слов. «Тебе уже сорок, приличный возраст, - картавит ручей, - неустроенная, немолодая. Время уходит. Кому ты нужна такая? Без работы, без почки, без денег, без друзей...» Валечка смотрит поверх моей головы. У него прозрачные мальчишеские глаза и волосы до плеч, по моде семидесятых годов. В темноте мне тоже кажется, что я в семидесятых. Мне двадцать и Валечке, который немного похож на моего сына, тоже двадцать. Он оглядывается и вытаскивает из кармана мятую сигарету без фильтра. Затягивается, дает мне затянуться. Табаком не пахнет. Марихуана! Пат, трава... Сидим рядом на бревне, как два американских студента, сбежавших с занятий. Будто мы так и просидели на этом бревне, покуривая травку, последние двадцать лет. Мой поток сознания успокаивается, затихает, вяло струится между знакомых слов и образов. Я вживаюсь в чужие воспоминания, впитываю их вместе с запахом марихуаны и хвои: хиппи, война во Вьетнаме, земляничные поляны, свободная любовь, Битлз, марши мира. Что из этого было и в моем прошлом? Битлз... Я не очень переживаю по поводу маршей мира, но жаль, что прошло время свободной любви. Или еще не настало? Я впервые чувствую себя по-настоящему свободной, как пролетариат, который сбросил цепи и еще не обзавелся новыми. «Свобода от чего?» - иронически спрашивал мой бывший муж. «От тебя, от прошлого, от детей, которые уже выросли, от обязательств, от друзей и родных - зрителей, оценивающих каждый твой шаг». Назойливые, как струйки, бьющие в жестяную раковину из незакрытого крана, голоса: «Зачем ей аспирантура? Все равно ничего не зарабатывает. Лучше бы детьми занималась. Опять задурила баба. Завела роман со своим шефом. Мужик на двадцать лет старше ее и женатый. Ходит вечерами на курсы французского, как будто ей английского мало. Она бы готовить научилась, больше толку было. Может быть, тогда муж не сбежал бы».

Я подвигаюсь ближе к Валечке и чувствую тепло его плеча сквозь футболку из белого хлопка. Он чуть-чуть отодвигается, достает из кармана синий пластмассовый гребешок. Расчесывает длинные светлые волосы. От него пахнет детским теплом, яблочным шампунем и мылом, дымом. «Я растрепалась?» Приглаживаю свои

волосы, стараясь не думать о белой пряди на лбу. (Когда я научусь, как все нормальные женщины, красить волосы, носить за собой сумочку с расческой, зеркалом, помадой-пудрой? Охорашиваться по временам, как птица чистит перья, вызывая одобрительные и восхищенные взгляды мужчин... Наверное - никогда. В сорок поздно менять привычки.) Валечка притягивает меня к себе. Проводит несколько раз синим гребнем по моим волосам. По дорожке, переваливаясь, проходит утка. Она хромот, как я после операции, но это не вызывает в утке ни малейшего смущения. Она кокетливо поводит широким перыстым задом. Смотрит на нас, мы - на нее.

Интересно, это та же, что плыла в ручье, или другая? Или она идет вслед за первой? Нам все утки кажутся одинаковыми, а уткам - люди. «Утки все парами, как с волной волна! Только я одна, как берег у моря, - проникновенно говорю я Валечке, по-русски конечно, - поцелуй меня». «Звучит для меня как китайский! - констатирует Валечка по-английски. - Ты меня обругала?» «Нет, я сказала, что ты очень милый. Холодно становится. Поехали обратно».

Мы идем по черной тропинке. Тропа извивается, как змея. Она виляет и дыбится, уходя из-под ног. Я пытаюсь удержаться в равновесии на спине хвойной змеи. Временами хватаюсь за локоть Кирка-Валечки, чтоб не упасть. На стоянке, окруженной цепью белых фонарей, все кажется очень четким. Поток ненатурального охлаждающего света обрушивается на наши головы и стекает по рукам. Машины стоят далеко-далеко. Мои глаза превращены в перевернутый бинокль. Квадрат стоянки залит светом, как каток льдом. Ветер гонит меня по светящемуся льду - людской кораблик под парусом раздутой куртки. Ветер из леса подгоняет запахом влажной хвои и шумом ручья обратно к машине, на которой мы приехали. Прогоняет из своего многоствольного тела. Змея уползает обратно в красный лес, который стал черным. «Марихуана обостряет зрение и вообще все чувства», - покровительственно объясняет Валечка.

Из просторного тела леса мы переходим в компактное, пахнущее искусственной кожей и бензином чрево машины. В машине я обнимаю Валечку за шею и целую в щеку. Разбивая колени о ручку трансмиссии, разделяющую нас, я обнимаю его и быстро начинаю рассказывать об утках и о море, о времени, которое обтекает нас, как этот белый ужасный струящийся свет фонарей. И скоро совсем утечет, это время и этот свет. Валечка понимающе

кивает и расстегивает мою куртку. В середине монолога я думаю, что следует, наверное, перейти на английский или на китайский, в крайнем случае, чтобы он понял. Тут я с ужасом обнаружила, что не знаю ни слова по-китайски. Хорошо, что Валечка молчит. Я тоже буду молчать, и, может быть, он не догадается, что у нас нет общего языка.

В окно машины стучат. Поднимаю глаза. Жирный полисмен светит на нас ручным фонариком и стучит в стекло. Лицо Валечки каменеет. Я боюсь, как бы он не наскандалил. Валечка ненавидит всех полисменов, бюрократов, учителей, почтовых служащих, врачей, политиков, артистов и военных. Но больше всего - полисменов. Я поспешно выбираюсь из машины, любезно улыбаюсь полицейскому и на своем каркающем английском спрашиваю, что случилось. Полисмен тоже улыбается, глядя на мою расстегнутую куртку и смятую блузку. Он вежливо сообщает, что после захода солнца парк закрывается. Нам следует убираться со стоянки. Я улыбаюсь еще любезнее и заверяю его, что мы отбудем сию минуту. Желая ему приятного вечера. Жирный хихикает и желает нам тоже приятного вечера. Редкие белесые волосы на его висках смочены потом, несмотря на прохладный вечер. Я подозреваю, что некоторое время он наблюдал за нами через окно машины. Хорошо еще, что он не унюхал марихуану.

Валечка включает радио на полную катушку, нажимает на газ, и мы срываемся в темноту калифорнийской ночи. От быстрой езды и громкой музыки он постепенно смягчается. Его красивый примитивный профиль уже не кажется каменным. Мы летим со смертоносной скоростью по шоссе. Валечка обгоняет все машины, попадающиеся на пути. Он водит как маньяк. Раньше у меня каждый раз выступал холодный пот на лбу и желудок подкатывал к горлу, когда я с ним ездила. После того, как я выбиралась из машины, меня рвало минут двадцать. Но мне стыдно было признаться, что я боюсь. Валечка бы меня задразнил. Он любит дразнить меня, как мальчишка. Теперь я привыкла к его манере езды. Он здорово водит машину, и реакция у него хорошая. Даже если мы навернемся, что я потеряю? Кучу проблем и еще одну почку? Зато отправлюсь на небо в приятной компании. Валечка крутит баранку одной рукой, а второй держит меня за руку. Так вот, держась за руки, мы войдем с ним в рай, где не будет иметь значения, что у нас нет общего языка.

Приезжаем домой, в пропахшую сигаретным дымом,

плесенью и холодом квартиру на шестом этаже. Мы снимаем вместе квартиру в Сан-Франциско. Соседи, значит. «Рум-мейт», как говорят американцы. У меня - пособие по безработице и крохотная стипендия в университете, где я пытаюсь освоить популярное компьютерное программирование. (Куда мне было еще податься с моим дипломом специалиста по английской литературе и незаконченной докторской диссертацией, посвященной Оскару Уайльду?) На что живет Валечка - неизвестно. Может быть, опять торгует наркотиками? Мы познакомились в буддийском медитационном центре. Куда идет человек, когда ему некуда пойти? Медитировать или молиться. Я предпочитаю медитировать. Сидеть на полу и погружаться во вселенскую пустоту под нежные звоночки восточной мелодии. Буддисты действуют на меня успокаивающе. Мои дети развехались по университетам, бывший муж-альпинист женился на другой. Она лазит лучше меня по горам и моложе на десять лет. За квартиру платить было нечем. Тут подвернулся Валечка, и я сдала ему пустую комнату. Вместе мы кое-как оплачиваем счета. Когда становится совсем невмоготу от безденежья, я мою посуду вечерами в одном китайском ресторанчике неподалеку. (Пять долларов в час наличными.) Когда кончится мое пособие, я окажусь на улице, поскольку программирование для меня по-прежнему темный лес, а одной китайской посуды на квартплату не хватит. Дорогое жилье в Сан-Франциско, просто кошмар! А Валечка, наверное, вернется под крылышко к своей маме, с которой он смертельно разругался полгода назад. Может быть, под этим крылышком найдется место и для меня? Вряд ли...

В одной спальне - я, в другой - Валечка. В общей комнате мы иногда по вечерам смотрим телевизор, когда Валечка не шляется по девочкам. Я его попросила как человека не водить к себе барышень, когда я дома. Один раз он пришел с подружкой, и я всю ночь ни на секунду не могла заснуть, так она вопила и стонала. Раскрепощенная американская девушка девятых с трехцветными волосами и кольцом в носу. Стены тонкие. Я не монашка, но нервы у меня не железные. Теперь он вежливо приносит мне билеты в соседний кинотеатр на последний сеанс. Во всем остальном я стараюсь не вмешиваться в Валечкину личную жизнь, а он - в мою. Как-то раз он постучал ко мне ночью, но я заперлась на задвижку и сказала, что он ошибся дверью. Больше это не повторилось.

Валечка зажигает свет во всех комнатах. (Мне кажется, он боится темноты.) Включает телевизор. Мигает заспанный заснеженный экран. Сначала хлопья летят по диагонали, потом

сверху вниз. Из белых они становятся зелеными, красными. Валечка стучит по антенне и по ящику, пока изображение не выравнивается. Его любимое шоу: «Дикий, дикий запад». Еще он любит мультфильмы про полосатого кота и умную мышку и документальные фильмы о животных. Сегодня показывают что-то из жизни аллигаторов. Валечка ложится на ковер перед телевизором и внимательно, как кот, смотрит на экран. Я наливаю себе чашку кофе и сажусь рядом. У меня еще не прошел хмель от марихуаны и все кажется приятным и легким. Глажу Валечку по спине, по голове. Он жмурится от удовольствия: «Потри между лопатками. У меня там мускулы светло. Перекачался утром». (Валечка каждое утро пробегает две мили, а потом делает зарядку с гириями. Не удивительно, что он в отличной форме.) Я чешу Валечку между лопатками, как большого кота, плясую на крокодилов и думаю - неужели это итог моей жизни? Заплесневелая пустая квартира, безработица, безмозглый загорелый Валечка со стальными мускулами и неотразимой детской улыбкой?

Через пару месяцев, отравленная собственными бушующими гормонами и одиночеством я, наверное, перестану запира́ть дверь спальни. Рожу белобрысого сына с примитивным нежным профилем. Назову его Дугласом. Валечка сбежит обратно к своей маме, убожавшись ответственности. Я брошу опустыленный университет и осточертевшее программирование, в котором до сих пор ни фи́га не понимаю. Как мне надоела вся эта борьба за существование! Заведу рыжую зубастую собаку плюс к ребенку и сяду на государственное пособие для матерей-одиночек. Мои подростки дети будут навещать нас и со снисходительным презрением пожимать плечами: «Сдурела мамочка на старости лет. Ранний маразм. Куда ей ребенка в ее возрасте? И от кого она родила?» (Назойливая болтливая струйка из незакрытого крана.) Деликатно поинтересуются, хватает ли мне денег и вздохнут облегченно, когда я откажусь от их помощи.

Буду ходить каждый день к Тихому океану с потрепанной коляской, купленной в магазине Армии спасения, набирая песок в плетеные сандалии. Я буду разговаривать с маленьким Дугласом на четырех языках, а он улыбнется в ответ бессмысленно и лучезарно, как Валечка. Рыжая собака ляжет у моих ног в зернистый песок, прислушиваясь к шуму волн. Выплюю наконец. Буду писать роман из жизни эмигрантов, который никто никогда не прочитает. Но все же это будет лучше, чем моя заплесневелая бесполезная докторская. Запишусь в библиотеку и перечитаю всего Марка Твена,

Теодора Драйзера и Джека Лондона на английском языке, как давно мечтала. Не так уж плохо для одинокой сорокалетней женщины. Впрочем, к тому моменту мне будет уже сорок один с хвостиком.

За окном в тумане ревет пароходная сирена. Холодный ветер с океана пробивается сквозь щели и ерошит жидкие занавески. Еще сильнее пахнет плесенью и одиночеством в нашей запущенной квартире на последнем этаже. Я поощрительно похлопываю Валечку по широкой спине, поднимаюсь и, пошатываясь, иду в кухню. Долго роюсь в ящике с инструментами, чтобы найти отвертку. Или, может быть, просто сбить молотком эту проклятую задвижку с двери?



Поэзия

Марина Кравцова

А ветры слетаются птицами.
И южный с восточным — крылом
Мои задевают ресницы
И в душу ко мне напролом
Ворваться пытаются инеем.
И ливнем по ней, как хлыстом,
Проводят, проходят по линиям,
Где боли и гнева излом.
Ах, ветры бы всею, вечером
В руке между пальцами сжав,
Как связь между нйкем и нйчего,
Как вздохов и выкриков сплав,
Раскрыть и швырнуть, чтоб позёмкою
От ветров одни сквозняки
Звучали как что-то негромкое —
Как просьба, молитва, стихи.

Уже сошедшему с ума.
Зачем грозить безумием?
Он знает все, что знает тьма
И небо в полнолуние.

Пусть время замерло в зрачках,
Размытых и расширенных. —
В них ужас битв, в них штормов страх.
В них эллин жив и римлянин.

Сквозь сумрак явственной Потоп,
Содом, разъятый пламенем,
И Лоттовой жены тот столб, —
Что соляной, что каменный, —

В зрачках, которым нет конца,
В которых убиенными
Есть сотни лиц, но нет лица —
Лица обыкновенного.

* * *

Рейн потоками на площадь,
Тихой сапой на шоссе. —
Просто город март полощет,
Как бы делает короче.
Чтоб мечталось между прочим
Только... Только о росе.

Рейн — подсвечник полнолуний —
Инструментом страстным, струнным,
Пересказывая дождь,
Кёльн кидает, точно шхуну,
В зябь, озноб, безумье, дрожь.

Это музыка оргбна.
Когда Бах небесной манной,
Половодьем скал и судеб
С Рейном вдруг уходит в люди,
А точнее идет в народ, —

То что с городом убудет, —
Все в предание войдет.

Ведь ты с чего-то начинался. —
С какой-то даты, ветра, города.
Но точно помню, что не с вальса.
Не на рассвете. Нет, ни смолоду.

Ты начинался с перекрестка,
Но без фамилии, без отчества.
И как-то невзначай, неброско, —
Почти совсем как одиночество.

Твой голос шел ко мне сквозь сваи,
За проводами продолжением
Был для меня предметом мая,
Июлем в третьем поколении.

И как касанье — просто почерк. —
Единственным звучанием
Дотронется — “Спокойной ночи”,
До губ коснется — “До свидания”.

Ты начинался мимоходом
Как сна, как случая неопытность,
Чтоб продолжаться год за годом
То Римом, то Константинополем,

Материком — вслед перекрестку,
Обычаем — в затылок случаю.
Моим ты стержнем стал и воском
И чем-то так и не изученным.

Когда звонка уже не ждут...

Время пролито и взорван
Час, когда твой голос плыл
По зеркальным коридорам
Вдоль несбыточных перил.

Шел ко мне он сквозь карнизы,
Через сваи, провода,
Шел как вымысел, как вызов,
Как идут из никогда.

Голос-ропись, голос-почерк, —
Всплеск забытого лица.—
Как читают между строчек
Не сначала, а с конца.

Шел ко мне из неизвестно,
Шел ко мне ни для чего.
Шел вне времени и места
Голос сердца одного.

Не прочесть и не увидеть.—
С колокольню? С Эверест?
Шел, — как возглас — “Помогите!” —
Голос — участь, голос — крест.

* * *

Закат заполненный крестами
Едва наметившихся звезд.
Ты горизонт по вертикали
Потоком айсбергов и гроз
В меня ты восклицаньем врос.
Как возникает знак вопроса,
Когда сквозь стих проходит проза.
Как столбенеет тишина,
Вдруг осознав, что не одна.
Я поняла, что крест с звездой
Есть что-то третье, есть другое.
Что я есть я, пока с тобою.
Что только Рим утроил Троию.
Что третий нужен, чтобы двое
Вдруг осознали, что одни.
Что крест прикинется звездой,
Когда иссякнут все огни.

Борису Казакову —
на память о прелестьях
прежней жизни
Вадим Фадин
7/12/2001

СЕМЕРО НИЩИХ ПОД ОДНИМ ОДЕЯЛОМ

Зачем же тебе идти в овраг,
сообразил, ведь ты уже в овраге.

М. Пришвин



1

Подземный переход освещался скверно; в летние яркие дни туда спускались осторожно, как в чужой погреб, и мешкали на нижних ступеньках, не узнавая окончания лестницы. Лампочки в туннеле горели через одну, через две, да и те, оставшиеся, были для защиты от хулиганов заслонены железными масками, продырявленными так скупно, что отверстий едва хватало бы и для дыхания; свет же оставался почти весь сам с собою, внутри. Слух, пока глаза привыкали к темноте, невольно обострялся, заставляя обращать внимание на разговоры прохожих, и тогда вдруг оказывалось, что добрая их половина говорит на чужих языках; родная робкая речь гасилась плохой акустикой; зато, не считаясь ни с кем, галдели вольные иностранцы, которых тут благодаря близости дорогого отеля водилось в избытке.

Постепенно, по мере продвижения в туннеле, возвращаясь, зрение сначала предъявляло для опознания силуэты пешеходов; затем появлялся молодой продавец порнографических газет (один из двух, стоявших симметрично в разных концах), и лишь в последнюю очередь вырисовывались фигуры пристенных нищих, серые на сером. Нищие во всякий день стояли, несомненно, одни и те же и ходили сюда аккуратно, как на службу, да только Иван Сергеевич Гоголев, местный житель, не знал их в лицо. Проходя мимо впервые, он, разумеется, подал бы милостыню первому попавшемуся, а тогда

заодно и разглядел бы черты, но от ежедневного применения эти существа стали для него как бы предметами обстановки, неинтересными, словно старые некрашенные доски, с которыми они вполне совпадали по цвету. Сегодня, однако, случилось так, что Ивану Сергеевичу, от нечаянного толчка встречного едва не ступившему в приготовленную для подавания кепку на земле, пришлось оглянуться на одного из них; простоволосый владелец, заснув от монотонности труда, не опорожнил шапку вовремя, чтобы скрыть полученное богатство, но это не помешало новым денежкам падать и падать до кучи. “Изрядно”, - изумившись, оценил урожай местный житель и пошел своей дорогой, но, растревоженный догадкой о чрезмерности чужих доходов, запнулся, услышав за спиной звоночек очередной монетки. Гоголев был хотя и учителем литературы, но себе на уме, и теперь заинтересовался, много ли тут подают. Пристроившись в отдалении, он засек время, посетовав лишь, что на расстоянии не разобрать, что за деньги бросают в шапку, не одни ли медяки (только откуда они взялись бы в таком количестве сейчас, когда и ассигнации ничего не стоят?). Человек, понаблюдавший в это время за самим Иваном Сергеевичем, скоро понял бы, что того озадачил результат; повторив же следом расчеты, он нашел бы, что уличному побирушке платят за час больше, чем учителю, хотя бы и литературы.

“Что же я теряюсь?” - в меру шаловливо подумал Иван Сергеевич, одновременно соображая, что на полученные таким манером суммы не поднимется рука кормить и баловать детей, покупать мебель, ходить в концерты и собирать книги - их можно только пропить; впрочем, в стране, где он жил, обыкновенно пропивались и всякие деньги.

Он столько простоял здесь, наблюдая, что уже хорошо разбирал в сумраке лица и первым поздоровался с женщиной из своего подъезда; та ответила неуверенно, еще полузрячая со света, и, быть может, принявшая и его за нищего. Настроенный теперь определенным образом, Гоголев всерьез задумался: “А эта - сколько бы мне подала? Забавно просить Христа ради возле собственного дома”. Представив себе в лицах и в красках возможные сцены, он решил, что нет, не умер бы от неловкости, оттого что никого в доме, в сущности, не знал; другое дело - предстать в необъяснимом виде перед коллегами - завучем, директрисой, а особенно перед Вавочкой - молодой англичанкой Валентиной Валентиновной, учительствовавшей у них первый год; перед нею никак нельзя было бы появиться попрошайкой, а только - рыцарем, инспектором

полиции, справедливым грабителем.

В семейной жизни, если привыкнуть, есть свои удобства, и, некогда потеряв их, Иван Сергеевич затосковал. Тем тоскливее было ему, что посторонние женщины, обозримые в эти дни, оказывались или замужем и праведны, или недалеко и одичалы. На таком фоне появление в учительской Валентины Валентиновны Димуриной выглядело подарком судьбы, как сошествие ангела небесного, хотя Иван Сергеевич тотчас проведал и потом не забывал ни на миг о существовании где-то в чуждых сферах еще и черного ангела, Димы Димурина; о вероятности рождения ангеленка невыясненной пока масти он старался не думать раньше времени. Валентина Валентиновна пришла к нему по душе всеми статьями: и непонятной схожестью с цветком “анютиных глазок” (при всей ее розовости все-таки – с сине-желтым), и постоянной, как у американок, улыбкой; единственный видимый недостаток, маленький рост, Иван Сергеевич великодушно прощал ей, потому что не собирался же он жениться. Как могут сложиться в дальнейшем их отношения, он совершенно не мог себе представить; стать ее любовником нечего было и мечтать при нынешнем окладе жалованья, исключающем всякие мысли о подарках и угощениях: сходяв однажды в приличный ресторан, он непоправимо разорился бы. Ивану Сергеевичу грустно было вспоминать о своем былом, в молодости, обыкновении заходить с каждой очередной подружкой в шикарное китайское заведение, в котором диковинный ужин (креветки, салат с плавниками акулы, вырезка с цветами, грибами и ростками бамбука вкупе с парой бутылок сухого вина) обходился всего лишь в красненькую; теперь, говорили, столько же стоила там единственная рюмочка водки.

Нынче и вино, и еда доставались непросто, и Гоголев вовремя, поднимаясь из перехода, вспомнил, что его холодильник пуст и, значит, надо бы зайти в магазин, скорее всего столь же пустой. Магазин был под рукой, в дальнем конце дома, где жил Иван Сергеевич; сам же дом, до которого учитель сейчас мог бы докинуть какой-нибудь камешек, выглядел неприступным. Чтобы достичь его, следовало перебраться через ров, выкопанный для прокладки неких чудовищных труб не так давно, года полтора назад. Эти самые трубы завезли минувшей зимою, и теперь оставалось только дожждаться, когда строители созреют, чтобы спихнуть их вниз и закидать землей, припасенной рядом в виде горной цспи. Пешеходы не знали, что для них хуже - спуск на дно по скользкой глине или, по ней же, подъем, и писали одно прошение за другим, вожделея сращения рва с подземным переходом: тогда их трудности сократились бы

наполовину. Иван Сергеевич, которому сию минуту предстояло испытать их в полной мере, медлил перед взятием преграды. По другому берегу бежали дети, и он подумал о них с завистью: “Счастливы, родились на той стороне!”

В конце концов, ему удалось перейти рубеж без потерь, даже не замавав костюма.

На пути к магазину больше не оставалось препятствий, и это несколько смутило Гоголева, давно приученного ничего не искать в доступных местах. Между тем, взглядевшись, он заметил, что из дверей выходили все ж не обманутые зрители, а покупатели с добычей.

Когда-то обыватели квартала прозвали этот продовольственный магазин “Самбери”, оттого что так, по заграничному образцу, и велась там торговля: возьми тележку, подкати к полкам и бери сам что пожелаешь (мяса, правда, лучше было не желать, зато рыба-хек лежала всегда, с утра попадалась и кое-какая колбаска, да и сыр был знаком в лицо). Но годы шли, и выбор скудел; прошедшей осенью вовсе нечего стало брать, хоть самому, хоть с чужой помощью, и только иностранное звучное слово “Самбери” осталось в обиходе как память о золотом веке.

Народ нес в сумках нечто объемное. Иван Сергеевич, разглядев рулон туалетной бумаги, сделал для себя вывод, что на мясокомбинате остановлен колбасный цех - иначе для чего бы пустили в продажу дефицитное сырье? Полюбопытствовав у встречных, он выяснил, что кроме бумаги в “Самбери” есть еще и пельмени; то и другое было вовсе нелишним (с тою оговоркой, что при нынешней диете нужда в пипифаксе могла скоро отпасть начисто), и Гоголев поспешил к очереди.

Часа через полтора он уже входил в родной подъезд, будучи нагружен тремя пачками пельменей и связкой из полдюжины бумажных рулончиков: вполне можно было звать гостей (имея в виду, разумеется, первую из покупок), пусть и неважных, не женщин, не Валентину Валентиновну (Боже упаси!), но кого-нибудь из приятелей. Насвистывая марш, Иван Сергеевич вынул из почтового ящика газету, мимолетно глянул на ближайший заголовок - “Москва в тупике” - и позлорадствовал: “И там не лучше, чем у нас”.

С гостями ничего не вышло. Из тех, кого он пытался пригласить, первый, видимо сытый, отказался сразу; второй же согласился было, пообещав присовокупить к гоголевским пельменям свою бутылку, но вскоре перезвонил, сообщив, что водку выпил сын, так что прощай, и бросил трубку. Но Иван Сергеевич не вперые

пировал в одиночку - так оно, возможно, было и лучше.

На полный желудок потянуло ко сну. Пробежавшись для порядка по всем программам телевидения (духовой оркестр, хор современников Ленина, отчет военного коменданта и музыкальный конкурс кухарок), Гоголев прилег на диван. И был ему чудный сон, настолько яркий и отчетливый, что он вполне мог бы счесть, что и не спал вовсе, если бы только не смотрел уже именно это сновидение раньше, не раз и не два.

Виною всему была, скорее всего, духота в торговом зале; апрельское солнце, не смущаясь нелепыми во все сезоны стеклянными стенами, припекало совсем по-летнему, а топили в магазине по-февральски, так что толпа размякала, а пельмени слипались. Уже в первые четверть часа Иван Сергеевич дал себе зарок завтра же по талону на мыло купить дезодорант, а заодно и перейти на летнюю одежду, то есть не надевать пиджак. Он позавидовал прошедшим мимо юношам в шортах - на них не оглядывались, их не обсуждали, не осуждали, как прежде, и Гоголев подивился стремительности прогресса: еще года три-четыре назад теплокровных модников штрафовали даже на курортных черноморских набережных. Политические свободы, которыми удалось побаловаться, пока Область не отделилась от России, моментально отозвались на свободе нравов, а тем паче - вкусов; те и другие, соскочив со старых рельсов, потом уже на них не вернулись, что хорошо было видно по местным модам. Если многое треснуло в мире, то что говорить о каких-то шортах... Девушки, воспользовавшись случаем, объявили бойкот верхним частям купальников, а скоро и на городских улицах стали носить кофточки почти нараспашку, вместо же юбок - уже и не шорты даже, а плапочки; вот и сейчас среди скучных на мужской взгляд домохозяек, выстаивающих за пельменями насущными (и за пипифаксом насущным), проскользнула студенточка, дразня плохо замаскированным розовеньким соском, а в дальнем конце магазина мелькнула и юная попка, условно подтянутая уздечкой. Насмотревшись всего этого, трудно было собираться утром в школу, где тупо соблюдался старорежимный протокол и директриса не уставала делать при всех замечания Валентине Валентиновне то за брюки зимою, то за смелую, на вершок выше колен, юбку теперь. Между тем Вавочке с ее крутыми бедрами чудо как пошли бы шортики, более, кстати, практичные и пристойные, чем любая юбка. О практичности шортов для мужчин нечего было и говорить - попробуй, просиди целый день на экзамене в длинных брюках на

кожаном стуле или, хуже того, в кресле. Хорошо, что хотя бы по улице сейчас, в несвоевременное пекло, каждый мог ходить в чем хотел. Вот и на голого Ивана Сергеевича не обратил внимания никто, кроме завистливых нищих, которые в рабочее время никак не могли пренебречь своими серыми одеждами; но о них и разговор другой, поскольку форма есть форма; Гоголев гордо прошагал мимо, а они стояли с протянутыми руками, стыдясь.

По дороге Иван Сергеевич заглянул на почту и в аптеку, причем вид сохранял весьма уверенный, отчасти из-за особенностей походки, которых сам, разумеется, не знал: постороннему зрителю казалась, будто, трогаясь с места, Иван Сергеевич хотел размахнуться для оплеухи кому-то встречному и уже начал отводить плечо, да тут при перемене ноги вынужден был переменить также и руку и, снова не успев, так и пошел менять на ходу, перед пятящимся противником - прицел по правой щеке, шуйцей, шаг другой ногой - десницей по левой. Новый легкий костюм допускал при ходьбе и еще кое-какие движения, но не о них сейчас речь. В аптеке Гоголев задержался сверх ожидания, а потом уже поздно стало заходить домой, чтобы переодеться - он так и пошел на службу, в чем был.

Современная мода демократична, чем и удобна, и школьники даже не обратили внимания на неуставной наряд своего литератора - сами-то они одевались по-всякому; он, к тому же, не стоял у доски, а сел за стол. На перемене Гоголев вошел в учительскую - и тоже не произвел фурора; никто не только не выразил неудовольствия, но и не посмотрел на Ивана Сергеевича. Сам он почувствовал некоторую неловкость лишь при появлении Валентины Валентиновны: вот если бы и она тоже!.. Но она-то была запакована наглухо. И то ли молодая англичанка принесла что-то с собою, то ли просто солнце перевалило за полдень, только в воздухе вдруг явственно почувствовалось электричество. Ивану Сергеевичу некуда стало деться, нагому; зябко поведя плечами, он посмотрел на вешалку, но там не висело ничего из одежды. "Чайку бы горячего, - тоскливо подумал он, не понимая, почему взгляды коллег теперь не направляются заранее в сторону, а лишь огибают его фигуру по необъяснимой кривой. - Не то как бы директриса не вошла". Но вошла не директриса, а вызванная им мать нерадивой ученицы, и пришлось подняться навстречу, расшаркаться, что вышло неукложе из-за отсутствия каблучков, и предложить место рядом с собой. Эта рослая и сытая женщина и не подумала отводить глаза, и Гоголев особенно забеспокоился, когда усаживал ее первой, сам еще стоя насупротив. Поспешив затем упасть на стул, он бросил себе на колени классный журнал.

- Ваша дочь... - начал он, сился вспомнить фамилию, имя и род проступка.

- Девочка переутомилась, - вздохнула мать.

- Но ее круг чтения...

- А теперь это сочинение...

- Да, вот, сочинение! - вспомнил он. - Были легчайшие темы: "Одичание масс в недоразвитых странах Европы", "Образ Ленина в творчестве литературных врагов"...

- Вам не холодно? - перебила она. - Смотрите: гусиная кожа!

- Но - пот со лба.

- Так девочка не аттестована?

- Почему же? - он легкомысленно переложил журнал на стол.

- Полюбуйтесь: полноценные два балла. Прекрасная оценка, теперь так носят.

- Да, но не в школе ж! - негодуяще вскричала она.

- Ах, звонок! - обрадовался Гоголев. - Вынужден вас покинуть, виноват. Если угодно, Вавочка объяснит вам по-английски.

Иван Сергеевич гордо зашагал прочь, так отведя поначалу руку, что посетительница заподозрила попытку покушения. Он же был в отчаянии, оттого что вслух назвал преподавательницу Димурину Вавочкой: коллеги могли подумать черт знает что, тем более что сами не изобрели ничего остроумнее "Валюши". Его вариант возник не из-за особого расположения к хорошенькой англичаночке, а всего лишь вследствие неудобства произнесения, хотя бы и про себя, повторяющихся "ва" в непомерном "Валентина Валентиновна" - притом, что, на его вкус и слух, такое ласковое манерное прозвище скорее подошло бы капризной пышной деве с пергидрольной прической, чем этой покладистой шатенке с цыганскими кудряшками на лбу и с небогатым бюстом. Но звучало это приятно, и он привык.

Идти в класс никак не хотелось. Он, торопясь, перебирал в памяти места, где можно было бы найти хоть какую-нибудь тряпку - фартук буфетчицы, костюм радиационной защиты, на худой конец - скатерть. Нагота сковывала движения сильнее, чем тесная одежда. Он рвался во все двери, но и актовый зал, и кабинет гражданской обороны, и столовая оказались заперты. В класс он вошел свободно, и дети потупились. Уйти было некуда.

- Теперь это в порядке вещей, - с вызовом сказал он. - Разрешено все, что не запрещено.

- Но у нас - английский, - возразил староста.

И в самом деле, Валентина Валентиновна стояла подле. "Как

неловко получилось, - подосадовал Гоголев. - Такая накладка в расписании, но и на улицу не выйти до темноты". Ему было стыдно видеть Вавочку одетою и стыдно было прикрыться, показав этим, что ему стыдно. Иван Сергеевич решительно не знал выхода.

- Наденьте мою, - сказала Валентина Валентиновна, снимая юбку (притом, что какая-то другая осталась на ней). Из кармана, звеня, посыпалась мелочь; мелкие монетки коротко звякали о пол; крупные же долго дребезжали на месте перед тем, как улечься. Денежный дождик не иссякал, брошенная кем-то кепка быстро заполнялась, звон крепчал... Впрочем, это уже был будильник.

2

Кем только ни побывал в своей жизни Мирон Пополитов: огнеметчиком, рабочим сцены, почтальоном, матросом на барже, но никогда не имел своего угла. Жилища, достававшиеся ему, все были чужие да невечные: детдомовская спальня, казарма, общежития и, под конец, валкая каюта; в последней он, правда, пожил в чистоте и в почти домашнем уюте, оттого что под боком оказалась добрая женщина, да на беду на барже никак невозможно было бы перезимовать, и ему снова пришлось искать и кров, и работу. Порядочно проискав, Пополитов нанялся охранником на троллейбусный завод. Обязанности ему определили нехитрые, оплата была сносная, к тому же задаром выдавалась казенная одежда, и одного лишь не хватало ему до полного удовольствия: жить снова пришлось в общежитии. То, с чем он раньше кое-как мирился, сейчас стало вовсе нестерпимым: работал Пополитов сутки через трое и, значит, приходил в комнату с четырьмя соседями не только переночевать, но и (после каждого дежурства) жить на чужих глазах три долгих дня.

Матросы, приглашенные в любимую пивную отметить новоселье, посочувствовали товарищу, но не поняли его трудностей.

- Кто тебя заставляет? - удивился один из них. - Вокруг столько пустых хат: ждут какая ремонта, какая - сноса. Знаешь зеленый дом возле нашей конторы? Там тоже люди съезжают либо мрут, а новых заместо них не селят. Занимай любую конуру и живи до посинения. Вся работа - договориться с жильцами, примут ли. Если хочешь, я пособлю.

Так и было сделано наутро. Вдвоем они добрались знакомой дорогой до конторы пароходства и постучали в облупленный двухэтажный домишко. Состоял он из двух квартир; верхняя была

необитаема, но и в нижней нашлась незанятая комната - светлая, с окном на юг. Соседи не претендовали на нее (каждого, одинокого, устраивало то, что он уже имел), и Пополитов после переговоров получил ключ. Так началась его оседлая жизнь.

Поначалу всей обстановки было у него - раскладушка, стул и стол (что купил, что нашел, а что отдали за ненадобностью друзья), но скоро к этому стали добавляться и другие необходимые предметы; денег на обзаведение хватало, потому что Пополитов много не пил, курил умеренно и подрабатывал в порту в свои многочисленные выходные. Вещи он покупал постепенно, только если в них возникала крайняя нужда; например, едва к нему стала захаживать девушка (а Мирон был человеком еще очень молодым), как сразу появились на окне занавески - они нужны стали непременно, и женская рука пришлось тут кстати; к несчастью, едва повесив занавески, девушка исчезла навсегда. С соседями Пополитов с первых дней жил в ладу, хотя все они были ему не ровня - старики, божьи одуванчики, да женщина неопределенных лет, непонятно когда и за что страшно изувеченная. Только с этой женщиной, Дарьей, и не установилось у него отношений из-за ее обыкновения прятаться от людей. Стесняясь своих шрамов, пятен и как попало сращенных конечностей, она и на кухню выползала лишь по ночам да если оставалась одна в доме. Дарья, кажется, нигде не служила, хотя на ее месячную пенсию нормальный человек не прожил бы и полнедели; но время от времени ходила она куда-то на неведомый промысел. Пополитову совестно было жить с нею рядом - здоровому, а по ее меркам, видимо, и богатому. Он хотел бы помочь ей, но не знал как и только, начав со чтимого им Международного женского дня, потихоньку подкладывал по праздникам в ее кухонный шкафчик немудреные подарки с поздравительными открытками: шоколад "Гвардейский", варежки (когда ее старые износились) или еще какую-нибудь заметно нужную ей вещицу.

Все же спалось Пополитову беспокойно, потому что жильцом он числился в заводском общежитии, а не в зеленой развалюхе близ пароходства, где его как бы не существовало или, в лучшем случае, он как бы загостился тут, однажды припозднившись (при обнаружении его патрулем это была бы не отговорка). Друзья и соседи посмеивались над его волнениями, но, как они ни отговаривали, Мирон отправил надлежащим властям бумагу с просьбой записать за ним обжитую им, а никому другому не нужную, комнату, то есть признать его ответственным съемщиком. Власти оказались на высоте, и ответ пришел незамедлительно, только в

самом странном виде: вслед за незначительной и немедленно утерянной бумажкой явились пешком живые люди, потерявшие служащие, и вынесли пополитовские пожитки на улицу.

Дело случилось утром, в сырую погоду, но Пополитов, вместо того чтобы переждать ненастье в комнате одного из старичков, в которой в конце концов оказался выброшенный было скарб, поехал за город - собраться с духом.

Устроившись в электричке у окна, Пополитов-пассажира в тот же миг почувствовал себя чужим в городе; только что он участвовал в тамошних уличном движении и торговле, но сейчас, отбывая прочь, уже смотрел на привокзальную площадь глазами не жителя, а проезжего непричастного человека. Тем более он стал там чужим, что лишился собственного угла; вагон пригородного поезда скорее казался ему домом, чем постылое общежитие. Населения в этом доме набралось, правда, с избытком, и перед отправлением Пополитову пришлось уступить место громадной старухе. На остановках в пределах города народу все прибавлялось, так что и стоять скоро стало тесно - и все же через эту тесноту потащились нищие.

Первым прошел незрячий певец, пожилой и костлявый, катая в протянутой руке два веселых шарика. Голос у него был, как говорится, маленький, но противный, а пел он побирушечную песню, десятки лет как известную наизусть и старым, и малым:

Воют, грохочут снаряды,
Пули по степи свистят,
А под березкою, рядом,
Плачет парнишка-солдат:

“Ах, мама, ах, мама родная,
Зачем ты меня родила?
Зачем ты глаза голубья,
Такие большие дала?”

Вот эти глаза голубы-я
Лежат на руке предо мной...

Прервав на этом месте песню звучным всхлипом, он зачастил новым голосом, басом:

- Дорогие братья и сестры, папаши и мамы! К вам обращаюсь я в этот трудный для слепого инвалида час. Нет, мне не нужны ваши трудовые рубли, но помогите же своей мозолистой

копейкой. Кто сколько может... Да не швырай, не швырай монеты - глаза разобьешь! Ложи тихонько.

Не успел слепец выйти в тамбур, как в противоположной стороне послышалось еще одно обращение к народу, но теперь - немощное и косноязычное: через толпу проталкивался однорукий мужичонка. Не собираясь подавать, Пополитов не вслушивался в его бормотание (мысли Мирона витали далеко) и посмотрел только мельком, но, успев зацепить взглядом что-то неправильное, какое-то несоответствие, лишнюю деталь, сразу и не понял, какую именно, сообразив же наконец - ахнул. Мужичонка почти прошел уже мимо, когда Пополитов, изловчившись, схватился за воротник его грязного долгого пиджака. Пиджак слетел с одного плеча, и зрители увидели вторую здоровую руку, тотчас цапнувшую отнятую одежду. "Вот жуль!" - вздохнула над ухом женщина, и Пополитов, задохнувшись от ярости, развернул нищего к себе и неуклюже, из-за невозможности размахнуться, принялся тыкать кулаком в жесткое лицо.

Его же, Пополитова, потом и повязали.

Он видел, что мошенника пинками прогнали, как сквозь строй, через вагон и выбросили на вовремя подоспевшей остановке - чтобы тот спокойно ушел восвояси; честного же Пополитова увели под руки. Все обошлось бы, но в вагоне подле Мирона некстати оказался переодетый полицейский, получивший, оттого что нельзя было разобраться в толчее, локтем в зубы; называлось это сопротивлением власти, и дела Пополитова стали плохи.

Потом били уже его, втиснув в какой-то ржавый трюм станционного участка. Как мог, он увертывался от тяжелых ботинок - кажется, успешно (еще и благодаря тесноте), потому что, когда полицейские устали или соскучились, Пополитов, ощупывая себя, понял, что они так и не попали по важным местам. Вскоре он нашел силы пошутить сам с собою насчет обретенного крова: пусть и на время, он стал ответственным съемщиком камеры.

Поздним вечером его привели к начальству. Кабинетик был невелик, и, чтобы сохранить между собою и заключенным должное расстояние, офицер поставил Мирона, как школьника, в угол.

- Ну ты и орел, - буднично сказал он со своего места за коротеньким столом.

- Он ведь жулик, - объяснил Пополитов. - Просит, будто инвалид, а у самого две руки.

- Да хоть четыре. И сколько ж ты подал?

- У меня мелочи не было.

- Ну, двинул бы коленом под зад. Другие так и сделали и теперь дома чай пьют. Или водочку. Но зачем же полицейского увечить при исполнении служебных обязанностей? Знаешь, на сколько это тянет по новому кодексу?

- Что ж он лезет со спины, не сказавшись? Тоже мне, специалист.

- Года три, а то и все пять тебе обеспечены, верное дело. Да нет, больше, потому что тут вот какая странность: приказано доставить тебя в город. Не очень, правда, понятно приказано: фамилию твою не назвали, а велели предъявить того, кто, мол, с нищими воевал. Видишь, я от тебя ничего не скрываю. Если б не приказ, я говорил бы с тобой, конечно, по-другому; вернее, не говорил бы вовсе. А так... Боюсь, что за тобой есть дела поважнее этой драки. Машину вот прислали... Дежурный!

И конвоир, зажав под мышкой папку с протоколами, уселся с Пополитовым в обычную, без видимых отличительных знаков, легковую машину.

3

Где и с кем ночевал в этот раз Пополитов, он не рассказывал, да в общежитии его и не расспрашивали по той простой причине, что привыкли вообще не видеть его месяцами; не заметили там и перемен в его поведении, а именно - того, что он подчеркнуто стал избегать скандалов. Скандал с ним все-таки вышел вскорости, но в незнакомом месте и по неожиданной причине. Впрочем, причины неприятностей и поводы к ним почти всегда неожиданны, а в наше время часто и ничтожны, оттого что народ от бедности и унижений жесточен. И ладно бы так складывалось только в том небольшом государстве, в котором выпало жить нашим героям, но ведь и в остальной, большей части России, где ежедневно изобретаются реформы и, стало быть, всегда можно на что-то надеяться, но и там происходит то же самое.

Перезрев, жесточение прорывается в тонких местах, и уличные перестрелки перестали удивлять читателей вечерних газет; мелочи же - вроде поножовщины, потасовок, а тем более перебранок и свар - попросту остаются без обсуждения, хотя и мотаются на ус наблюдательными жителями. Стычки эти происходят на некоей поверхности, заслоняя от ленивого взгляда происходящее в глубине, и по этой же поверхности, как фигуры по игральной доске, волею гроссмейстеров передвигаются признанные силы - полиция, гвардия,

банды; освободившиеся клетки не должны пустовать, чтобы не перевернулась доска, и равновеликие силы зреют в подпольях. Те же наблюдательные люди замечают шевеление в укромных углах: в подвалах, погребках, на чердаках и в туннелях, - но безмолвствуют до поры. Потом же оказывается, что пора - прошла.

Иван Сергеевич предчувствовал какие-то перемены и по дороге в школу или из оной спускался в свой переход с неудовольствием. Там все оставалось вроде бы по-прежнему, только нищих прибавлялось понемногу. И странное дело: даже новички не просили у Ивана Сергеевича. Он пока не замечал этой странности, не имея случая задуматься над нею - присмотреться, вслушаться: у господина учителя были другие заботы. Хватало и того, что однажды пришлось отвлечься на безделицу, на подсчет подаяния; теперь, кстати, он стал узнавать того богача в лицо. И еще на одно лицо из той же галереи обратил как-то внимание Гоголев - на совсем уже в такой роли неуместное: молодое, чистое, под шапкой волнистых, как у цыгана, волос; откровенно здоровый парень стоял с протянутой рукой. У Ивана Сергеевича перехватило дух от такой наглости, но и новичок, встретившись с ним взглядом, содрогнулся и сунул руку в карман, заодно пересыпая накопившиеся денежки. Вышло так, будто Иван Сергеевич подал кому-то долгожданный знак: с этим парнем немедленно приключился конфуз. Другой просивший поблизости нищий, не поднимая с полу своей кепочки с выручкой, подковылял к цыгану и забубнил что-то на ухо; тот заметно растерялся. Слов не слышать было, а мимика и жесты становились все агрессивнее и грязнее. Уже и народ собрался понемногу, близко обступив спорящую пару, только странный какой-то, злой народ - не ближние жители, как-то не похоже было на жителей, и уж, разумеется, не богатые заморские туристы. Воздух был, как перед дракой, но как раз драки и не увидел заинтригованный Иван Сергеевич, а увидел всеобщее волнение, движение, как от чрезмерного порыва ветра; дружный выдох - и парень с курчавой шевелюрой сполз по стене. Сердобольные зеваки, застя Ивану Сергеевичу, помогли оплошавшему подняться; двое придвинулись с боков, чтобы тот снова не упал, ослабленный, и так ушли вместе.

“Что за бандитские страсти!” - усмехнулся про себя, но и поежился Гоголев. Проходящая женщина обратилась к нему, возмущаясь тем, что в таком людном месте разрешают побираться (“Ужас какой, неловко перед иностранцами”), а он подумал, что стыдиться надо другого - того, что в богатых местах народ нищ. Он и сам был нищим: жалованья перестало хватать даже на приличную

еду; обновление же гардероба, очевидно, следовало отложить на несколько лет. “Скоро не останется, чем прикрыться”, - сказал он себе и скривился, вспомнив давешний сон: как бы не оказался в руку. Сейчас беспокоиться было, кажется, не о чем, оттого что одежда - и неплохая - была налицо, и застежки были доведены до конца, этого и проверять не стоило, лишний раз оглядывая себя; но пакость, обещанная сновидением, могла случиться вовсе и не с платьем, причем в любой день и безо всякой подготовки. Через неполный час Ивану Сергеевичу предстояла встреча со всеми героями сна, в том числе и с Валентиной Валентиновной, и ему казалось, что на него будут указывать пальцами. К тому же необходимость нынешнего присутствия в школе была для него свойства весьма сомнительного: коллектив созывали на Всеобщее собрание, с обязательной явкой. Занятие предстояло скучнейшее, но Иван Сергеевич не смел манкировать.

Мысленно Гоголев поставил себе крестик за прилежание: он пришел раньше времени, и директриса отметила это. Усевшись на удобном месте, он от скуки внимательно разглядывал каждого менее прилежного: истопника с орденскими ленточками на пиджаке, школьников из ученического комитета, куратора по идеологии, тоже с ленточками, географа, физичку, гунявую уборщицу Ньюшу, наконец - Вавочку в строгой английской блузке. Он похлопал рукой по соседнему креслу:

- Не угодно ли? Я занял для вас.

Пропев что-то сладкозвучное на преподаваемом языке, она послушно устроилась рядом. Иван Сергеевич с восхищением вдохнул тончайшее облачко:

- Неужели французские?

- И у вас, я слышу, чудесный одеколон.

- “Запах Ильича”, - скромно поведал он, вспомнив старую шутку.

- Вы не забыли обещанное? - вдруг заволновалась Валентина Валентиновна.

- Как можно? - обиделся Гоголев, бережно доставая из портфеля книгу. - Разве я забываю о вас когда-нибудь? Давеча, ко всему, еще и во сне видел.

О сне у него вырвалось помимо воли.

- Как мило! Надеюсь, я вела себя прилично?

- Зато я оказался не на высоте, - печально признался Иван Сергеевич и покраснел, поняв, что она может истолковать эти слова превратно, то есть совсем уж невыгодно для него.

Директриса, поднявшись на сцену, потрясла внушительным старинным колокольчиком, из-за которого ученики прозвали школу Музеем одной вещи, а свободной рукой указала подошедшему куратору на место подле себя, за длинным пустым столом, покрытым желтой плюшевой скатертью.

- Уважаемые коллеги! - откашливаясь, с хрипотцой, начала она. - Слишком редко удается видеть вас всех вместе. Даже и в Дни Задушевных Бесед о политике вы, пусть собранные под одной крышей, расходитесь по разным классам. Общению мешают, можно сказать, классовые различия.

Она сделала многозначительную паузу, и через несколько секунд по рядам прокатился подобающий случаю смешок. У Ивана Сергеевича вышла кривая мина. Кивнув, директриса продолжила:

- Короче, я рада сегодняшней встрече. Сейчас, в самые, возможно, ответственные дни в нашей истории, мы должны быть вместе. Наше маленькое, но мужественное государство, наша великая Вольная Область России переживает славный кризис. Правительство, вдохновленное Движением спасителей Отечества, помня о страшном опыте Москвы, объявило неравную войну народу, и долг работников просвещения - помочь ему одержать победу. Почему вы хихикаете, Смирнова? Мы ведь собираемся в дальнейшем говорить именно о вас.

- Я не поняла, кому же надо помочь, - ответила с места немолодая женщина, математичка старших классов. - Прозвучало двусмысленно.

- Это-то и прискорбно.

- Что именно? Если то, что двусмысленно, то не беспокойтесь, это останется между нами.

- Но я продолжу. Мы не должны забывать о своем гражданском долге. Идет священная война, идет, как всякая другая, с необходимыми жертвами, в том числе и со сдачей в плен. Вы знаете, что на периферии пришлось организовать целую сеть лагерей для военнопленных. Там развил бурную деятельность Красный Крест, и теперь питание и медицинская помощь - его забота. Но - посмотрим правде в глаза - моральное состояние контингента пленных оставляет желать лучшего. К тому же, среди них много необразованных (в нашем понимании) людей. Если в каком-то отдельно взятом лагере число малограмотных превысит критическую величину, возможны непредсказуемые вещи. Поэтому там очень и очень нужны учителя - мы с вами. В третьей четверти учебного года вверенная мне школа оказалась на последнем месте в районе по успеваемости, и поэтому

теперь подошла наша очередь исполнить священный долг, направить в качестве военнопленного своего преподавателя-специалиста. Это большая честь, и нам следует выбрать достойного и разностороннего человека. Давайте решим, кому из нас можно доверить такое большое дело.

- Вам, - простодушно сказал преподаватель физкультуры.

Вавочка хрюкнула, сдерживая смех.

- Мне? Ах, да... Спасибо за доверие. Я уже поднимала этот вопрос в инстанциях. Но нельзя бросить школу на произвол судьбы. Да вы и преувеличиваете мои способности. Тут нужно совсем другое. Я ведь и лопаты в руках не удержу. Кроме того, есть еще одна область, в которой я чувствую себя не на высоте. В лагере наш делегат столкнется с людьми, начитавшимися самой подлой литературной продукцией, со слушателями радиопередач Москвы и Петербурга (мне привычнее все же - Ленинграда, по-старому). Чтобы не попасть впросак, надо быть знакомым с вражеской пропагандой заранее, уже сейчас. Эта грязная, белая литература передается из рук в руки здесь, в городе, читается из-под полы, под одеялом. Ее читателям не по душе наши светлые цели: не понимая необходимости победы над народом, они соглашаются с идеями, которые нам подсовывают длинные руки так называемых демократов из потерянной части России. По городу, например, ходят оригиналы и ксерокопии гнусных книг Евтушенко, Булгакова, Эдуарда Успенского... Ну, там много фамилий... Чтобы противостоять их влиянию, надобно их знать. Кто из вас читал эти так называемые сочинения - поднимите руку.

Директриса внимательно оглядела зал - никто не шелохнулся, и только Иван Сергеевич пробурчал себе под нос, что она дважды произнесла "так называемые".

- То-то, - сказала она, облегченно вздохнув. - Наши учителя не опустятся до знакомства с подобной мерзостью - кроме делающих это по долгу службы. А в этих сочинениях попадаются забавные вещи... Да, так я вот о чем. Есть и среди нас знаток таких книг. Я нарочно попросила его не поднимать руки. Я не ошиблась, положившись на него, вернее - на нее, одну из лучших учительниц: она удержала руку, и теперь я первой могу назвать ее фамилию. Она - человек скромный, как видите - выдержанный: кто другой так долго держал бы в секрете свои знания? Мы бы и сейчас были в неведении, если бы случайно не обнаружили в сумке этой преподавательницы одну из названных мной книжек. Вот она - среди нас. Встаньте, Смирнова!

- Спасибо, я посижу, - с нервным смешком отозвалась учительница. - Меня и так знают все.

- Нет, мы не знали вас, Смирнова, иначе этот разговор состоялся бы намного раньше. Сколько сил мы потратили, чтобы разыскать в нашей, в общем-то здоровой, среде эрудита, способного... - замявшись, директриса заглянула в бумажку и потом заговорила бойчее, - способного истолковать всем нам измышления отмежевавшейся от Движения касты “интеллектуалов”, неразрывно связанных и породненных с демократической мафией и масонскими кругами Запада и Москвы. Мы злостно не читаем их произведений и поэтому не можем дать им достойный отпор, за что наемные белые шавки называют нас, проявляя свою дурную начитанность, “детьми Шарикова”, то есть происходящими от собак. Но мы-то знаем, от кого произошли, и не позволим внедрить в обиход гитлеровскую терминологию. Разве мы - низшая раса? Кто же тогда высшая?.. Да, на чем, бишь, я остановилась?

- На собаках, - звонко подсказала Валентина Валентиновна.

- Да, да, собака лает - ветер носит. И фильм “Унесенные ветром”... Впрочем, я отвлеклась. О кино у меня тоже есть что сказать (эти ужасные подпольные просмотры!), но надо - о литературе. Плюс к названным одиозным именам я не могу не назвать еще одно - из той же сумочки. Я обнаружила - вы не поверите - книгу Людмилы Петрушевской!

- Беспрецедентный случай! - воскликнул куратор, зачем-то хватая колокольчик.

- Беспрецедентный, - машинально поправил литератор Гоголев.

- Что? Не понял.

- Вношу предложение: организовать для преподавателей и прочих изучение курса “Трудности родного языка”, - встав, отчеканил Иван Сергеевич под сдавленный смех Вавочки.

- Ваше предложение, Гоголев, мы обсудим позднее, отдельно.

- Я закончу, - пообещала директриса. - Я все подвожу к тому, что мы просто обязаны использовать начитанность нашей... нашего... начитанность коллеги Смирновой. Возможны и другие кандидатуры - предлагайте, и мы обсудим, сравним, взвесим, наконец. Если у кого есть возражения, если кому-нибудь известны факты, порочащие Смирнову, доложите нам - и мы снимем кандидатуру с голосования. Но лично я считаю - а мне как директору виднее, - что на своем месте в лагере будет именно математик

Смирнова.

- Что ж, ваши доводы неотразимы, - веско произнес куратор.
- Но выслушаем рядовых сотрудников. Кто хочет выступить по существу? Вы, Ошмарев? Пройдите сюда, на трибуну.

Тяжело ступая, к микрофону подошел истопник.

- Как член-ветеран Движения спасителей Отечества, - скрипуче проговорил он, - я считаю, что одним, так сказать, читателям нечего читать ерунду. А в то же время числиться в Движении. Я молодой был - говорили: "За что боролись?" Я-то сроду не читал, чего не надо, и не собираюсь. Надо понимать, что, где плен, там и "Хенде хох!" Для этого читать ничего не нужно, нам и так хорошо разъясняют, куда идет Движение, так сказать, спасителей Отечества.

"Насчет члена спору нет, - лениво подумал Иван Сергеевич, - но вот что такое ветеран, если самому Движению без году неделя? Неужто засчитывается стаж в родной и любимой КПСС?"

- Кто еще выступит? - бодро обратился к залу куратор, но охотников не находилось. - Может быть, вы, Димурина? Как молодой член Движения?

- Ах, что вы, - замахала руками она. - Я смущаюсь на сцене.

- Не ожидал, Димурина, не ожидал. Смущается! Прямо девятнадцатый век какой-то. Так скоро и до обмороков дойдет - барышни одна за другой, одна за другой так и станут падать. Так и полягут все. Вот и рассчитывай после этого на молодежь. Ну, на сегодня прощаю, только вы все-таки подумайте. Так кто же выступит? Вы?

Не глядя ткнув пальцем, он попал в сидящего особняком биолога.

- Я человек односторонний, - живо отозвался тот. - Если начать с лошади Пржевальского...

- Нет, нет, только не это, - поспешил прервать его куратор. - Ничего не поделаешь, придется - мне. Скажу прямо: тут наша уважаемая руководительница называла всяких писателей, а Движение учит, что их книги - идеологическая зараза. Пусть кто-нибудь спросит: "Что ты, Петр Ильич, читал?" - и я отвечу честно: основоположников и классиков. А у них всегда найдешь мысль, нужную в текущий момент. В то же время я не знаю и знать не хочу отмежевавшихся от Движения, а то и оставшихся за пределами Области так называемых интеллектуалов, эту привилегированную в демократической России касту, породненную с мафией, Белым домом и масонскими ложами Запада. Их задача - развращать

сознание наших славных спасителей Отечества, и нам надо сделать соответствующие выводы из факта проникновения в нашу чистую окружающую среду чуждых взглядов. Совместимо ли это с Программой Движения? Прямо скажу: нет и еще раз нет. И я за решительные оргвыводы в этом вопросе. Надо освободить Движение от балласта, накипи и пены. Я вот так, прямо, ставлю вопрос: или мы, или открытые для вражеской агитации каналы. В то время, как я, например, не прикладывая рук, строил казарменный социализм, вокруг зрели вот такие мысли. А что вы смеетесь?

- Петр Ильич, - мягко вмешалась директриса, - извините, пожалуйста, но вы чуть-чуть отклонились от темы. Думаю, всем известно, что лагеря для военнопленных деполитизированы и тем, кому выпадает честь работать в них, приходится, по доброй традиции, выбывать из членов Движения. Не стоит тратить время на повторение очевидного.

Ивану Сергеевичу показалось, что появился шанс избежать дальнейшей процедуры; ему не хотелось быть причастным к очередной пакости.

- Можно вопрос с места? - поднялся он, стараясь сделать глупое лицо. - Я так понимаю, что нечленам Движения нельзя доверять решение вопроса о членстве членов. Уверен, что тем неприятно будет наше вмешательство в ваши внутренние дела. Я хочу сказать, что разбираться должны члены с членами, а посторонним придется, увы, удалиться.

- Предатель! - ахнула Вавочка.

- Я вас не понимаю, Гоголев, - пожал плечами куратор. - Наши, ваши... Вы делаете уже второе неуместное заявление. Ребенку ясно, что если кандидат в члены Движения избирается на Всеобщем собрании, то и вопрос об отзыве, естественно, может решаться тем же составом.

- Хотели смыться, бросить меня? - прошептала Вавочка. - Все вы такие.

Ради того, чтобы уйти, Иван Сергеевич и в самом деле, не задумываясь, пожертвовал бы даже обществом несравненной Валентины Валентиновны.

- Не мучайтесь напрасно, Иван Сергеевич, - обернулась к нему Смирнова. - От вас ничего не зависит, все давно решено.

Гоголев собрался было ей возразить, сказать, что это неправда и многое можно поправить, но именно в этот момент куратор предоставил слово самой Смирновой.

- Мое же слово - последнее, - попыталась воспротивиться

она, но была вынуждена говорить, повторяясь: - От вас, уважаемые коллеги, ничего не зависит, все давно решено за закрытыми дверьми. Как бы порядочно вы себя тут ни повели, результат будет один. Вот и от меня, слабой женщины, тоже ничего не зависит, и хотя я понимаю, что каждый хотел бы оказаться на моем месте - это прямо-таки написано на лицах, особенно на лице нашего куратора, - мне остается только поблагодарить Движение за оказанное доверие и... и собирать вещички.

“Сейчас начнется самое страшное, - готовил себя Гоголев, - голосование. Если я проголосую за, то это будет последний гвоздь в крышку, и Смирнову отправят в лагерь. Если я проголосую против, то это будет бальзам на раны, и Смирнову отправят в лагерь, а Гоголева, попозже, - в другой.”

- Что же касается вражеских книг, - тем временем продолжала приговоренная, - то они, вопреки ожиданию, не открыли мне ничего нового. Я только испытала пресловутую радость узнавания. Так что я, сами понимаете, лишь потеряла дорогие часы, которые могла бы использовать для изучения вдохновляющих трудов основоположников и корифеев.

Все это время математичка с усмешкой, а то и с жалостью поглядывала на Ивана Сергеевича, словно уговаривая бессильного учиться ее гибкости, которая пригодится, когда придет его очередь. Он же не понимал, отчего она принимает навязанную идиотскую игру, в которой одни выступают в роли благодетелей, а другие - награжденных и кающихся, если ей впервые было, при предрешенности приговора, дозволено многое: семь бед - один ответ (правда, насчет одного ответа он глубоко заблуждался), и на ее месте Гоголев, наверно, потешился, поиздевался бы - на ее месте? Он и на своем чувствовал себя плохо, хотя и не один принимал на себя вину, а в числе множества игроков и палачей (вот - их полон зал), да и долю ее принимал, но - грех есть грех. Наоборот, один, выступивший против, по здешней арифметике считался бы не полноценной единицей, а нулем, ничем. Конечно, знай он заранее, зачем их собрали, то, пожалуй, договорился бы с порядочными людьми (он думал, что таких - большинство в школе), и тогда, быть может, дракону и не досталась бы эта жертва: вместо лживых почестей заработать наказание - выговор, например, почему-то всегда страшный для членов Движения, а в действительности бывший лишь словом на бумажке. Об этом хорошо было мечтать, только исполнить такое не удавалось до сих пор никому: сговариваясь, Иван Сергеевич попросту не успел бы обойти всех надежных людей - не третий, так

четвертый, пятый непременно донес бы на него. Одиноким же голос никак не мог быть услышан, жалкий протест изменил бы только собственную судьбу литератора Гоголева, не более того; тогда уже не на его, а на чужой - математички Смирновой - совести была бы загубленная судьба. Мечты его о протесте еще потому не сбылись бы, что и вообще на любое предложение ответ был бы таков: сейчас не до выдумок - война на дворе, помните.

Об этом никто и не забывал.

В дни, когда коммунистическая империя на шестой части суши, разваливаясь, сотрясалась реформами, переворотами и натуральными землетрясениями, бывшая автономная (одна из), а ныне нареченная Вольной область сумела под шумок отбиться от компании в надежде зажить по-холостяцки счастливо. Но холостяцкая жизнь редко протекает легко. Без хозяйки и даже без приходящей экономки затрещал домашний бюджет, забродили профсоюзы, стали размножаться разного толка дикие (официально - ненормальные) организации, отбилась от рук полиция, и тогда новоиспеченное правительство в отчаянии нашло остроумный ход: объявило войну своему народу. С тех пор всякое действие властей стало действием военным - атакой, маневром, наступлением, - на которое нельзя жаловаться, а можно только, меряясь силами, ответить в том же духе, желательно - отступлением либо сдачей в плен.

Излишне говорить, что подлинным, но не названным автором этой шутки была, конечно, не исполнительная власть, а Движение спасителей Отечества, ДСО - правящая партия, заменившая опозорившуюся большевистскую.

Первым, пробным ударом, нанесенным регулярными силами, стала отмена обязательной, дважды в месяц, выплаты жалованья: отныне деньги выплачивались по желанию администрации. Затем, исключительно для деморализации противника, родился запрет на традиции; сразу понять, что бы это могло значить, было немисливо, тем более что это никак не коснулось религиозных праздников; зато, например, обряды бракосочетания и похорон оказались вне закона. Жизнь видимо упростилась: чтобы жениться, следовало лишь написать заявление - через некоторое время по почте приходили нужные документы; при этом празднование свадьбы наказывалось тюрьмой. Так же легко стало и с похоронами: еще не остывшего покойника увозила специальная машина, а примерно через полгода родственники находили в своем почтовом ящике открытку с адресом кладбища. Жителей, недовольных новым порядком, брали в плен.

Как и на всякой войне, из-за нехватки в тылу рабочих рук устройство трудовых лагерей для пленных разумелось само собою, но заполнялись они поначалу медленно и неравномерно, так что для ускорения процесса был объявлен всенародный призыв; портреты первых трех добровольцев красовались во всех газетах. Четвертый доброволец еще не родился.

В последнее время народная разведка начала приносить отрывочные сведения о подготовке к стратегической денежной реформе, замечательной, во-первых, тем, что цены и зарплата увеличивались вдесятеро, зато вклады в банках по просьбе трудящихся оставались неприкосновенными, то есть сумма их не изменялась, а во-вторых - введением выплаты жалованья, пенсий, стипендий и пособий исключительно через банки, в то время как выдача наличных денег с текущих счетов приостанавливалась вплоть до особого распоряжения.

Народ говорил, что на его памяти бывало и хуже, и, выжив однажды, надеялся выжить и теперь. Люди перебивались, кто как мог, но, несмотря на обещанное двухразовое питание, в плен все-таки не шли.

4

Понять, куда его везут, не хватало фантазии; непонятны были и легковой автомобиль вместо зарешеченного “джипа”, и разговор в участке, когда Пополитов, хотя и стоял в углу, вдруг почувствовал себя в безопасности, и очевидная робость конвоира перед молчаливым шофером. В городе машина почему-то не свернула к вокзалу, где следовало бы размещаться железнодорожной полиции и где рядом стояла тюрьма, затем оставила в стороне и верховное полицейское учреждение, спеша к центру и, как решил Пополитов, к другому вокзалу, где была другая тюрьма; но водитель и на этот раз пренебрег своевременным поворотом, смело углубляясь в кварталы правительственных зданий (“Куда мы так торопимся, - соображал, укачавшись, Пополитов, - если, кажется, и Мокрую площадь не объедем стороной?”), и, лихо очертив петлю вокруг клумбы с памятником Человеку-с-мечом на той самой площади, затормозил у Казенного Дома. Этот дом имел форму пифагоровых штанов, распахнутых в сторону площади, с прорехой парадного подъезда в самом уютном месте. Конвоир вылез первым, придержал, как порядочному, дверцу и неуверенно подтолкнул арестанта ко входу, где белела бумажка с крупной надписью: “Подъезд закрыт.

Стучать по телефону (такому-то)”. Ничего закрытого, однако, не обнаружилось, то, что положено, отворилось без запинки, а внутри были свет, порядок и обычный часовой. Из какого-то потайного угла вышел юноша в сером костюме и сером же галстуке и, без слов приняв у конвоира папку (еще одна была уже в руках), велел Пополитову идти по коридору с безмянными дверьми. В конце концов тот оказался в тесной комнатке с большим венецианским окном, представ перед жирненьким, средних лет, господином с усталыми, как положено, глазами, чем-то ему знакомым. Пополитов, читатель дурных детективов, естественно, обратил внимание на эту пресловутую усталость, а еще более - на пустоту стола, только подчеркнутую двумя незначительными предметами: чистой пельницей и, подле нее, красной с золотом стеклянной табличкой “У нас не шутят”, какие висели по всему коридору у каждой урны.

- Майор Пидержанов, - развалившись в кресле, представился толстяк. - Садитесь.

- Спасибо, я постою, - вежливо отказался Пополитов, но хозяин настоял, и Мирон, заняв табуретку, и здесь оказался в углу.

Юноша с галстуком, положив перед майором обе папки, молча вышел; пришлось ждать, пока Пидержанов не ознакомится с содержанием дел.

- Дебош, значит, в общественном месте и сопротивление блюстителю при исполнении, - задумчиво проговорил майор. - Хорошо, что не по нашей части. А вообще - прекрасный случай: люди едут отдыхать за город, при старом режиме я сказал бы - на пикник, а тут на их глазах - хрясь, хрясь по мордасам. Кровь, сопли... Не всякая женщина выдержит. Да и у всех прочих настроение испорчено, пусть день и не праздничный. И что же, Пополитов, вы со всеми нищими так обращаетесь? У вас какие-нибудь предрассудки?

- С жуликами, - поправил Мирон. - Он инвалидом представлялся, а пиджак упал - там рука, здоровее моей, в петлю просунута, чтобы не болталась.

Вздохнув, Пидержанов достал из ящика стола леденцового петушка на палочке и, зажмурившись, лизнул. Мирон вдруг вспомнил, что видел его в той самой электричке - тоже с леденцом.

- Вот вы, Пополитов, не помните, а раньше у нас продавали вкуснейшее мороженое: такие круглые таблетки между двумя вафельками, а на вафельках выдавлены разные имена: с одной стороны, допустим, Вася, а с обратной - Дуся. Кстати, знаете, что такое реверс?

- Ну, когда дают задний ход.

- Прекрасно. Я так и думал. Так вот, о мороженом я вспомнил потому, что теперь и петушки - редкость. Лучины, что ли, не хватает? На веточках бы делали. А там, в электричке, если б ваш клиент и вправду оказался инвалидом, как бы вы отнеслись к нему?

- Никак. Ну как я к вам отношусь? Подал бы милостыню. Правда, у меня мелочи не было. В протоколе записано.

- А присядь он рядом с вами - заговорили бы, не побрезговали?

- Почему вы знаете, кто там рядом со мной сидел? Может, еще хуже. Я ведь трудовую книжку ни у кого не спрашивал. Так что, если только он в дерьме не извалялся, - не побрезговал бы. Говорить - не целоваться. Одного не пойму - зачем вы такие непонятные вопросы спрашиваете.

- Если непонятные не задать или, хуже того, задать понятные, - с чмоканьем занимаясь леденцом, сказал Пидержанов, - то и ответ будет прост: три года за драку с полицией плюс годик благодаря обстоятельствам, которые бывают: времени, места, стесненные и отягчающие. Мне из них пока интересны первые два: когда и где вы подвизались матросом?

В станционном участке Пополитов и словом не обмолвился о своем прошлом (которым и не поинтересовались) и теперь замешкался с ответом, восхищаясь про себя всезнайством Службы Безопасности.

- Вам осталось, пожалуй, только побывать в геологической экспедиции, - со смешком сказал майор, устраивая чуть обсосанного петушка в пепельнице, - чтобы и в самом деле познать все стороны жизни. А на барже - на барже я и сам поплавал бы с удовольствием, рыбку половил бы, речным воздухом подышал. Вот выйду в отставку... И как это такую благодать вы оставили так быстро?

- Река стала. На воде зимой, известно, работы нету.

- И что же, ничего подобного, такой же благодати, больше не нашлось? Неужто не нашлось лучшего, чем сидеть в проходной с наганом?

- С общежитием - не нашлось.

- Вот в чем, оказывается, соль, - с облегчением вздохнул Пидержанов, снова принимаясь за леденец. - Приятно, когда причины и следствия так аккуратно ложатся по полочкам. Вы, значит, за прописку и комнату на любую работу пошли бы?

- На любую, да не на всякую, - туманно ответил Пополитов, справедливо подозревая подвох.

- За отдельную квартиру, значит, пошли бы, - решил майор,

окончательно настораживая Пополитова. - За отдельную люди на многое идут, вплоть до преступлений.

- Не дождетесь. Куда это вы хотите меня подставить?

- Вопросы здесь...

- Задаю я, то есть вы. Это я помню, грамотный, детективы читаю.

- Вот и прекрасно; Бог даст, сговоримся. Я вам - отдельную камеру, - засмеялся майор, - а вы мне - все, что имеете, так?

- Что за шутки, начальник?

- Господин, - поправил Пидержанов, - господин майор. Жаргончик-то у вас, Пополитов, сохранился - советский. Сразу видно, что за детективы у вас в ходу. Второе: я с вами не шучу. Будь вы внимательнее, заметили бы в конце моей фразы знак вопроса. И третье: не пытайтесь торговаться со мной. Сопоставьте-ка наши положения. Что я велю, то вы и сделаете, деваться вам некуда, и шутка моя, как вы ее определили, легковыполнима, в смысле отдачи вами всего, что имеете, оттого что не имеете ничего, кроме возможного срока лишения свободы. Вам рисковать нечем, вы - нищий.

- Нищие живут лучше нас с вами. Вот, кстати, о той же электричке. Прошел по поезду - тридцатка в кармане. За день можно насобирать столько, что на заводе и за месяц не заработаешь.

- Скиньте, скиньте на налоги. Нищих ведь тоже обируют, по-своему: надо и от полиции откупиться, и контролерам дать, и в общую кассу внести.

Для Пополитова несвобода нищих была откровением.

- Собирают они в самом деле помногу, - продолжал Пидержанов, - только отчего же и другим, и нам с вами не заняться тем же? Правда, тут загвоздка в том, что им конкуренты, сами понимаете, не нужны. У нищих есть своя организация, численность которой строго регулируется. То есть побираться-то вы можете пойти, но к выгодным, людным местам вас не подпустят. В лучшем случае - денек-другой дадут побаловаться, а потом прогонят. Станете возражать - побьют. Будете упорствовать, явитесь еще раз - побьют крепко. Если, конечно, не откупитесь.

- А если каждый день менять место?

- Вычислят и побьют. Для этого есть специальные люди. Я же говорю вам, там целая организация, слепленная, правда, примитивно, как у уголовников. Боюсь, что скоро она станет ощутимой силой. Это небезопасно для государства. К сожалению, мы ведем за нею только наружное наблюдение, а хотелось бы влезть и

внутри.

По мнению Пополитова, достаточно было бы подкупить парочку попрошаек, но майор сомневался в деловых качествах таких агентов, да и не знал, чем соблазнить их - не деньгами же; он предпочел бы ввести в их среду своего человека.

- Трудно вам, - посочувствовал Мирон. - Где же вы найдете такого? Какой же нормальный человек пойдет?

- Кому прикажем, тот и пойдет. Да вы, вы же и пойдете, - хихикнул майор, снова забавляясь леденцом, - выхода-то у вас нет. Вы сейчас очень верно сказали: нормальным человеческим бытием пожертвовать страшно трудно, а вот арестантским...

- Так вы мне стукачом предлагаете стать? Хорошенькое дельце.

- Фу, какие грубые слова. Совсе не стукачом. Я же не велю вам доносить на своих. Вы пойдете к чужим, будете разведчиком, и задачей я вам ставлю только выявление структуры организации и ознакомление с теми ее планами, которые касаются всех нас.

- Мало чести связываться с вами.

- Эвон вы как! Но это как раз любая, а не всякая работа - о чем мы только что говорили. А еще мы говорили о том, что торговля неуместна. Вспомните пословицу: сидишь в этом самом добре, так не чирикай. Чести ему мало!

- Да чем задаром с вами мучиться, испачкаться на всю жизнь, лучше уж отсидеть свое. Все равно мне на воле без своей квартиры...

- Кто же говорит, что задаром? - всплеснул руками Пидержанов. - Но и на многое не рассчитывайте, потому что если даже получите какой-нибудь приз, то никак не по законному праву и не по уговору, а исключительно от наших щедрот. Знаю, рано говорить об этом, рано. Посмотрим, как будет проходить операция - иначе зачем же нам понапрасну свой талант растрчивать?

- Обманете.

- Повторяю: никак не смогу обмануть, потому что ничего не обещаю. Оставить вас без приза - возможно, и оставим, резон есть, но надежда-то будет с вами, а это - большое дело. Откажетесь - ни надежды, ни веры, а о любви и говорить смешно. Останется Софья, мать их...

На этой неопределенной ноте хорошо было бы и закончить разговор, дав Пополитову время рассудить и взвесить, да еще и посоветоваться с мудрыми людьми, но майор жить не мог без подписи арестанта под известным обязательством, и, решив, что как-нибудь выкрутится - мало ли какую частью тела повернется завтра

фортуна, - Мирон сдался.

Через полчаса он был уже на улице - один, без провожатых.

Только что он горевал об утраченной возможности делать по своей прихоти простые вещи - есть или спать, покупать пустяки или продавать одежду с плеча, кататься на автобусе, снова наняться матросом, по-доброму поприставать к девушкам на улице, вообще пойти направо или налево, куда заблагорассудится. От сознания утраты всего этого Мирон недавно был в отчаянии. Теперь, хотя все перечисленное, а заодно и то, о чем еще не достало времени подумать, вдруг вернулось, Пополитов буквально задохнулся от воображаемой вседозволенности. Не зная, что бы сделать сперва, он волей-неволей остановился перед простейшим выбором - направлением пути; эту-то свободу ему точно вернули: решать, куда повернуть по выходе из здания. Повернув налево, он увидел перед собой, через улицу, старинное здание, угловую башню которого нелепо завершало подобие дурацкого колпака (а Мирон сейчас от радости придумал и более непристойное подобие). Размещавшийся в доме бар так и назывался: "Под колпаком". Пройти мимо было нельзя, тем более что аккуратная табличка на двери обещала свободную продажу спиртного.

Ему пришлось спуститься в глубокий подвал. На первом, если считать от поверхности земли, этаже гимназистки баловались мороженым, на втором (а тут на каждый этаж вела своя отдельная лестница, так что Мирон набегался вверх-вниз) беседовали за коктейлями джентльмены в галстуках бабочками; провожаемый резким запахом сигар, Пополитов ретировался и отсюда и, сойдя еще ниже, достиг наконец уровня, где плебейски, привычно пахло чем-то острым и где подавали чистые напитки. Публики поначалу не разобрать было в полумраке, и Пополитов, робяя перед завсегдатаями, понадеялся и сам остаться незамеченным; пообвыкнув, он увидел, что со здешним народом застольная беседа будет не в тягость, вернее - что его не прогонят.

Заказав стопку водки, он получил в придачу бутерброд с килькой...

- Ловись, рыбка, большая и маленькая, - пробормотал он.

Сосед слева отодвинулся от него, а бармен быстро нашелся и пожелал счастливой рыбалки.

Теперь можно было наконец осмыслить свое новое положение. "Ловись, рыбка! Сам попался на крючок", - трезво подумал Пополитов. Мало того, что он согласился на подлую службу, так последняя еще и оказалась сопряженной с сочинением

донесений - Мирон же вовсе не был любителем писать письма. Майор тем не менее настаивал на регулярной переписке, да еще и под чужим именем. Для Пополитова он придумал нелепую подпись, мало кому понятное слово: Шептало.

Выпив свое за один прием, Пополитов обнаружил, что ощущение свободы потускнело, и вывел, что дело в недостаточности дозы.

Ко вторым ста граммам полагалась головка маринованного чеснока с куском черного хлеба. Повторить прежний вариант бармен отказался наотрез:

- Господин, кажется, не частый у нас гость и запомнил, что к каждой рюмке подается своя фирменная закуска. К третьей вы получите стакан томатного сока, зато четвертая будет бесплатной, и вот к ней-то вы сможете выбрать закуску по желанию. Правда, мало кто достигает этого рубежа. Пятой порции мы не подаем вовсе. С этим строго. Где, кстати, изволите служить, если не секрет?

- В охране, - не мудрствуя лукаво, брякнул Пополитов.

- Гм. Зачем же вслух? Но будем знать, будем знать.

Со второй стопкой Мирон уселся за угловой столик и сразу увидел, как к нему со своей водкой и килечкойпряного посола пробирается Пидержанов. Решив, что майор передумал, он почувствовал мимолетную тошноту, но нашел силы улыбнуться:

- Милости просим, господин...

- Тихо! - одернул майор и вполголоса добавил: - Здесь я для вас Федор Эрстович. В нашем деле лучше обходиться без чинов и званий. И давайте-ка пересядем. Вам придется пересесть, как сказали одному заключенному.

Мирон повиновался, не спрашивая, и Пидержанов подвел его к неудобному, стоявшему на самом юру столу, украшенному табличкой "Здесь не подслушивают".

- Наешься, знаете ли, с утра леденцов, - доверительно сказал Пидержанов, - так потом только и мечтаешь об этой килечке.

- Еще и огурчика соленого неплохо бы, - с пониманием отозвался Пополитов.

- Этак вы насочиняете закусок, каких и в Красной книге не сыщешь. Только аппетит раздразите напрасно. Пользуйтесь-ка словами, понятными каждому.

- Кстати, о словах: почему - Шептало? Каждый будет спрашивать, что это за зверь.

- Угрюмый рак, - невпопад буркнул майор, думая о чем-то другом.

- Пивка бы тоже не помешало... С раками.

- Здесь не подают. Но неподалеку, в соседнем квартале, есть чудесная пивнушка. О раках, понятно, мечтать нечего, но остальное там в ассортименте. Везде, впрочем, свои причуды, и чем дороже кабак, тем их больше.

- Тут, я смотрю, причуды прямо кишат, - заметил Пополитов.

- Одна, кажется, сейчас к нам подсядет.

- За этот столик без спроса не посмеет.

- Хорошо вы устроились, Федор Эрастович, - с новорожденным подобострастием похвалил Пополитов, не слишком стараясь отгонять мысль о том, что и ему когда-нибудь перепадут крохи. - И сладости свои достаете незнамо где, и за ваш столик просто так не сядешь. Не удивлюсь, если из этого подвала вдруг найдется ход прямо к вам.

- Способный вы юноша, - усмехнулся Пидержанов. - Именно этим ходом (я покажу дверцу) вы и будете пользоваться, приходя по вызову. А для нас этот ход, знаете ли, большое удобство: не станешь ведь, улучив минутку для отдыха, каждый раз выходить на мороз или под дождь. Вы скажете, что мы могли бы и у себя, внутри, открыть бар - так это всё не то было бы; другой, знаете ли, запах. Каждый устраивается как может - мы устроились, как хотели, а вы, молодой человек, старайтесь: глядишь, и вам отстегнут от желанных благ. Блага! Вы, небось, в своей караулке и слово такое позабыли либо понимаете его превратно. Ну какие блага могут свалиться в наше время на простого трудящегося? Для вас, например, высшее благо, мечта жизни - занять каморку в развалюхе, ожидающей сноса. Получите ордер - почувствуете себя на седьмом небе, а то, что в лавке картошку мороженую продают, что в баню надо за семь километров ходить, что в автобусе давка и карманники шуруют, - это ерунда, из-за этого люди будто бы не вешаются. А для меня благо - иметь не просто отдельную, но и лучшую, чем у других, квартиру, да еще и в хорошем районе. Для вас благо - к середине жизни с трудом накопить на хилую малолитражку, чтобы не потеть в муниципальном транспорте, и это - какое событие будет! А для меня машина - предмет будничного пользования, как газовая плита или унитаз, и благо - иметь гараж под домом, а не в другом конце города, или получить право на внеочередной, по первому разряду, сервис. О снабжении и говорить нечего. Что далеко ходить - вы грызете здесь чеснок и довольны, а загляните-ка на этаж выше...

- Везде свои причуды, - вспомнил Пополитов.

- Это вы о чем? А, да, понял. Не советую, Мирон, не советую.

Я-то еще могу тряхнуть стариной, но в вашем положении да со здешними кадрами плохо кончится. Конечно, если хотите, чтобы прекрасная фемина просто посидела рядышком, так сказать, для аромата, чтобы сдобрить наш мужской разговор, тогда я согласен и даже с интересом за вами понаблюдаю.

Ничего такого Пополитов не хотел, ему не до того было, но явно хотел майор: видно было, что, останься он один, тотчас подмигнул бы красотке. Мирон равнодушно согласился - пусть, мол, сядет, - и сразу их стало трое, и на столе прибавились еще одна стопка и головка пахучего чеснока.

5

Любители попариться знают, как славно бывает после бани освежиться холодным пивком. В деревнях мужики всегда сами заранее готовили нужный напиток - брагу, медовуху ли - где как заведено и возможно; городские же бани при старых режимах не мыслились без казенного пива; причем клиент избавлялся от всяких хлопот - ему и приносили, и разливали, не забывая к тому же о побочных услугах. Первые десятилетия пролетарского правления привели к тому, что с прислужгой стало поплосше, и тому же пролетарию уже и хамили, того же пролетария и обманывали, с течением времени все больше входя во вкус. Потом пошли и вовсе смутные годы, и то бани закрывались из-за нехватки угля, то пропадало в стране мыло, а то и пиво переставали варить, когда - в безнадежной борьбе с пьянством, а когда (уже после отделения Области) - из-за того, что для спасения казны все напитки в продаже были заменены одною водкой. Но прошло и это. Водичка дырочку найдет, и пивной ручеек потек снова, только пусть и близко от банно-прачечных заведений, да не затекая в них. После многих революционных преобразований установился порядок, когда в недра самих бань желанный продукт не завозили, но ставили ларьки неподалеку, так что по выходе помытые могли все ж освежиться кружечкой-другою. Вместе с тем, выйдя на воздух, любители пива попали на мушку ревнителям нравственности, трезвости и безопасности государства, угрозой которой представляет, как известно, любое собрание людей числом более двух. Эти борцы за светлое будущее, возбудившись от зрелища хмельного разговорчивого народа, взялись, засучив рукава, переустраивать мир. Поначалу, чтобы избавиться от очередей, приказано было оставить при каждой пивной бочке не более, чем по пять кружек -

чтобы пятеро пили, пятеро терпеливо ждали, а остальные, отчаявшись, уходили восвояси. Народу возле источников из-за этого только прибавилось, и тогда ларьки были отнесены не меньше, чем на километр от бань, да и от жилья подальше, непременно - на пустыри, где всякому вольно было встать хоть в тысячную очередь, не оскорбляя зрения трезвых властей. На деле и на этих диких площадках толпы продолжали лезть в глаза и в объективы так упорно, что чиновным революционерам оставалось только решительным декретом покончить с любым питием на улице, вовсе, до единой, изъяв кружки. Предполагалось, что покупатели станут приходить с бидонами или канистрами и затем культурно утолять жажду в кругу семьи; они и в самом деле стали приходить с бидонами, стеклянными банками, на худой конец - с коробками из-под молока и даже с прозрачными кульками из пленки, да прямо из них, из канистр и кульков пить свое горькое пиво, далеко не отходя от источника.

Один из ларьков возник не на таком уж гиблом месте - на пустыре, но возле рынка и всего в четырех автобусных остановках от ближайшей бани, так что особенно распаренный гражданин мог легко съездить туда и обратно: попить, а потом домыться. Зато гораздо ближе располагалась огромная гостиница для иностранных туристов, и тем при нужде с руки было сходить к ларьку со своим бидончиком.

Пустырь был как пустырь, только с одной стороны вход на него был затруднен, а в ненастье и невозможен из-за прорытой там ненадолго да забытой траншеи, концами теряющейся за горизонтом; с противоположной стороны он благополучно замыкался бетонным забором рынка, из-за которого выглядывали пыльные деревья. В их тени и приютился фанерный сарайчик с окошком-прилавком; в жару покупателям удобно бывало посидеть на земле под забором. Люди здесь собирались разные, но в большинстве - из тех, кто не в состоянии позволить себе иной, кроме пива, выпивки; здесь, правда, продавали тайком и то, что крепче и дороже, но - не всем, не всегда и, конечно, только в свою, принесенную из дома (или, уж не знаю, откуда) посуду. Добрая слава была у этого места, потому что торговал тут Михалыч, бывший полярный летчик и, значит, честный человек, какой не опустится до того, чтобы разбавлять напитки сырой водой, а лишь не дольет каждому по чуть-чуть. Зимой у него всегда находилось и пиво, слегка подогретое в чайнике, и вообще все было продумано в его хозяйстве, все под рукою и в порядке на его рабочем месте, а там, где толпились клиенты, могло быть по-

всякому, за это он был не ответчик; там случались и брань, и драки, хотя большею частью очередь, униженная долгим ожиданием своего глотка, топталась на удивление терпеливо. Для лучшего убийства времени слово за слово заводились меж людьми разговоры о жизни и глубокие рассуждения о политике, а также о том, где, как и сколько удалось кому-то выпить.

- Нейдут что-то сюда туристы, - для затравки беседы заметил щуплый мужичок в старом пиджаке, кивая на небоскреб. - Видать, у них пивной сезон не начался, холодно еще по-ихнему. Они, видать, в мае начинают.

- У них там, внутри, небось свой ларек есть, - равнодушно ответил кто-то.

- Чего только там внутри нету, ей-бо! - воскликнул, оживляясь, щуплый. - Меня тут все знают, я не совру.

Его и в самом деле узнавали и продавец, и завсегдатаи и по-свойски величали Васьком; кроме имени, им, собственно, и нечего было, и не хотелось о нем знать.

- Дом-то арабы строили, - продолжал Васек. - Они мне и говорили, как там и что.

- Неужто ты по-ихнему понимаешь?

- Это они быстро по-нашему научились: нужда заставила. Помню, попил я тогда пивка и лежу вон там, под забором, отдыхаю. Они подходят, двое, спички спрашивают. Дал я прикурить, а сам шучу, что, мол, плохо им платят: на спички и то не хватает. На самом-то деле они знаешь, сколько получают? На тележке не увезешь.

- В гостиницу не приглашали?

- Не сбивай. Не было никакой гостиницы, строили они ее. Построили и уехали с нашими денежками. Спичек с собой повезли - каждый по чемодану. Тогда, вообще, другое время было; тогда у Михалыча табличка висела: требуйте, мол, долива после отстоя пены.

- И ты требовал?

- Что ты, я гордый, - обиделся он и вдруг изумленно вскричал: - Нет, что делает, а?

Там, куда он смотрел, мужчина со свежим лицом, обрамленным аккуратной шкиперской бородкой, переливал пиво из банки прямо в матерчатую сумку на колесиках. Васек рванулся посмотреть на чудака поближе, а вернувшись, разочаровал соседей:

- У него внутри банка спрятана, баллон литров на пять.

- У тебя-то не такой в кошёлке?

Васек махнул рукой. Его банка, взятая напрокат у рыночного сторожа, не вмещала и литра; зато рядом с нею лежали, на случай водки, два стакана, прихваченных из уличного автомата с газированной водой. Отойдя наконец со своим пивом от окошка и подняв над головой пустой стакан, он бросил клич:

- Ну, кто со мной?

Никто не отозвался: видимо, до полочки всем было далеко.

- А мне охота, - весело сказал он. - Постерегите-ка пиво, я мигом.

Осторожно оглядевшись, он постучал в облезлую дверцу. Открыла жена Михалыча.

- Мне, тетя Люсь, триста грамм в один стакан.

- Сдурел, Васек? - возмутилась она. - Где ты видел такие стаканы?

- Да вот в этот, в обыкновенный.

- Обыкновенные - на сто восемьдесят да на двести, ну - на двести пятьдесят. Понял?

- А может, попробуешь, а, тетя Люсь?

- Пошел вон отсюда, паразит, - лениво замахнулась она мокрой тряпкой.

- Ну, ладно, - сдался он, вытаскивая второй стакан. - Так и быть, давай два раза по сто пятьдесят.

- Что голову морочил, шут? - проворчала Люся, скрываясь с пустыми стаканами в сарайчике; через полминуты дверь приоткрылась настолько, чтобы просунуть руку. - На, держи. Поскорее.

- Погоди, тетя Люсь, глянь сюда.

Он слил содержимое обоих стаканов в один; до края осталось еще с полсантиметра.

- Михалыч! - ахнула Люся. - Смотри, какой к нам фокусник пришел!

Довольный, Васек вернулся к своему месту. Поставив стакан наземь, он достал из сумки хвост копченой скумбрии.

- Слушай, у тебя рыба! - воскликнул сидевший рядом на корточках краснолицый верзила в забрызганном краской комбинезоне. - Не могу пить пиво без рыбы.

- Не можешь, не пей, - спокойно рассудил Васек.

- Я уже взял - не выливать же.

- Зачем тогда брал? Я что, специально для тебя принес? - огрызнулся Васек, отрывая, однако, от хвоста кусок. - На, закусывай. Эй, а ты что?

Вопрос предназначался рослой девушке с отменным бюстом и серым лицом. Она молча глядела на его приготовления.

- Тоже рыбки захотела? - усмехнулся он. - Или водочки?

Девушка покачала головой.

- Пива, значит, - вывел он. - На, отпей, а я за тобой. Постой, постой, а ты, часом, не заразная?

- На инвалидности я.

- Оно и видно. Да, у меня ж чистый стакан есть, - вспомнил Васек. - Как звать-то?

Девушка представилась просто: Райка.

- Пей и рассказывай, - велел он.

Она же напилась и ушла. Удивляться тут было нечему: добавки она бы все равно не дождалась. Какое-то недолгое время Васек жалел, что не задержал девку подольше - она хотя и глуповата была на вид, да пить в женском обществе было, он бы сказал, культурнее. Пойти же за нею следом он никак не мог, оттого что и рыбка лежала на газете, и в банке оставалась почти половина, и стоял на полу непочатый стакан. Ваську совершенно не хотелось комкать трапезу.

Сидючи здесь на месте, можно было дожидаться любопытных развлечений. Вот и сейчас неведомо откуда возник на пустыре паренек с лотком на ремне, обвешанный плакатами. Оглядевшись и собравшись с духом, он закричал дурным голосом:

- Лотерея! Выигрывает каждый пятый! Главные выигрыши - пропуска на митинг!

- Сдался нам твой митинг, - сплюнул Васек. - Развели агитаторов.

Но здесь не все было так просто: плакаты гласили, что каждый обладатель пропуска бесплатно, как ребенок на старинной елке - кулек с конфетами, мог получить на митинге бутерброд с колбасой, а на свои деньги купить пшена и сахара. Это был большой соблазн: еще советская власть сделала колбасу (единственный продукт, пока сохранявший запах мяса) недосыгаемым предметом вожделения, символом сытости. Крестьяне, забывшие разводить скот, высаживали в города железнодорожные и автобусные десанты, которые после известных осадных мероприятий увозили с собой в виде трофеев колбасу, одну только колбасу, ничего, кроме колбасы, любого сорта, лишь бы побольше (пленных же не брали, чтобы не тратить на них еду). Бутерброды с колбасой даже и в городах, и в столице стали выглядеть некоторым изыском, доступным не каждому: экономнее было варить из нее суп или жарить на второе.

Теперь, глядя в беспечное прошедшее время, иные говорят, посмеиваясь, что колбаса, с которой в нашем сознании связана целая эпоха, заслужила памятник; противники идеи не спорят, а молча демонстрируют эскизы монумента.

- А что за кайф тебе, парень, - спросили из очереди, - кормить нас?

- Узнаете на митинге, - доходчиво объяснил лоточник. - Наши депутаты откроют вам глаза на смысл жизни и происки врагов.

- Смысла-то нету, известно.

Парень вдруг снова заголосил:

- Всем билеты разнесу - получайте колбасу!

- Колбасу - вперед, - потребовал Васек. - Не то придешь, а тебе вместо колбасы...

- Наши депутаты - это чьи же? - поинтересовался кто-то серьезный.

- Движения спасителей Отечества. Разве других выбирают?

Обступившие было его люди тотчас потеряли интерес к теме. Молча отворачиваясь, они разбрелись кто куда - в очередь, на рынок, под забор.

- Есть другие выигрыши! - в отчаянии закричал лоточник. - Одеколон!

Его больше не слушали. Каждый продолжал прерванный было разговор.

- В азартные игры с государством я не играю, - сам себе сказал расхожую фразу Васек. - Всегда останешься внакладе. Эх, наливай!

- Обратите внимание, господа, - вполголоса, словно тоже сам себе, заметил некто серьезный, - что его никто не послал подальше.

Что-то интересное для Васька забрезжило в этих словах; ему и самому, оказывается, в последнее время слышалось в общем говоре неладное, словно какая-то неродная материя завязла в воздухе, и, не узнавая ее, он только смутно ощущал неудобство. Дело же заключалось в том, что в среде ему подобных давно никого не адресовали в сердцах... в непотребные места, словно осознав, что так далеко ходить нет нужды, что всё найдется рядом.

Расскажи кто-нибудь об этом Ваську, он тотчас согласился бы, что пришла большая беда, но сам он еще не умел распознать ее так отчетливо, чтобы поделиться наблюдением с другими.

- Сдается мне, парень, - сказал Васек лоточнику, - что тебе ничего здесь не обломится. Скинул бы ты эту амуницию да взял пивка. Тебя, болезного, без очереди пусят.

- Обойдусь без советов, - отрезал тот и попробовал в последний раз: - Дешевая потеря! Каждому пятому - бутерброд с колбасой! Большое удовольствие за маленькие деньги!

По другую сторону сарайчика запилила гармошка, и общее внимание обратилось туда. Кое-кто начал потихоньку подпевать, да закашлялся, другой неумело пустился впрямую, а потом вдруг все шумы перекрыл и остановил суету резкий девичий голос:

Как я с миленьким вчера
Цаловалась до утра,
Цаловалась бы еще,
Да болит влагалищѣ.

Это пела Райка.

6

После собрания следовало бы подойти к Смирновой - утешить либо оправдаться, - но Гоголев не решился и постарался покинуть зал незаметно. От дверей зала, не выдержав, он посмотрел мельком, боясь встретиться с нею взглядом: Смирнова выглядела не убитой, а взвинченной, и смеялась, не слышно над чем, в кругу обступивших ее коллег, только что единогласно проголосовавших за почетный плен. До Ивана Сергеевича донеслись ее слова: "Это стоит отпраздновать", - и он тем более поторопился скрыться, пока не позвали и его. Сама по себе мысль о праздновании, как о плясках на могиле, показалась ему непростой, потому что жизнь этой женщины рушилась и сам Гоголев в ее положении, наверно, напился бы с горя, но, с другой стороны, математичка получила сегодня свободу от службы, от Задушевных Бесед (он точно знал, что они не проводятся в лагерях), от сходов Движения, от цензуры, уродующей планы ее уроков (алгебры и тригонометрии), - всего и не перечислишь. Возможно, на нынешнем собрании одна Смирнова и чувствовала себя человеком в отличие от тех, кто, послав ее на каторгу, утратил частичку души. Эту свою потерю Иван Сергеевич ощутил совершенно ясно, и одна она могла послужить достойным поводом для поминок, которые не празднуют, Боже упаси, не справляют. "Надо помянуть", - решил он, понимая, что в действительности речь идет о потребности заглушить совесть, чтобы дожить до завтра.

В дверях Иван Сергеевич нечаянно устроил недолгий затор, пропуская вперед доброго человека, биолога, в свою очередь

уступавшего дорогу ему. Невольно рассмеявшись над классической мизансценой, они с одинаковыми мыслями посмотрели друг на друга.

- Надо бы, дорогой коллега... - безнадежно поведя рукою, предложил биолог.

- Не обойтись, Захар Петрович, - отвечал литератор, прикидывая свои возможности, ограниченные, как вспоминалось, талоном на две бутылки вина.

- Более чем! - воскликнул биолог, узнав о ресурсах коллеги. - Идем ко мне.

Жена Захара Петровича, Алла, была, по оценке Гоголева, лет на десять моложе своего мужа - совсем еще девочка. Открыв дверь, она сделала книксен и улыбнулась обоим, но взгляделась в лица вошедших, и улыбка сползла с лица.

- Не обошлось, - решила она.

- У нас без мерзостей не обходится, - вздохнул муж. - Куда тут денешься?

Деться, печально согласился Иван Сергеевич, было решительно некуда - только к знакомому на кухню.

Ко времени, когда происходили описываемые события, о пресловутых интеллигентских бдениях на кухнях оказалось написанной столько всяческой прозы, что впору было не только перестать рассказывать об этом, но и хозяевам квартир переменить неоригинальный образ жизни, переместившись наконец в подходящие для долгих бесед комнаты: гостиные, столовые, кабинеты. Они и сделали бы это с удовольствием, существуй такие комнаты во плоти; на самом деле помещений в квартирах, какую ни возьми, неизменно оказывалось меньше, чем необходимо для жизни, не то что для приемов. Иван Сергеевич, например, еще нигде, ни у кого не видел отдельной гостиной или столовой и лишь понаслышке знал о кабинетах, которые позволяют себе заводить большие ученые и писатели. Бездетному Захару Петровичу (не говоря уж об одиноком Гоголевсе) было легче, нежели другим: единственная комната, в которой супруги спали на раскладном диване, не просто могла служить гостиной, но и обставлена была подобающим образом. Вместе с тем гостям, если их приходило мало, все равно накрывали в кухоньке, ближе к холодильнику и плите; с Иваном Сергеевичем и подавно можно было не церемониться, как со своим человеком.

Не смущаясь стопкой грязных тарелок в мойке (нашлось же несколько чистых), Алла мигом выставила на притиснутый к окну крохотный стол замороженное сало, самодельные соленья и, главное,

бутылку медицинского спирта; теперь Ивану Сергеевичу стало ясно, отчего биолог сказал “более чем” о его жалких двух бутылках сомнительного винца.

Здесь уместно разъяснить, что жена уважаемого преподавателя биологии работала медсестрой в большом госпитале; между тем как с советских времен повелось, так и осталось в Вольной области само собою разумеющимся, что любой человек, имеющий на государственной службе доступ к спирту, никогда не использует последний так, как велит эта служба, а в первую очередь и даже исключительно - для собственного удовольствия как пищевой продукт. Во вторую очередь спирт используется всякого рода обмена, что делает его владельца чрезвычайно нужным человеком во всех сферах. Самое главное - казенным спиртом очень удобно давать (то есть удобно-то - брать) взятки, оттого что они в этом случае как раз на взятки и не походят за отсутствием у предмета цены: если нельзя принять в подарок бутылку водки, имеющей немалую цену по прейскуранту, то ничто не мешает принять хотя бы и целую канистру ректификата, не стоящую как бы ничего или стоящую копейки. Но это так, к слову. Как бы там ни было, а многие удивились бы, когда бы в доме медика не оказалось спирта.

- Тебе, Захар Петрович, не страшны никакие катаклизмы, - заключил гость, с грустью глядя на запотевшую бутылку.

- Тем более, - ответил хозяин, - что нет продукта чище этого. Московский мой братец (а он примерно одних лет с тобой) всю жизнь разезжал по ракетным полигонам. Когда он впервые попал туда, как раз вышел приказ министра: в целях, дескать, борьбы с пьянством впредь использовать для технических нужд только этиловый спирт-ректификат. Надо думать, люди не брезговали и метиловым, да мерли почему-то. Было это в конце пятидесятых, но приказ, говорят, выполняется и теперь. Так вот, брат рассказывал, что этому техническому и в подметки не годился питьевой, что продавался тогда в Казахстане.

- Сейчас бы и тот пошел, - мрачно произнес Иван Сергеевич. - Не передать, до чего погано на душе. Самое скверное, что только может быть - этакое злобное бессилие.

- Только-то? - пожала плечами Алла, разбавляя спирт в своем стакане водой и с неприязнью глядя на мигом помутневшую жидкость.

- Только! Но это лишь симптом, а болезнь называется - грязная совесть. И с этим надо жить дальше.

- Если разобраться, это большая трагедия, - поддержал Захар

Петрович. - На твоих глазах увечат человека, а тебе якобы оставляют выбор: докажи, что тот негодяй, и его оставят в покое.

- До отделения Области многие ждали “твердой руки”. Дождались - и что получили? Естественно - лагеря. Правда, поначалу было полно еды, но ее съели - и стало хуже, чем прежде. А там понемногу началось: лагеря, комендантский час - прелестей хватает.

- погоди, Иван Сергеевич, - остановил его биолог. - Это все - известные истины. Давай-ка выпьем по чарочке прежде, чем разглагольствовать. За что только?

- Чтоб они сдохли! - поторопился провозгласить Гоголев. - Этот тост, говорят, придумал в хрущевские времена Паустовский и так всякий раз за столом поминал наших общих заклятых друзей.

- За это - до дна.

Они дружно осушили стаканы.

- За рюмкой водки, - продолжил Иван Сергеевич, - всё-то мы понимаем, мним себя честными, главное - чистыми, но когда доходит до дела, как сегодня - куда только пропадает наша честность? И мы еще считаем, что поступили разумно? Можно ведь было - либо безрассудно, либо разумно. Мы свой выбор сделали и теперь уже не отмоемся никогда.

- Детей учим, - горько сказал Захар Петрович.

- Воспитываем граждан на собственном примере. Сегодня мы с тобой сравнивали свой личный пример с казенной программой: ни то, ни другое не стоит внимания. Чему же и как учить? Программа! Сколько я себя помню, из русской ли, или из мировой литературы изучалась всего лишь, дай Бог, треть, а то и четверть. Худшая, обычно.

- Выпьем за лучшую, - предложил биолог. - Но в отношении литературы подцензурность как бы даже и естественна: как-никак, это предмет нравственного ряда, стало быть - идеологического. Но, представь, ведь и я тоже чувствую на своей шкуре все недобрые веяния, и на биологии отражаются изменения строя. Представь, снова стали сверх меры вспоминать о лошади Пржевальского.

- При чем тут лошадь? - не поняла Алла.

- Да, да, у меня от школьного курса естествознания остались в памяти лишь волосатый человек Евтихийев да эта лошадка, - неоправданно громко воскликнул Иван Сергеевич, вспоминая кабинет биологии в школе, где он учился; там рисунок этой лошади висел на самом почетном месте, рядом с портретом академика Павлова. - Что там львы, киты и верблюды? Лошадь Пржевальского - вот царь зверей!

- В чем все-таки дело? - продолжала допытываться Алла. - Где тут связь с политикой?

- Это элементарно, Ватсон, - улыбнулся ее муж.

- Элементарно, - согласился Гоголев, - но мы, школьники, вполне соглашались с предложенной шкалой ценностей, у нас даже не возникало вопросов. В тогдашней энциклопедии лошади Пржевальского, единственной из всей конницы, посвящена отдельная статья, да еще с картинкой. И такого же размера статья, не иллюстрированная, - всем остальным коням-лошадям. Нам это не казалось странным - молодые были, глупые, а когда повзрослели, всем стало не до школьной программы. В середине восьмидесятых уже каким-то боком дошло, пошли слухи, сплетни: мол, великий путешественник...

- А что такое великий путешественник? - перебила Алла. - Что надо сделать, чтобы из простого стать великим? Нагулять километраж?

- И в самом деле... Работал человек туристом... Да, так вот о слухах: мол, этот великий гулял сто лет назад по Закавказью, пользовался гостеприимством грузинских князей - и не обошлось без шалостей с горничными, в том числе и в городе Гори. Взгляните на портрет Пржевальского в той же самой, синей энциклопедии - огромный, во всю страницу (куда там Колумбу!) - похож, подлец. Усы, эполеты - чистой воды генералиссимус.

- Но лошадь-то в самом деле замечательна? - обратилась Алла к специалисту.

- Человек произошел не от нее, - ответил тот. - На этом не настаивали даже до пятидесяти третьего года. Лошадь как лошадь. Замухрышка. Ходит на четвереньках.

Алла рассмеялась, а Иван Сергеевич вздохнул:

- Что-то надо делать.

- Выпить, - посоветовал Захар Петрович.

- Да, конечно, - рассеянно сказал Гоголев, подставляя стопку; мысли его начали приятно смещаться. - Скоро люди окончательно одичают от нищеты. Опустятся на четвереньки, как лошадь П-П-Пржевальского, и будут раз в сутки счастливы, получив овса в горбе. Давно я не напивался.

- Время от времени это полезно: снять напряжение.

- Это катастрофа, - пробормотал Иван Сергеевич, встревоженный внезапной идеей. - Завтра проснусь - напряжение на нуле, а вокруг ничего не изменилось. И я должен буду учить детей! Я ведь уже раздавлен... Если б не было этих бандитов!

- За это мы уже пили, - неуверенно напомнил Захар Петрович.

- Нет, если б не было - тогда! Как бы мы теперь жили! Сейчас же они кажутся мне бессмертными. Кстати, у Константина Георгиевича, говорят, этот тост бывал только заключительным. Это логичнее.

- У нас еще все впереди, - пообещал биолог. - Обычно находится какая-нибудь мелочь, с которой начинаются великие перемены. Нам же, кажется, предлагают начать с крупного - с Программы нарастания.

- Как, однако, скачет твоя мысль, - изумился Иван Сергеевич. - Я с трудом успел. И все же - ура! Ура новому заряду словоблудия! Вперед, к победам казарменного социализма!

О новой программе он совершенно уже не мог слышать как и обо всех предыдущих. Свежая мысль ее заключалась в обязательствах во всякий день делать больше, нежели во вчерашний. В остальном эта программа походила на прежних безвременно похороненных своих сестер: в ней тоже обещалось увеличение чего-то во столько-то раз или наращивание другого на столько-то единиц без объяснения того, каким манером это будет сделано.

- Посчитать, сколько бумаги изведено на эти программы... - вздохнул Гоголев. - А на художественную литературу не хватает.

- Но писатели-то пишут, - заметил Захар Петрович. - Ни дня без строчки, а?

- “Ни дня без строчки” - это записки швеи.

- Пора отполировать кровь, - решил хозяин дома, ища штопор, чтобы откупорить бутылку вина.

- Что ж, если она так шершава... - пробормотал Гоголев. - Печален будет мой конец... Но, господа, можно подумать, что тут у нас мастерская: снимаем напряжение, полируем. Вы - предприниматели, я - наемный работник. Мой труд нещадно эксплуатируется. Как у всякого пролетария, у меня одно желание...

- Устроить замыкание?

- Вот был бы славный финал! Поступок, во всяком случае. Но мы же сняли напряжение: замыкания не получится. Никогда не хватает напряжения на поступок.

Оттого, что новое начальство предупредило (изящным выражением “набьют морду - и не раз”) о возможных побочных

неприятностях, настроение было никудашнее и хотелось бросить всю затею; но и с этим связывались неприятности, даже худшие стократ. Кое-как Пополитов настроил себя на то, что сумеет в трудный момент отговориться, отшутиться, а вернее - обмануть. Полученное задание - просить милостыню в людном месте - казалось, на первый взгляд, до глупости простым; на второй - просматривались мрачные фигуры конкурентов и боевиков, "разборка" с ними, а затем - скучная необходимость получения лицензии на промысел и переписка с Казенным Домом. С техническими трудностями Пополитов не встретился ни с какими: прислониться к стене и протянуть руку с кепкой оказалось проще простого. Дома, репетируя свой первый выход, он считал, что придется набраться терпения, как на рыбалке с удочкой; в действительности же клева он ждал недолго. Правда, первый прохожий, к которому довольно нахально обратился Пополитов, высокомерно бросил, думая, что острит:

- По средам я не подаю.

- А я по четвергам не прошу, - обиделся Мирон.

"С ними нельзя спорить, - сообразил он. - Но и под лежачий камень вода не течет." Придумывая лучшую позу и оригинальное обращение, он не заметил, откуда упала первая копейка. Он хотел было тут же спрятать ее в карман, отдельно, чтобы потом хранить как талисман, но тут же упала и вторая, и он уже не мог различать их. Потом деньги стали падать в его сачок редко, но мерно; это давало повод к приятным размышлениям, среди которых он и был застигнут врасплох смрадным шепотом в самое ухо:

- Проваливай, пока цел.

Быстро оправившись от испуга, Пополитов спокойно предложил:

- Проваливай сам.

По этим двум репликам опытный читатель вполне может представить себе остальной текст короткого, минуты на полторы, диалога, содержание которого свелось к тому, что не нужно мешать людям работать, что не нужно отбивать чужой хлеб, что каждый работает, где может, что мне первый встречный не указ, что этак найдется много охотников шарить на халяву, что не только о плате нигде не слышано, но еще и с тебя надо содрать червонец - просто так, за мерзкую рожу, калека несчастный. Последние два слова, оброненные Пополитовым, отчего-то прились не по вкусу зрителям, необычайно быстро сошедшимся во мнении, что если кому и быть калекой, то ему. В таком решении Мирон увидел завязку для

спора, но оппоненты, видимо, спешили - и он, задохнувшись, сполз по стене. Мысль о дискуссии, видимо, все же носилась в воздухе и была, пока Пополитов возвращался с нечаянного околосемного витка, подхвачена всей компанией. Устно это оформилось так:

- Пошли, потолкуем.

Возражений не последовало (напротив, Мирон горячо приветствовал предложение), да нехстати возникли непредвиденные трудности с сохранением при ходьбе вертикального положения и курса, так что двум доброхотам из публики пришлось любезно предложить ему посильную помощь.

На затеянном в безлюдном дворе толковище Пополитов, хотя и получил два бодрящих удара в челюсть, никак не мог объяснить любопытным, отчего это ему взбрело в голову побираться - при его возрасте и телосложении смешно было ссылаться на угрозу смертельной безработицы. Он тупо раскачивался между двумя доводами - “Жрать-то надо” и “Пусть дураки вкалывают”, - что, возможно, и расположило к нему публику. Оставив какие-то свои прежние намерения, бывшие зрители, перекинувшись несколькими словами, не дошедшими до Пополитова, сообщили ему как бы нехотя, что им требуются молодые работники (они и сами выглядели не старше него) и что пусть начальство, находящееся, к счастью, сейчас неподалеку, само решит, как поступить с самозванцем.

Они двинулись дальше. Ноги слушались еще неважно, но голова как будто успела прийти в порядок, и Пополитов, за неимением иной интересной ему темы, занудно пытался узнать, зачем и куда они идут, что ему будет и отчего нельзя решить все между собой. Отвечали ему крайне неопределенно, перебивая самих себя анекдотами и сущими баснями, и он жалел, что ввязался в разговор, позабыв за ним проследить дорогу; когда он спохватился, было поздно запоминать - путь лежал среди одинаковых, как на любой окраине, домов и вокруг них; Мирон даже заподозрил, что было не раз пройдено по одному и тому же месту. Детские хитрости с запутыванием следов могли оказаться напрасными, обрати он вовремя внимание на нумерацию построек, но он сразу не сделал этого, не видя надобности вглядываться по пути, а теперь его вели именно с той стороны домов, где ничего не было написано на стенах. Вообще, игра в конспирацию расстроила его.

В конце концов он оказался в квартирке на довольно высоком этаже - шестнадцатом или восемнадцатом, ему и этого не дали заметить, - обставленной, как обставляют домоуправления, то есть никак: в единственной комнате стояли старый канцелярский

стол, исчириканный шариковой ручкой, фанерный шкаф довоенного фасона и пяток стульев с потертыми сиденьями. И еще: неизвестный портрет висел в красном углу, как икона.

По мнению Пополитова, лихие парни с толковища, будь они связаны только с нищими, должны были бы привести его в более живое место; в этой же запустелой конторе отдавало захудалым полицейским участком, и Миرونу естественно было сделать вывод, что кто-то в верхах не одобрил его договор с Пидержановым, отчего задуманное пойдет прахом (задуманное же сводилось к получению жилья - к тому, чтобы стать, впервые, ответственным съемщиком). Один лишь портрет смущал Пополитова совершенно незнакомыми чертами: в других присутственных местах обычно встречались только лица трех Вожатых Движения, где вместе, где порознь; это же, четвертое, мало того, что попало впервые, но еще и не подходило к тем, привычным, по типу, словно было другой расы (те - розовой, это - белой). Местный служащий, которого Пополитов дождался лишь на исходе часа, хотя и был, по его мнению, одной с майором Пидержановым расы, но выглядел как-то мертвее; согласившись на значительность названной черты, любой поймет, что он был и старше: Мирон дал бы ему лет семьдесят - возраст, в котором тот никак не мог быть служащим.

Конвой Пополитова тотчас исчез, а старик, не подав руки, устроился за убогим столом и лишь тогда представился - без предисловий, но с оговоркой вдогонку:

- Савва Кузьмич. Ты только, парень, не думай, что так и будешь меня величать, по имени-отчеству: знать ты их должен, а обращаться - ни-ни.

“Голову с ними сломаешь, - подумал Пополитов. - Один не хочет быть майором, другой, кажется, сейчас заставит перечислять с десяток званий. Поди, упомни, у кого какой каприз”.

- Для обращения, - продолжал служащий, - есть чины, звания, клички.

- Клички - для собак, - презрительно бросил Пополитов.

- Ничего, и для тебя сгодятся. Как тебя звать-то?

Имя гостя не понравилось старику:

- Как-то манерно - Мирон! Какая-то дешевая стилизация, потуги квасного патриота. Мирон - но не блондин?.. Нет, чтобы окрестить по-простому... Федя-Петя, например.

Пополитов насторожился - нет ли тут намек на Федора Эрастовича, - но, быстро успокоившись, снисходительно подумал: “Пусть себе поупражняется. Будто у него лучше: Савва! Тоже,

богатырь какой, Савва Муромец, нашелся. А прочтешь анкету - мелкий чиновник, чинарик, да и то - на общественных началах, пенсионериска неугомонный.” На богатыря служащий и в самом деле не походил - настолько сутулый, как будто у него вообще не было шеи, и неприметный в своей стандартной одежде - дешевом костюме и бесцветном (видимо, еще советского пошива) галстуке.

- Так что, Федя-Петя, денежек захотелось? - спросил Савва Кузьмич, закуривая сигарету, но не предлагая Миرونу. - Понятное желание. Дети малые мечтают: если каждый взрослый подарит по копейке, то у тех-то, у больших, не убудет, а у ребеночка прибавится о-го-го сколько! То же, вроде бы, относится и к тем, кто выходит просить милостыню. Но, Федя, сто копеек - всегда рубль. Наш ребеночек не понимает, по малолетству, что если каждый взрослый подарит всего по копейке, но - каждому ребенку, то ем-то, нашему младенцу, может и не хватить. Словом, ясна мораль?

Не видя необходимости в диалоге, Пополитов молчал. Служащий нервно побарабанил пальцами по столу, но через секунду, словно спохватившись, резко оборвал дробь и быстро сказал со смешком:

- Ты нарушил конвенцию.

- Какую такую? - без любопытства отозвался Пополитов.

- Книжки надо читать. Что ж ты книжки не читаешь?

- В школе всю классику прошли - куда больше-то? Пушкина,

Гамлета...

- Пушкина, говоришь? Ну, оставим это. Ты, вижу, где-то служишь?

- Охранником, - вырвалось у Мирона; в его планах вовсе не было открывать, что он пошел в нищие “по совместительству”.

Савва Кузьмич явно обрадовался:

- На хлебушко, значит, у тебя есть, а Христа ради на коньячок собираешь?

- Ведь и на хлебушек не очень-то, - попробовал выкрутиться

Пополитов.

- Жадность - порок, - засмеялся старый служащий. - Великий Фридрих сказал: “Дающий и берущий, не будьте взаимно жадными”.

- Не из жадности...

- И как же ты служишь? От звонка до звонка? И встаешь по будильнику?

- Сутки дежурю, трое - гуляю.

- То, что надо, а? - снова радостно взбодрился старик. - А я чуть было не взял грех на душу, не прогнал тебя.

Пополитов не понял этих восторгов. Старик еще порасспрашивал его немного о службе, о зарплате, о дорогих нынче развлечениях. Последнюю тему Мирон поддержал вяло, заявив, что ему не до забав сейчас, пока он не обзавелся жильем.

- Решил на милостыню дом купить? - поддел Савва Кузьмич.
- Стоять устанешь. Я вот пока что угол снимаю. Впрочем, не люблю вмешиваться в чужие расчеты: для каждого верна своя арифметика. Одно плохо, об одном ты не подумал: молод ты милостыню просить, здоров, морда сытая - какой дурак тебя пожалеет мимоходом? Ну, дурак-то - пожалуй. Жалеют убогих, дряхлых, а тут такой бугай руку тянет. Нет, не будет тебе удачи, не будет. Да еще - не увольняйся со службы! Это уже верх нахальства. А с другой стороны - самообман, игра детская, когда хочется, чтобы каждый дяденька по копейке отстегнул. А узнал ты, поинтересовался, примут ли тебя нищие в свой народ? То-то. А народ это - особый, избранный, выстрадавший свое право на привилегии. Но и мужественный народ. Не смейся, не смейся, то, что я говорю, истинная правда; только в двух словах я всего не изложу, да и не знаю, можно ли тебе это излагать. Для начала мне надо знать хотя бы, долго ли ты предполагал побираться.

Пополитов не знал, как ответить.

- Пожизненно... - неуверенно проговорил он и ужаснулся сказанному.

- Это ты меня спрашиваешь? Что ж, этот ответ я знаю: всегда или никогда.

- Как же решить заранее? Мало ли что в жизни случится - землетрясение какое-нибудь...

Это-то он понимал, что жизнь после землетрясения вряд ли зависела бы от предварительных решений; пережив бедствие, все бы лишились всякого достатка - о не переживших думать было нечего. Слов "всегда" или "пожизненно" еще и потому не следовало пугаться, что народ давно жил под тучами, беременными не одними лишь дождем и градом; старик так и сказал Мирону.

- Значит, всегда, - вздохнул Пополитов.

- Слава тебе, Господи, - вздохнул и старик. - Что ж, присягу у нас не дают, клятвы не в ходу, но о нашем дальнейшем разговоре не должен знать никто. Последствия болтовни можешь себе представить, немаленький.

"Никто, - переиначил в уме Мирон, - это значит - кроме Пидержанова".

- Напрасно смеешься. Прежде всего, если - всегда, если ты - с

нами, то должен познать наше учение. Знаешь, кто это?

Корявым перстом старик указал на портрет и, не надеясь на ответ, продолжил:

- Фридрих Ницый, основоположник учения, в котором корни нашей нынешней силы. Нищанство всеильно, потому что оно всеильно.

- Это чьей же - вашей? - не вытерпел Пополитов, не понимавший, в чьи руки попал: полиции, Службы безопасности Движения или сумасшедших. - Битых полчаса агитируете, а одно с другим не вяжется: то сила несметная, то Фридрих... Не Энгельс ли?

- Тот с бородой был, - напомнил Савва Кузьмич.

- Бить не будут больше? - спохватился Мирон.

- Разве мы не обо всем договорились? Тогда повторю: в том, что ты задумал, удачи не будет, но пройти стажировку все-таки придется. Какое-то время будешь просить милостыню, как все, одновременно подучишься теории, а там найдем тебе занятие подле избранного тобою промысла, чтоб и нам, и тебе была выгода. Правда, я надеялся, что ты несчастен.

Еще более сбитый с толку, Пополитов широко зевнул.

- Спи, спи, - поморщился Савва Кузьмич. - Царствие небесное не проспи. Только теперь куда уж деться: уговор дороже денег.

Кряхтя, старик поднял с пола телефонный аппарат, не замеченный ранее Мироном ("Вот и еще каприз - телефон бросать на пол", - мелькнуло раздраженно), и, набрав номер, сказал в трубку:

- Слушай-ка, мы с этим молодым договорились в общих чертах... Сам найди его, когда подготовишься... Нет, для таких дел жидковат, но вот на сбор... Да, нищий-стажер. А теории пусть дадут только самые азы. Ограничьтесь "Основами нищанства"... Как звать? Да Федя-Петя.

Странно было, отчего с ним не договорились на определенное время, не дали адреса, телефона или, если на то пошло, хотя бы номера почтового отделения, где можно оставить открытку до востребования. Нет, зачем-то понадобились игры в разведчиков, хвастовство своим всеведением, когда этак небрежно было обещано найти его, когда захочется - притом, что и он не дал адреса. Не собирались же они его выслеживать - впрочем, это были их трудности, он не хотел забивать этим голову. Ради интереса он

дважды оглянулся - не идет ли кто за ним, - причем делал это грамотно, наученный кино, то есть обращался к витринам, бросая взгляд вдоль тротуара и, потом, изучая отражение в стекле, но такое занятие оказалось бесполезным на людной улице. "Сыщик фигов", - подумал он о себе.

Чем ближе он подходил к общежитию, тем меньше туда хотелось - и как в воду глядел: комната оказалась запертой изнутри, а из замочной скважины торчала записка. Он развернул: "Я с гёрлой", - но это и так было ясно, его интересовали только проставленные внизу цифры - разрешенное время прихода. Оставалось еще больше часа. Все, что он мог придумать, это побродить по улицам, благо позволяла погода (только смущала старая, надетая для игры в нищих одежда), или посмотреть, как в соседнем дворе пенсионеры играют в домино, но в нескольких шагах от подъезда ему перебежали дорогу пестро одетые и разрисованные гримом подростки, и, поняв, что вот-вот начнется сеанс, он поспешил за ними следом, в видеозал.

На экране молодой человек в светлом плаще с поднятым воротником неторопливо шел у подножия небоскребов, поглядывая на встречаемых женщин. Одна что-то сказала ему на ходу, щедро улыбнувшись, но слова пропали в грохоте надземки. Он долго смотрел ей вслед и даже послал воздушный поцелуй, хотя она уже затерялась в толпе. После этого молодому человеку только и оставалось, что свернуть за угол и остановиться у витрины, как незадолго до этого делал зритель Пополитов. Оператору с его мощными объективами ничего не стоило выделить из общей массы отражений два подозрительных лица. Герою пришлось упасть в случайное такси, пережить скромную погоню и затеряться в метро. Потом он уже мог спокойно зайти в бар. Присев рядом с грустной девушкой, он сразу нашел с ней общий язык и вскоре поднимался в ее квартиру. Не обошлось без виски, и оттого, что ему удалось незаметно поменять местами рюмки, девушка впала в забытие, а молодой человек сделал с нею то, что хотел сделать. Он так и оставил ее, нагую, на ковре, на память воткнув ей между ног цветок. Выходя на улицу, он разминулся с двумя атлетами. Далее подобное повторялось еще несколько раз - Пополитов смотрел, не отрываясь, хотя из-за дурного перевода не мог понять, отчего завертелась эта красочная карусель.

После иностранного фильма стало особенно заметно, что ближайшая на его улице витрина давно не мыта, бара в окрестностях нет, а уличный пейзаж вполне можно, если не показывать в кадре неба, снимать на черно-белую пленку - он ничего не потеряет.

Когда Пополитов вернулся в общежитие, записка из скважины исчезла, но гостя еще не ушла. На столе стояла бутылка с остатками портвейна и валялся огрызок яблока. Сосед по комнате поинтересовался, не приходил ли он уже, и Пополитов, которому не хотелось признаваться, что он отсиживался в видеозале вместе с детьми, только сделал неопределенный жест рукой.

- Поддай-ка, - предложил сосед. - Мы уже приняли.

“Им-то ни к чему подсыпать сюда всякую дрянь,” - подумал Пополитов, наливая вино в эмалированную кружку.

- Александр, ты порвал мне колготки, - пожаловалась девушка, задирая юбку.

- Может, заштопаешь? - неуверенно пробормотал парень.

- Заштопаю, куда ж денешься. Других ты мне сейчас нигде не достанешь. Но порвешь еще раз - делай что хочешь, хоть к спекулянтам иди. Понял?

- Где, Мирон, пропадал с утра? - постарался уйти от неприятного разговора Александр.

- В аэропорт ездил, смотрел, как самолеты садятся, - придумал Пополитов.

- Ты дашь! А твой лучший кореш, Колька, искал тебя.

- Какой он лучший? - на всякий случай слабо запротестовал Мирон. - Только липнет.

Несколько озадаченный сосед замолчал, и в наступившей тишине послышались хлопанье дверей в конце коридора и пронзительный голос заведующей.

- Проверка! - всполошился Александр, бросая пустую бутылку в чужой сапог.

- Куда же мне? - растерялась гостя. - Уже не уйти?

- Мимо них не пройдешь. Надо придумать, как отбрехаться: до часа посещения еще далеко. Хотя они все равно найдут, к чему придраться.

- Что же они проверяют? Громяхают там чем-то...

- Пересчитывают полотенца, кружки, отбирают кипятивники и утюги. Если “бычки” из пепельницы не выбросишь - и то скандал.

- А на рынке за банку “бычков” просят пятерку.

- Вот мы и собираем их в бутылку и запечатываем пластилином - собака не унюхает. Но вот кружка... Мы красное вино пили, и теперь ее уже не вымоешь: умывальник как раз в том конце коридора, незамеченным не проскочишь.

- Тогда слушайте меня, - решительно сказала девушка. -

Садитесь за стол. Начинаем занятия.

На вопросы не оставалось времени. Девушка поспешно выбросила из сумочки на стол листы бумаги, шариковую ручку, карандаши, тетрадку и, наконец, затрепанную брошюру “Задачи ДСО в период развития казарменного социализма”.

- Слышь-ка, Рит, - почему-то шепотом спросил Александр, когда приготовления закончились и каждый сидел с карандашом в руках, - что это за такие задачи, а? В двух словах, не то вдруг спросят?

- Большая Территория со своей пресловутой демократией зашла в тупик, а нам надо зайти в другой. Что-то вроде этого. Разглядь свою бумагу - я в нее огурец заворачивала.

Дверь без стука распахнулась, и в комнату решительно вторглась комиссия: заведующая с выражением брезгливости на лице, завхоз Лямцин со значком “Инвалид Движения” на белом халате и незнакомая женщина, пожилая, но патлатая.

- Комната сто шесть, - кашлянув, объявил завхоз. - За прошлую неделю средний балл - три целых, сорок шесть сотых.

- Начали, - приказала заведующая. - В комнате посторонние - с этим разберемся под конец. Никому не выходить. Итак, по порядку: пять жильцов - пять полотенец. Смотрите, Лямцин, смотрите, повторять не буду. Портрет Главного Вожакого - один, репродуктор “Будущая Россия” - один...

- Простите, пожалуйста, - елеиным голоском перебила ее Рита. - После вчерашнего Дня Задушевных Бесед о политике у некоторых слушателей остались невыясненные вопросы, и мы проводим дополнительные занятия. В частности, нечетко были поняты задачи, поставленные Центром перед членами ДСО и сочувствующими. Убедительно прошу: нельзя ли перенести проверку на другое время, после окончания нашего политического собеседования по душам?

- Да, конечно, вот только Пополитов... - замаялась заведующая, но патлатая незнакомка потянула ее за рукав. - Впрочем, извините. Святое дело, святое дело. Ты видел, Лямцин?

Когда дверь за комиссией тихонько затворилась, в комнате следовало бы ожидать подавленных смешков, прысканья в кулак, а то и откровенного, в голос, смеха, но девушка только устало вздохнула, а мужчины сидели бледные, напряженные, словно ожидая продолжения, неприятного для них.

- Ну, знаешь, Ритка, - выговорил наконец Александр. - Если б только они сообразили проверить твои документы... Представляешь,

что бывает за такие штучки?

9

Ближние подступы к небоскребу выглядели настолько европейски, насколько это вообще возможно было в описываемой стране, бывшей глухой провинции империи. Автомобили, поднявшись по спиральному пандусу, высаживали элегантных пассажиров, сверкали зеркальные стекла парадных дверей, изнутри тянуло сигарами и французскими духами, и прохожие не глазели, останавливаясь у входа, оттого что улица проходила чуть поодаль, отделенная газонами и бассейнами, так что к подъезду забредали изредка лишь влюбленные, не разбирающие дороги. Бытовым обслуживанием иностранных туристов аборигены занимались только на автобусной стоянке, предусмотрительно отодвинутой архитектором подалее от начала пандуса; там прогуливались девицы невысокого сорта (дорогие, вызванные по телефону, подкатывали на такси и сразу проходили в номера); школьники кланчили, якобы для коллекций, жвачку и монеты; юноши нервно скупали тряпки, виски и валюту; переодетые полицейские собирали взятки, а сутенеры и охранники следили за тем, чтобы сюда не затесались посторонние. И только один человек позволял себе находиться, где хочет: и меж автобусов, и у входа в гостиницу, - пожилой мужчина в джинсовом костюме, в лаптях и с лукошком на ремне, как у сеятеля со школьной картинки. Полиция не прогоняла его, потому, быть может, что он придавал европейскому пейзажу национальный колорит; туристы при виде его оживлялись, щелкали фотоаппаратами и сыпали в лукошко доллары.

Сегодня работа шла неплохо, но Савва Кузьмич устал, да и ждал вечером гостей, отчего отправился домой раньше обычного. По его знаку некий молодец, мигом бросив в таксомотор спортивную сумку, подкатил прямо к ногам. Назвав адрес, Савва Кузьмич вытащил из сумки туфли, переобулся и, кряхтя, упаковал свой реквизит. Теперь, без лаптей (и не в серенькой паре, в которой предстал нам впервые), он никак уже не походил на Савву, сеятеля из учебника для первого класса, и уж тем более - на Кузьмича (имеется в виду всего лишь былая распространенность этого отчества среди сугубых простолудинов, а вовсе не то, как оно было скомпрометировано в позднее советское время совсем в иных сферах - кстати, в народе справедливо подмечено, что русские отчества обесценивались попарно: два Ильича, два Кузьмича и два Сергенча).

Приведя себя в порядок, он закрыл глаза, чтобы не раздражаться унылым видом окраин: ехать предстояло за город.

Как и все, Савва Кузьмич испытал в свое время трудности с жильем. Получив в незапамятные годы от властей непотребную каморку, он побрезговал ею и снял угол в пригороде, где брали недорого. Теперь, не упуская случая напомнить знакомым и незнакомым о своем незавидном положении, Савва Кузьмич все как-то забывал сказать, что давно уже выплатил хозяйке полную стоимость дома, отчего упоминался в завещании как будущий его владелец. Он нисколько не торопил время, чтобы вступить в права: совместное проживание в семи комнатах не было ему в тягостю; более того, в оном нашлись и существенные удобства: одинокому старику не приходилось думать о стирке и стирке, что же до ночных бесед с заезжими дамами, то он мог не спрашивать на них позволения.

Поужинав на террасе, Савва Кузьмич растопил для уюта камин в гостиной и сел подле в качалку - просмотреть газеты. В Области опять творилось черт знает что. Население, дождавшись вождельенной твердой руки, начало наконец понимать, что этой рукой давно уже нечего ухватить путного из-за повального воровства, лени и недоверия ко всякой, пусть и твердой, власти; от введения, в пику демократам, хитроумных строгостей толку вышло каждому всего чуть - одни личные неприятности. Старая партия, правда, прекратила саботаж, но потому лишь, что исподтишка влилась в правящее Движение и теперь чужим голосом (а вместе с Думой - и двумя) взывала к Западу, вымаливая займы и подарки. Глас этот, возможно, и донесся до цивилизованных стран, только те не спешили отзываться; выбрав из двух зол лучшее, они предпочли облагодетельствовать демократическую Россию, в здешнем просторечии - Большую Территорию, как если бы та нуждалась острее. Прорванную несколько лет назад плотину не восстановить было подручными средствами, не перекрыв русла, а пока вода несла в беспорядке неопознанный скарб и землю с полей и была зело мутна. Но именно в такой воде и собирался порыбачить Савва Кузьмич.

Почитав и подремав, он пошел встречать гостей. Большой черный пес, разомлевший от излишнего весною тепла, услышав, как хозяин призывно цыкнул углом рта, обрадовался предстоящей прогулке.

Дорога до станции почти вся пролегалa лесом, и собака с удовольствием рыскала за деревьями, не приближаясь к хозяину, но

и не выпуская его из виду. Поезда, видимо, давно не было, и никто не попадался Савве Кузьмичу на тропинке; только перед самым выходом в поселок повстречался рослый жизнерадостный человек.

- Слушай, бать, закурить не найдется? - широко улыбаясь, попросил он.

- Извини, не курю, - не моргнув глазом, солгал старик; но у него и не было с собою.

- А ты - славный старик. И костюмчик в порядке.

- Сам выбирал. И заплатил немало.

- Ну, дай для начала десятку. На бутылку не хватает.

- Немало, однако, - громко цыкнув, усмехнулся Савва Кузьмич.

- Когда-то и медный пяточок стеснялись попросить.

- Когда это было! Ты мне мораль не читай. Есть деньги - вкладывай.

- Вот беда - с собой не ношу. Это - раз. Больно жирно будет -

два. Да и не купишь сейчас бутылку-то - три.

- Это уж моя забота.

- Хорошо, малыш, - похвалил Савва Кузьмич собаку, с разбега усевшуюся у ноги. - Только вот как же - твоя забота? Вдруг и мне захочется выпить?

- Нет, это я так, образно сказал. Собачка у тебя красивая.

Кусается?

- Хороший пес. Главное - работает отлично. Знаешь, что требуется от служебной собаки? Умение работать с людьми.

- Оно понятно... Ну, бывай, баты.

- Куда ты так быстро? - удивился старик. - А десятка? Ты что-то о десятке говорил? Назвался груздем - полезай в кузов.

- Тебе? Ты... Мне жалко, что ль? Бери, - пробормотал незнакомец, нашаривая в кармане деньги и выткнув наугад больше, чем надо. - Может, еще?

- Как договорились, мне лишнего не надо. Уговор дороже денег, хе-хе. Интересно было познакомиться. Чрезвычайно полезная вышла встреча.

Хотя старик и покуражился в свое удовольствие, эта сцена расстроила его. В задуманном им большом деле вопрос об охране был не последним, но Савва Кузьмич не надеялся в скором времени решить его. Известное своеобразие организации мешало привлекать в нее молодежь.

Нынешние гости были, оба, немолоды: каждый разменял шестой десяток. "Это вам не Малый Совнарком, - подумал Савва Кузьмич, глядя, как они спускаются с платформы, - это Политбюро

КПСС тех, брежневских лет, когда каждый рабочий день в Кремле начинался с реанимации”.

Он вел их молча - неловко разговаривать, выстроившись на тропинке гуськом, - и только перед калиткой, помедлив войти, чтобы лишний раз полюбоваться игрой солнца в разноцветных стеклах террасы, не выдержал:

- Красота все-таки. В таких вот хоромах живем. Но прошу войти, прошу - и сразу наверх, ко мне.

Даже для них, ближайших его советников, покупка дома оставалась секретом (Савва Кузьмич, как мог, делая легенду о скромности вождя). Он провел их в небольшую комнатку мезонина, нарочно, для непосвященных гостей, обставленную как единственное жилище одинокого мужчины. Посетители непременно обращали внимание на тесно составленную мебель и на мелкие вещи, возможные в комнате лишь при жизни в чужом доме: электрическую плитку, столовую посуду на открытой полке, початую коробку стирального порошка.

- Садись, Уклонист, садись, Бикса, - посадил он их за накрытый плюшевой цветастой скатертью стол, сам претендуя на диванчик.

В их среде и прежде, по разным причинам, редко звали друг друга по именам, но больше - по прозвищам; теперь же Савва Кузьмич и подавно считал это обязательным, из конспирации. Сам он, с давних пор державшийся особняком, долго то ли не имел клички, то ли не знал о ней; фамилия его была Холуянов, и Савва Кузьмич, не без основания опасаясь, что прозвище, придуманное острословами, окажется неприличным, поспешил окрестить себя собственноручно: Хихон, с ударением на первом слоге. Примериваясь к звучанию, он повертел псевдоним на языке так и этак и попробовал развить идею: Хихон Первый. В этом определенно что-то было.

- Дайте-ка я плитку уберу на подоконник, - суетливо забормотал он. - Удобная вещь, когда сидишь один, как сыч: чаёк вскипятить, сварить яичко. А ради гостей пойду-ка я к хозяйке, договорюсь насчет самоварчика. Совсем, господа, другой вкус у чая, когда самовар шумит на столе. У нас, между прочим, и вода вкуснейшая, не чета городской. Мы для питья из-под крана не берем, только - из колодца. Там качаешь, а водичка по деревянному желобу бежит, по замшелому.

С этими словами он вышел. Слышно было, как тяжело закрипели ступени.

- Чтоб я так жил, - сказал Уклонист, подходя к окну. - Перед глазами - лес, вода - без хлорки, желоб, видите ли, замшелый, самовар на столе и закуска растет прямо у крыльца.

- Телефона нет, - мрачно возразил Бикса. - Если Хихон перестанет показываться в городе - что же, нам так и мотаться сюда на электричках? Курьеров заведем... По мне, лучше водку черной корочкой или даже рукавом занюхивать, но - в городском доме.

- Рукавом? А поглядишь со стороны - джентльмен.

Джентльмен - сказано было сильно, но выглядел Бикса пристойно: свежая стрижка ежиком, легкий пуловер домашней вязки, толстое обручальное кольцо.

Поднимаясь в мезонин, Савва Кузьмич запыхался. Махнув рукой, чтоб не бросились помогать, он откинулся на спинку дивана. Пес сразу лег у ног, и он опустил руку, погладил.

- Ну вот, - сказал он через минуту. - Можно и разговор разговаривать. Создадим-ка рабочую обстановку.

Из платяного шкафа была извлечена бутылка коньяка, Бикса снял с полки рюмки (вздвогнув, оттого что тотчас заворчал пес), нарезал лимон.

- Обойдемся без тостов, - пожелал Савва Кузьмич, пробуя коньяк. - Пейте, как хотите, подливайте себе сами - лишь бы дело шло.

- Как бы собачка штаны не порвала, - забеспокоился Бикса.

- А ты не суетись попусту, - посоветовал хозяин. - Он не любит, когда люди ходят по дому без спросу и когда мои вещи берут.

- У меня с собаками одно воспоминание связано... Давненько это было. В какой-то большой праздник пил я у своего богатого родственника. Он тоже зверя держал - пожиже этого, правда, немецкую овчарку. Короче, просыпаюсь с похмелья, еще не понял, где я, что я, хотел привстать - бац! - головой в какую-то крышу, в доски. Первая мысль - в нары! Я в одну сторону - стена, в другую - овчарка лежит. Вывод один: повязали. Тоскливо мне стало - не передать. Сами понимаете, каким может стать настроение... Потом очухался, огляделся получше - оказалось, под роялем заснул.

- Ну, здесь музыкантов нету.

- А то бы спели.

- Петь будешь, когда работу кончишь.

- Он и не начинал, - засмеялся Уклонист.

- Кто бы говорил! - возмутился Бикса. - Сам только и знает - языком молоть.

- Тихо, тихо, не волнуйте пса, - остановил их Савва Кузьмич.

- Слишком давно я не собирал вас вместе - так, наверно, нельзя. Вообще, у вас слишком разные участки, чтобы еще меряться, что у кого крепче. Впрочем, пора сводить все воедино. Сегодня поговорим втроем, позже, думаю, соберем какой-нибудь постоянный совет человек из пяти. Ну а пока - о самом насущном. У Биксы завязло дело с канализацией. Нам нужно официально взять обслуживание подземных сетей в свои руки - в аренду. Это невозможно, пока мы считаемся ненормальной организацией, пока у нас нет счета в банке. Кто теперь считается с ненормалами? Наша регистрация поручена Уклонисту - скажи после этого, что вы не связаны.

- Скажу! - воскликнул Бикса. - На кой фиг мне вся эта бухгалтерия? Капитал есть, дисциплина есть - чего больше?

- Верно. Только мы не ушли дальше воровского "общака". Деньги есть, а власти нет.

- А сами, - заметил Уклонист, - напрашиваемся в оппозицию. Щуке в пасть.

- Теперь в газетах пишут: время собирать камни, - словно не слыша его, медленно проговорил Савва Кузьмич. - Мы очень похожи на разваленную грудку камней. Пора собрать их, чтобы употребить в дело, сложить ограду.

- На которую наедут танком. ДСО не потерпит противников, а так как у него сила - и армия, и полиция, и банк, - то...

- При чем тут Движение? - не понял Бикса. - Мы - нищие.

Не слушая его, Савва Кузьмич ответил Уклонисту:

- Зачем же записываться в противники? В союзники, в союзники надо записаться. Большевики когда-то боролись за то, чтобы не было богатых, Движение провозглашает то же, а мы выступаем за себя, то есть - за нищих. Будет только естественно, если ДСО поддержит организацию неимущих. А там - пусть хоть все станут имущими.

- Кто же тогда будет подавать милостыню? - тотчас сообразил Бикса.

- Законный вопрос, - одобрил старик. - Что все станут - так можно сказать, понятно, лишь для красного словца, а в действительности мы приближаемся к порогу численности. И не то плохо, что некому становится подавать, до этого еще дожить надо, а беда в том, что вид просящего человека оказывается все более привычным, не вызывает былого отклика. Но если люди не слышат, как мы просим, надо сделать так, чтобы они несли подаяние сами.

- Держи карман шире.

- Держу, - серьезно сказал Савва Кузьмич. - Чтобы они

принесли, есть два способа: заставить и внушить. Для первого надо как-то прикоснуться к власти, что я как раз и собираюсь сделать, и тогда опереться на новые, свои декреты; для второго - нужны реклама, пресса. У меня есть идея.

- Можно подумать, - проворчал Бикса, - что у нас не совет трех нищих, а Дума.

- Почему же нет? - засмеялся Савва Кузьмич, подливая себе коньяку. - У меня планы нахальные. Мало ли у нас нищих? Если они грамотно проголосуют, мы получим половину мест в Думе. Для этого и денег-то понадобится всего ничего.

- Кто же до этого допустит, до выборов? И потом - смысл, Хихон, смысл? - не понял Бикса. - Для чего лезть на рожон?

- Поздно спрашиваешь. Ты сам уже слишком много сделал для этого, а теперь спохватился: смысл! На рожон я лезу потому, что народ терпелив, но... Мы с вами не бедствуем, а ведь есть истинные нищие, не имеющие на кусок хлеба. Чтобы не лопнуло их святое терпение, кто-то должен выступить за справедливость, за право нищих на свой труд, ну и так далее. Все мы, и я в том числе, хотим обеспеченной спокойной старости. Для меня ее гарантия - власть.

- Разве ты не накопил себе на черный день?

- Я не волен распорядиться этими деньгами, как хочу: не могу, например, купить себе дом. Вот, снимаю эту комнатку. Если наше общество зарегистрируют, мы начнем собственное строительство. А там уж своя рука - владыка. И вот еще: как только мы откроем счет, можно будет воззвать к миру: жертвуйте, люди добрые, нищему народу!

- Сами же станем анонимно жертвовать, - догадался Бикса.

- Молодец, мальчик, - язвительно сказал Савва Кузьмич. - Садись, пять.

- Нет таких законов: садиться за это на пять лет.

- И столько же добавит прокурор. Вся бы школа так училась... Лимончик-то берите, господа. Хотя это и варварство: заедать коньяк лимоном.

- От гарнира многое зависит, - согласился Уклонист, - от закуски. То же и с нашей организацией - сколько мы решали, под каким соусом ее подать! Согласитесь, есть разница, что зарегистрировать - благотворительное общество или политическую партию. Будет странно, если партия займется подземными коммуникациями.

- Но мы же договорились: Фронт. Давайте, господа, выпьем за Фронт защиты неимущих, - вставая, предложил Хихон Первый.

Поток вовремя пришедших на работу прекратился со звонком, после чего недолго сочился хилый ручеек опоздавших; когда иссяк и он, Пополитов остался не у дел. Теперь ему предстояло до обеденного перерыва маяться в кабине, сторожа запертые турникеты. Лишь изредка со стороны цехов подходил какой-нибудь лодырь, вымоливший у мастера драгоценный талончик с разрешением выхода. Служба Мирона состояла в том, чтобы проскучать сутки, развлекаясь лишь препираниями с теми, кто опоздал, или проверкой выходящих с территории наружу. Первые не баловали разнообразием объяснений: у всех ломались трамваи, бастовали водители либо застревали в туннелях пригородные поезда, но, странно, ни у кого почему-то не отказывали будильники; одни из опоздавших каялись и слезно просили пропустить, пока никто не видит; другие горячо обвиняли городские власти и ссылались на свои анекдотические права; третьи совали деньги, чего как раз в это безлюдное время, когда все видно, и не следовало делать (то есть, если решил опоздать сегодня, изволь заплатить - вчера), а четвертые, сразу сдаваясь, бросали: "Записывай, черт с тобой," - и проходили безобразной гордой походкой. В обратном, с работы - домой, движении Пополитов находил для себя больше интересного: его обязанностью было пресекать воровство.

Казалось бы, ничего нельзя вынести с троллейбусного завода. Дело, однако, обстояло не так просто, как может себе представить неискушенный читатель: как раз троллейбус или хотя бы колесо от него совершенно невозможно было бы выкатить отсюда по причине полного и безнадежного их отсутствия на территории. В былые годы завод выпускал какое-то вооружение - не то пулеметы, не то корпуса для гранат, - а позже, когда военные товары упали в цене, предприятие, называясь троллейбусным, чтобы сбить с толку доверчивых шпионов, перешло на изготовление мирной продукции: колючей проволоки, ведер, моторных лодок без моторов и самоходных, с колесиками, хозяйственных сумок. По старой оборонной традиции, привыкнув следить в оба за тем, чтобы никто не вынес какую-нибудь секретную гайку, охранники с удовольствием проверяли ручную кладь рабочих, отыгрываясь за томительное бдение в тесных кабинках. Проверки редко оказывались безрезультатными: многие хоть что-нибудь, хоть винтик, хоть канцелярскую скрепку, а уносили с завода. За такой мелочью было,

конечно, не уследить, но не редкостью в улове оказывались материя и колесики для сумок, инструмент и вывинченные в туалете лампочки.

Нынче Пополитов, ленив проверять пакеты и свертки, снисходительно поглядывал с высоты своего насеста на выходящую толпу. “Пока одного оформишь, десять пройдут свободно,” - вяло оправдывался он перед собою. Один рабочий все ж привлек его внимание - квадратный, в обширной нейлоновой куртке, которой и одной было бы много по теперешней теплыни, он выглядел так, будто поддел исподнизу еще сорок одежек - свитера, кофты, фуфайки. Маленькая голова с испытаным лицом казалась чужой на могучем туловище.

- Что-то ты тепло оделся, друг, - остановил его Пополитов. - Весна на дворе.

- Знобит, - жалобно ответил рабочий. - Как иголки по телу.

- Расстегнись, - приказал охранник и хотел даже помочь, но, вскрикнув, отдернул руку. - Что там цепляется?

Никаких особенных свитеров и шарфов не оказалось внутри; тщедушное тельце было поверх комбинезона щедро, в несколько слоев, обмотано колючей проволокой.

- Вот еще ежик в тумане, на мою голову, - озадаченно проговорил Пополитов, сдвигая на затылок фуражку.

- Говорил же - иголки.

- Зону себе строишь?

- Дачу.

- А выйдет - зону. Не забудь поставить вышки для пулеметов, - посоветовал Пополитов. - У одних своего угла нету, а другие сами себе лагерь оборудуют.

Ввиду исключительности случая пришлось вызвать начальника караула. С ним набежали и другие зрители.

Несуна увели, смена ушла с завода, и близилось самое скверное: бессонная ночь. Обычно в первые два-три часа после окончания работы нет-нет да подходил кто-нибудь из своих, но потом и это движение прекращалось: на заводе оставался всего один лишний охранник, поочередно подменявший своих товарищей на постах, чтобы те могли хотя бы немного размяться. Вообще же единственным развлечением было то, что охранники в течение всей ночи сменяли один другого по кругу.

В середине вечера в кабину Пополитова поднялся его приятель, Николай.

- Славно вчера посидели, - уютно устроившись на ступеньке,

начал тот рассказывать занимательную историю. - Захожу к ребятам из гаража - я там зажигалку оставил, - а им, гляжу, кто-то полбанки водки приволок. Они предложили - на троих. Ну, посидели, побалдели, оказалось, сам понимаешь, мало, и тут я им преподношу сюрприз: у меня, говорю, тоже бутылочка заваялась. Потеха! Пока бежал, то да се, у них уже тёлки сидят, трое. Я как раз одну из них знаю, недавно мусор месте возили на субботнике. Ну, за грязной работой какие разговоры, а тут, смотрю, прямо песня в два голоса, пора уединиться. У моих ребят, наоборот, лажа: девки свое выпили и пропали. Чувствую, нехорошо людям глаза мозолить - мы и выскребли на диван, в холл. Я все порываюсь к делу перейти, а она моргает кошачьими глазами и что-то романтическое рассказывает, как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Но как начала она Есенина наизусть читать, я понял: тут, братцы, триппером пахнет.

- Что тут за такая задушевная беседа? - заставил обоих вздрогнуть хриплым голосом: начальник караула стоял перед открытой дверцей кабины. - Марш на свой пост!

На этот вечер Пополитов лишился собеседника.

"Стихов все равно надолго не хватило бы, - не понял Мирон приятеля. - Может, она нежная девушка". Сам он мечтал о какой угодно, хотя бы и с причудами: с Есениным или без, кончиться должно было бы одинаково, да только он не мог никого привести в общежитие, не хотел заниматься любовью, попросив соседей подождать за дверьми. Только в свой дом Пополитов хотел бы привести ее, да и воял в занятую по-партизански комнату в зеленой развалюхе - там он принимал гостей, когда хотел, мог и на неделю оставить, и навсегда... Нет, насчет "навсегда" он сейчас погорячился - не потому, что навсегда не удалось оставить там и самого себя, а потому, что пока не хотелось кого-то видеть рядом вечно. Он, правда, мечтал о какой-то сказочной красавице, но сам же всегда говорил, что красивых женщин у нас не осталось даже в кино. Да и где было ей встретиться? Какие девушки служили в Красной армии - известно; позже, в театре, делом рабочего сцены Пополитова было таскать и приколачивать декорации, и юные актрисы, кажется, и его принимали за кулису или подставку для реквизита; работая на почте, он таскал мешки и сумки для двух пенсионерок в синих халатах, а о матросском житье-бытье и говорить было нечего, и то, что тогда нашлась одна женщина вдвое старше его, было даром судьбы. Женщина была большая и мягкая - качества, которые можно оценить только в сырой каюте, - и Пополитов с теплотой вспоминал жизнь на воде, названную местным остряком неземною; не в одной

этой случайной подруге было дело (но в чем - Пополитов не сказал бы, не понимая и не умея выразить словами), да только он тосковал по своей барже: возможно - по долгим часам, какие приходилось уделять созерцанию тихо проплывающего мимо однообразного берега. Его тогдашнее существование настолько разнилось с прежним, на суше, что и сознание как бы заместилось другим, доселе хранившимся где-то вблизи, но не включавшимся без надобности. Особенно не задумываясь, Мирон связывал необычность своего плавающего мирка с зыбкостью его основания, словно бы - с непоседливостью трех китов, вызывающей качку, забывая о ней (о неизбежности или о качке, все равно) лишь в постели, с теплой обширной женщиной. Она любила ложиться на живот, и Пополитову по вкусу было взбивать податливые подушки, под какими ему не дано было почувствовать ни горошины, ни неустойчивости опоры.

Однажды, не защищенный подушками, он запоздало - и то с подсказки - заметил, что волны на воде не всякий раз затихают в безветрие; это ему всезнайки объяснили какими-то колебаниями самой земли, окончательно запутав. Много времени спустя подобную необъяснимость (и зыбкость) мира он ощутил глубоко на суше, хотя и после смехотворного укачивания в электричке, когда случилось нечто, шаг за шагом приведшее его в сумрачный туннель к нищим, у которых он перебил копейку. Тогда в его голове снова включилось что-то опасное или выключилось главное.

Никакие новые ощущения не связались с троллейбусным заводом; будь его воля, Мирон ушел бы оттуда куда глаза глядят, да только все дороги, очевидно, вели в очередное общежитие, не в то, так в это, быть может, и в худшее - в какой-нибудь барак. "Езжай в деревню, если так не любишь общаги," - смеялись друзья-матросы, но он не находил в их словах смешного - оттого, наверно, что не представлял себе сельской жизни, зная лишь, что в деревнях ставят по отдельной избе на каждую семью; он не смел надеяться, что сразу построит себе такую же. То лишь было несомненно, что там и зимой, когда не жнут и не пашут, он не сидел бы без дела, как сейчас, когда к концу каждых третьих свободных суток хотелось выть от скуки. Он, кажется, начал понимать пьяниц: сам бы, наверно, запил от нечего делать, когда б не природная бережливость и когда бы интересно было пить с нынешними соседями. Так же неинтересно было ему приводить в порядок обще на пятерых жилье. Вот и опять: был бы собственный угол, там всегда бы нашлось, что чинить, переделывать или красить; угол этот, однако, если и существовал где-нибудь, то за тридевять земель отсюда.

С тридесатым царством его охотно знакомили глобусы и топографические схемы.

Трещины на штукатурке в заводской проходной делали стену похожей на контурную карту: там узкие речки сбегались в водоем - озеро или море, - чреватый качкой; его дальний берег терялся в сумраке, и никакой бинокль не помог бы при таком освещении. Казалось странным, что именно моряки так любят бинокли - на суше попадается куда больше предметов, интересных для наблюдения, вообще - больше предметов. Он мог бы купить себе бинокль, это неплохое средство от скуки, только не на что было смотреть из своего окна - ладно бы оно выходило, скажем, на баню, а то вид был - чахлае деревья и родной завод. Не на что было смотреть и ночами: в городском светлом небе выживало всего несколько звездочек, так что в свой бинокль или в подзорную трубу он не разглядел бы даже той скромной схемы, которую должен знать каждый десятиклассник; Пополитов же хотел бы узреть тот свет.

Кому-то, наверно, это удавалось - сфотографировать небо и на отпечатке увидеть нечто, как раз с небом и не имеющее ничего общего; об этом Мирон читал в журнале - о том, что снимали одно, а на карточке вышло другое, забытое, - и мечтал, чтобы такое приключилось и с ним. Во всяком случае, обзавестись фотоаппаратом он бы не отказался - да где бы в общежитии он потом разводил свои растворы?

Он ничем не умел заняться в общежитии. Хорошо еще, что настала сухая весна и можно стало не сидеть взаперти, а гулять целыми днями, не понимая зачем: искать приключений? До речки, до купаний ждать, пожалуй, было еще долго.

- Послушайте! - в стекло кабины с наружной, вольной стороны стучался стриженный под ежик мужчина: Собакевич, не Керенский. - Послушайте же! Вы спите? Еще день на дворе, светло.

Пополитов встрепнулся.

- Так у вас и враг проползет, - засмеялся чужой человек.

- Сейчас, троллейбус угонят, - огрызнулся охранник. - Врагов теперь с самолета сеют.

- Мне бы вот что узнать: у вас в охране служит некто Пополитов. Как его разыскать?

- Никак.

- Отчего? Он что, уволился?

- Экий скорый! Дело простое: некто - это я.

- Что за удача! - обрадовался незнакомец. - А я сомневался: завод большой, на территорию не пройти - как найти человека даже с

такой необычной фамилией?

- Вы сами-то кто будете? - любопытствовал Мирон.

- Меня Савва Кузьмич прислал, Хихон. Я вам тут не помешаю, вам удобно говорить с посторонними?

- Говорите. В случае чего придумайте что-нибудь. Что дорогу спрашивали.

- Меня зовут Бикса, но не пугайтесь и не брезгуйте. Ну, а вас я знаю, вы - Федя-Петя.

Пополитова передернуло, и Бикса развел руками:

- Уж как прилипло. А родную фамилию ни к чему трепать на всех углах, она и для другого сгодится.

- Для кого это другого?

- А вы, Федя-Петя, шутник. Но давайте - о деле. Вы своих... намерений не оставили? Я имею в виду - просить.

- Тише, тише! Не оставил, только боюсь, что опять избыют.

- Обязательно избыют, - заверил Бикса.

- Так какого ж...

- Вы плохо поняли Хихона. Для исходного промысла вы не подходите по внешним данным. А когда человек делает то, к чему он не пригоден, его кто-нибудь да бьет. Но у нас огромная организация, и, чтобы ей управлять, нужны люди самых разных профессий. Мы им платим жалованье.

- Дурдом! - воскликнул Пополитов. - С вашим занятием - и жалованье!

- С вашим занятием, молодой человек.

- С моим, а заниматься не даете. Нет уж, с вашим.

- Слушай, не морочь голову. И давай-ка - на "ты". А то я весь взмок.

- На "ты", - согласился Мирон, - и выкладывай, чего хочет ващ Кузьмич.

- Мы называем его Хихон.

Позиция для диалога была не из удобных: один из собеседников сидел на возвышении, в освещенном прозрачном ящике; второй же никак не мог продвинуться дальше угла этого ящика из-за перекрывающих проход лап турникета; перегнувшись через них, Бикса все же не дотягивался до прорезанного в стеклянной стенке окошка и вещал издали. Положение было глупое, оттого что говорить приходилось громко, а разговор не предназначался для чужих ушей. Поначалу Пополитову пришлось дать клятву в неразглашении производственных тайн, нелепо прозвучавшую в гулком помещении; лишь после этого Бикса сделал ему деловое

предложение - собирать подать с рядовых попрошаек; позже обязанности могли бы и расшириться.

- Самим деньги приносить - ноги отвалятся? - фыркнул Пополитов. - Или они и так безногие да убогие?

- Не десятки же тысяч, чудак. Представляешь, какая бы выстроилась очередь - сдавать мелочишку?

- Сколько же платит каждый? По червончику, небось?

- Установлена такса. В среднем - половина от сбора.

- Грабеж и происки мафии, - возмущенно определил Пополитов, давая понять, что читает газеты.

Не обидевшись, Бикса покачал головой:

- Из чего же оплачивать больничные? Путевки в санатории? Содержать штат?

Пополитов не поверил своим ушам.

- Это в проекте, - пошел на попятный Бикса, но вдаваться в подробности не стал. - Вот, добьемся признания, тогда и устроим все эти профсоюзные дела.

Пополитов рассмеялся:

- Дождетесь вы этого от властей!

- Вы, мы! - раздражился Бикса. - Давай-ка не разделяй. Нам одну кашу хлебать.

- Кашу кто ж хлебает? Супчик, разве... Но, послушай, как там у вас - у нас - обращаются друг к другу? Господа? Смешно. Но не товарищи же, снова?

Бикса задумался: кажется, никто никак и не обращался.

- Не морочь голову, - повторил он. - Вот будешь на наших курсах учиться, там тебе на все вопросы ответят. Кстати, начать можешь завтра же. Знаешь в центре бистро "Директива"? Приходи туда, я тебя покажу... господам.

Выходило, что надо менять службу, дом, может быть и город, чтобы не встречать больше в коридорах или на улицах людей, некогда знакомых и способных невзначай, но и не к месту, напомнить о его малодушии и позоре, о перипетиях известного дела, о котором неприятно думать даже и наедине с собой, - чтобы не встречать соучастников. Чем больше проходило времени, тем острее он ощущал стыд - не за тот лишь день и час, известный этим людям, но и за всю прежнюю жизнь, в которой постоянно, не задумываясь, как забитый школьник, послушно повторял слова и общие движения

окружающих, стараясь не выделиться из их аморфной среды, из их безъядерной зоны и тем сохранить себя, но не для благих дел, а чтобы и дальше пастись в том же стаде, пока, случайно отбившись, не заблудишься в трех соснах на пути к водопою или пока (что и случилось) не перейдешь некую черту. Там же, у водопоя, могла случиться и знаменательная встреча - не с лешим, не с водяным, нет, а с грибником или с охотником, способным, не дожидаясь свидетелей, сказать в лицо правду, показать пальцем - вот один из поднявших руку не к небу, а для того, чтобы замахнуться на святыню. Понимать нужно было бы так: вот один из влившихся в дикую стаю безбожников или хуже - язычников, чтобы поклоняться с ними чужому идолу, и поэтому худший даже среди них, оттого что, предвидя свое падение или способствуя ему, заранее обособился, сам поставил себя вне общества.

Как ни странно, он еще и ответствен оставался за дурные дела, как раз тем самым обществом и содеянные. Каким-то образом с этим было связано его появление перед детьми на уроке в таком виде, в каком и по улице не ходят в самые знойные дни.

Люди, любые, самые незнакомые, далекие и непроницаемые, все равно докопаются до полного набора подробностей, куда бы, на какой край земли ни занесло беглеца; но пусть это будут чужие люди, решил Иван Сергеевич, пусть позорные обстоятельства дела станут предметом исповеди, но не сплетен, пусть - проповеди. Значит, еще тверже решил Иван Сергеевич, пусть отныне его долгом, наказанием и призванием станут изложение и толкование его собственной недостойной теории. Он честно задумался над тем, не гордыня ли движет им, подбивая на театрально эффективное покаяние, рассчитанное на сострадание, жалость и порывы экзальтированных дам; но нет, он ощущал потребность предостеречь и научить - не учителем ли он и слыл в течение предыдущей жизни, а если и потерял в одночасье право служить примером для тех, кого пас и кто после случившегося больше не поверил бы ему, то для других, не знавших его доселе, не страшщихся ему уподобиться, - не пример ли его судьба?

Уходить с работы, уезжать из города (если бы из страны! Ведь не справиться с мечтой - в Москву!) надо было постараться так, чтобы избежать прощания, обмена телефонами, адресами - скрыться бесследно; он даже и такое обдумал - натворить что-нибудь, чтобы судили и выслали в степь, в Заполярье (он никак не мог отвыкнуть от российских масштабов и реалий), в тайгу, куда давно хотелось и нельзя было попасть обычным способом всего лишь из-за недостатка

денег, которых с каждым годом брали все больше за торопливый взгляд на чудесные заповедные места; при царском режиме наших непотребных революционеров возили в эти же места за казенный счет, то есть платили не только подъемные и проездные, но и, потом, суточные: в Шушенское, хе-хе, в дивные Саянские леса и горы. Но вот это были как раз пустые мечты, оттого что Иван Сергеевич не вступал в партию и теперь не мог рассчитывать на то, что ему перепадет сколько-нибудь из чужих членских взносов, из “общака”; более того, хотя он еще и не начал, а только задумал бороться за правду, но этим уже обездолил себя: благами у нас всегда пользовались лишь борцы за тиранию.

Вместо туристической ссылки в национальный парк он мог попасть лишь в пошлую казарму, в лучшем случае - в тюрьму, и никто из судей не догадался бы разрешить ему проживание в камере-одиночке, то есть, по его, Ивана Сергеевича, разумению - бросить шуку в реку или кролика - в терновый куст; нет же, он знал, что непременно найдутся пресловутые смягчающие обстоятельства, достаточные, чтобы ему оказаться в одной клетке с какими-нибудь педерастами и дебилами. Во избежание этого почему-то важно будет опередить всех, не дать застать себя врасплох, быть начеку ночью, когда соседи, из-за того, что их подняли в разгар сна, с особым тщанием станут внимать подробностям ареста, причину которого он и сам к тому времени забудет. Нарочно лишая их повода позлорадствовать, он стал теперь уходить из дома в неподходящее время, когда жители засыпали, и уходил продуманно одетый, в удобной обуви, с рюкзаком, намереваясь в дороге рассказывать людям о своем падении, предостерегать их, но прежде - как раз от людей и уйти, чтобы не мешали размышлять о смысле жизни.

По-книжному - следовало бы уйти поначалу в пустыню, питаясь, как положено, акридами (о коих он имел самое приблизительное представление, но надеялся сразу наловить их полную наволочку, прежде чем они сообразят, какая опасность надвигается, и улетят тучей), а достигнув блаженного состояния духа, встретиться с паломницей Вавочкой в качестве заслуженного подарка - с Валентиной Валентиновной Димуриной, не представляющей дальнейшей жизни без визита к знаменитому отшельнику и предварительно начитавшейся Бокаччо как практического руководства по борьбе с дьяволом.

Вот для этого он и вышел ночью, стараясь не шуметь, из своего дома; благо ему, живущему недалеко от вокзала, не требовался городской транспорт, полностью отменяемый теперь до

утра. Так удачно все сложилось, что он, не прочитав заранее расписания, явился в момент, когда нужный поезд стоял уже под парами, и осталось только занять место поудобнее, у окна, и так незаметно пролетело время в пути, как если бы он поднялся в тамбур вагона, пересек его и тотчас вышел с противоположной стороны уже в новом месте, избежав скучной необходимости следить за мельканием границ областей, федераций, союзов и лиг. Никого не было на перроне (но это он по-столичному назвал - перрон, а на самом деле пришлось просто спрыгнуть с высокой подножки на пыльную каменистую землю, изумившись не тому, как жарко стало телу под плотной одеждой, а как горячо стало лицу и кистям рук вне ее), и только в тени убогой станционной будки стоял ясновидящий старик Жорж; этой встречей сразу определилась ближайшая судьба Ивана Сергеевича.

Не спросив ни о чем, но, несомненно, уже ясно видя, Жорж, странно выглядевший здесь в европейском костюме и в алой жокейской шапочке, защищающей глаза глубокой тенью от козырька, сказал, что Ивану Сергеевичу предназначено скрыться от суеты и соблазнов в монастыре и что тот ошибся, сойдя на остановку раньше, но теперь ничего не поделаешь, поезд ушел, и придется добираться пешком, авось не перегреешься. Бедный учитель и не подумал возразить, возроптать, а скорее даже обрадовался начинающимся испытаниям. Он уже повернулся было лицом к дороге, но ясновидящий старик удержал его словами:

- Но ты должен нести свет и разум. Когда-то ты клялся служить просвещению народа - проповедуй ему теперь наше учение.

- Но я тяжело говорю и косноязычен, - возразил Иван Сергеевич.

- Вот ты уже и отступаешь. Слаб же ты, господин учитель. А они ждут проповедника.

- Пошли другого, кого можешь послать, - робко предложил Иван Сергеевич.

- Как же ты хотел искупить свой грех? Еще и потому бесполезны твои недостойные препирательства, что я уже видел тебя живущим в святых стенах. Ничего нельзя изменить в мире.

Сожалея о своей слабости, учитель зашагал по пеклу в направлении, указанном ясновидящим стариком. Всего лишь единственный железнодорожный перегон отделял его от цели, но не дай Бог, подумал Иван Сергеевич, повторить этот путь другому легкомысленному путнику с таким же увесистым рюкзаком и в потных кроссовках на безумном резиновом ходу. Он едва не сошел с

ума от радости, увидев наконец к исходу какого-то надцатого часа или неизвестно какого по счету дня куполы и белые стены православного храма, хотя и решил тотчас, что это пока лишь новое ему испытание, мираж, только предваряющий грядущее географическое событие, и что до всамделишного монастыря еще идти и идти.

Но в этой пустыне миражи не водились.

Монастырь оказался женским.

Узнав на пороге такую новость, Иван Сергеевич отступил было, да не с его проворством было передумывать: тяжелая створка захлопнулась за спиной, и зыбкие фигуры, пока еще бесполое, в длинных, до полу, черных одеяниях с капюшонами, знаками пригласили его следовать, оставив поклажу, за ними в кирпичное беленое здание, по узкому сводчатому коридору, мимо десятков одинаковых, мореного дуба, дверей, в каждой из которых было окошко с крышкой, - в сводчатый же зал, где за просторным старинным столом восседала немолодая монахиня, лицо которой говорило не то о былой, не то о будущей красоте.

- Новая сестра наша? - спросила она, нехорошо усмехаясь.

- Брат, скорее, - заискивающе предположил Иван Сергеевич.

- Братя - в монастыре напротив, по ту сторону хребта, а у нас монастырь женский, у нас - сестры.

- Не удобнее ли оставить как есть? - усомнился он.

- В чужой монастырь со своим уставом не ходят, - поставила точку монахиня.

Переминаясь с ноги на ногу, Иван Сергеевич раздумывал, стоит ли признаваться в том, что он не только неверующий, но и некрещеный. Зная, что обратной дороги ему не одолеть, он боялся изгнания.

- Необходимые приемные обряды, - сказала монахиня, - предусмотренные статьями с первой по шестую, а также пятьдесят восьмой, семидесятой и сто девяностой Устава, мы совершим в ближайшее воскресенье. К этому времени подготовим и отдельную келью. Пока же разделите кров с сестрой Валентиной. Ступайте, сестра. И не вздумайте шутить.

Те же две бесполое фигуры (в этой видимой бесполости таилась надежда, что они окажутся такими же сестрами, как и Иван Сергеевич) проводили его в храм, по дороге заботливо укутав, прямо поверх гражданской одежды, черным балахоном. В церкви уже шло богослужение, полно было монашек, и Гоголев, затруднившись поначалу, стал прилежно копировать то, что делали другие, -

молиться. “Господи, - еле слышно бормотал он, - Отче ты наш родной, вождь и учитель, иже еси на небеси и хлеб наш насущный даждь нам днесь, прими наконец мое раскаяние, наставь, потому что больше нету сил носить камень на душе в одиночестве. Пусть его тяжесть удвоится, лишь бы мне знать, что ты услышал мольбу и определишь наказание, какое знаешь, и возложишь на меня... а вот это уже я не знаю, как правильно назвать. Не прощай мне грехов моих, но научи, что сделать, чтобы обратить их во благо людям. Аминь”. Украдкой поглядывая вокруг, он крестился, когда и все крестились, и так вышло, что в миг, когда его молитва иссякла, монахини низко поклонились, и служба кончилась. Пряча лицо под капюшоном, он побрел прочь из храма, не в состоянии отыскать своих провожатых среди одинаковых фигур и опасаясь, что и те не опознают его; волновался он напрасно: скоро они снова вели его, тоненькие, неспокойные, как язычки огня на свечах.

Отперев ему дверь, спутницы исчезли.

Келья по размеру совпадала с железнодорожным купе, но была избавлена от верхних полок; на одной из нижних лежала небрежно брошенная одежда сестры Валентины. Сама она, в одних черных трусиках, стояла в проходе, обмахиваясь, как веером, церковным календарем.

- Раздевайтесь скорее, сестра, - предложила она, - иначе вы не вынесете здешней жары, а вы нам нужны живою. Позвольте, я помогу.

- Я бы все же оставила брюки, - робко заикнулся Иван Сергеевич.

К его удивлению, сестра Валентина не стала спорить.

- Вас все еще мучает дьявол? - посочувствовала она. - В нашем климате это долго не продлится.

- Я дала обет не обнажаться, - сказал Иван Сергеевич.

- Похвально. Достаточно и одного раза. Впрочем, здесь проще подходят к беспокоящему вас вопросу. Единственная причина того, что монашки не снимают черное, - боязнь засветить пленку. К вам это, кажется, не относится. Вы свободны в выборе платья. Вообще будьте как дома.

- О моих обязанностях...

- Надеюсь, вы не станете манкировать нашими мероприятиями: службами, пикниками на рабочих местах, похоронами. Самые милые здесь праздники - дни ангела. Не вздумайте зажать свой.

- Понятия не имею, когда он.

- Справимся. Нет проблем.

Разложив свой измятый календарь на откидном столике, она принялась водить пальчиком по тексту.

- Впрочем, что я, - спохватилась она. - У новеньких день приезда, день ангела - один день. Закажем праздник.

Она щедро жестикулировала, и Иван Сергеевич не знал, куда спрятать глаза.

- Вот что для вас пытка, - все поняв, засмеялась сестра Валентина. - Но терпите, вы знали, на что шли. Это лишь первое испытание - то ли еще предстоит! Все мы так: грешим легко и с удовольствием, легко и раскаиваемся на словах, а когда доходит до искушения, многие, слабодушные, задумываются, не согрешить ли снова, а тогда уж ответит за все сразу, надеюсь, к тому же, на поглощение менее строгого наказания более строгим. Но беда в том, что у нас наказания не только не вычитаются, но и не складываются, а умножаются. Поторопитесь поэтому, сестра, ответить за первое грехопадение. Признайтесь в нем публично, во время службы в честь дня вашего ангела. Кстати, нам пора возвращаться в храм. Уже звонят.

Со двора и в самом деле слышался звон колоколов: редкие удары больших и легковесная болтовня маленьких, все убыстряющаяся и под конец слившаяся в один непрерывный звук, как если бы где-то запала клавиша. Впрочем, это уже был будильник.

12

Обленившись на службе, требовавшей единственного умения - спать с открытыми глазами, - Пополитов и в быту поневоле свел телодвижения к минимуму, тем более, что не имел хозяйства. Придя в общежитие, он падал на койку (так заведено было, что сидя здесь только выпивали или играли в домино); до начала навигации - поры, когда появлялась возможность подрабатывать на пристани, - он не мог придумать ничего, чтобы как-то поразмяться, кроме праздного шатания по городу. Чего-то, однако, не хватало ему в этом (девушки, сбросившие свои зимние коконы, волновали, но не в них было дело), даже и на драки тянуло, он стал задирист, - и все же ему посчастливилось разрядиться вполне мирным и будничным образом. В одно из воскресений он ненароком прислушался в трамвае к разговору едущих с дачи людей. Несколько схваченных на лету слов вызвали у него легкое смятение, заставив вспомнить, что сейчас за день недели и за месяц на дворе. Решив сначала, что невосполнимо

просрочил нечто важное, Пополитов едва не усомнился в верности календаря, но когда к нему же и обратился в поисках любых предписанных сроков, то, не обнаружив никаких потерь, понял, что самое время всего-навсего копать огород.

До прошлого года Пополитов был чужд земледельческих забот, но соседи по зеленому дому не то, чтобы оказались заядлыми огородниками или садоводами, но просто не выжили бы без своих овощей. Неподалеку от их развалюхи, между складами, рельсами и мастерскими оставалось вдоволь пустой земли. Со своего участка у железнодорожной насыпи старики снимали урожай и морковки, и укропа с петрушкой, и репки с луком, и главного в несытое время продукта - картошки. На кухне иной раз заговаривали и о клубничке для продажи на рынке, но эти разговоры так разговорами и оставались, потому что дорогую ягоду пришлось бы сторожить; картошка же росла сама по себе, не соблазняя чужих, хотя и на нее держалась хорошая цена. В прошлом году Пополитов за компанию тоже посадил себе всего понемножку, но этой весной выселение заставило его напрочь забыть об огородничестве. Возвращение его к оставленной теме можно объяснить только случайностью. “Мне-то ни к чему, - словно оправдывался он перед собою, - но надо помочь одуванчикам. Не опоздал ли?” К счастью, оказалось, что нет, к ним не опоздал, им нечего было и огород городить без посторонней помощи, да не находилось денег на работника.

Дом в ожидании сноса жил неторопливой пенсионерской жизнью, укрытый от дороги и от глаз мимоезжих властей телом парходной конторы. Прошло всего немного времени (Пополитову казалось - вечность); и как во внешнем мире ничего не изменилось из-за изгнания отсюда Мирона, так и здесь он нашел все на своих местах, даже бумажка с его фамилией сохранилась возле кнопки звонка. Вдоволь полюбовавшись на нее, он позвонил как гость Пополитова - шесть раз. Открыл ему Павел Потапович, добрый человек, сложивший у себя пополитовское имущество, но и другая дверь открылась в коридоре, и в проеме встала стройная старуха Фелицата Константиновна; прежде нее выскочили из комнаты две неодинаковые кошки.

- С ночевкой? - спросил Павел Потапович, не удивляясь.

- С проверкой, - засмеялся Мирон.

- Давай, давай, инспектор, заходи. Электрический счетчик - вот он, могу свечкой посветить, самогонный аппарат в исправности, а что до политической благонадежности, то мы все как один.

Глядя свысока, Фелицата Константиновна проронила:

- Заходите на кофеек, Мирон. Вы любили когда-то.

- Все мы любили когда-то! - печально воскликнул, появляясь на сцене, третий жилец, еще более прямой, худой и строгий на вид, чем Фелицата Константиновна. - Да и сейчас всегда готовы.

- Но позвольте, Глеб Глебович, - будто бы возразила старуха, - это же девиз светлой памяти пионеров-ленинцев: "Всегда готов!"

- Ну, они-то знали одно: "Всегда готов бить врагов!" Это, слава Богу, не о нас. И ни при чем здесь светлая память: шабаш начинается снова. Только что же мы держим дорогого гостя в коридоре? Вы, Мирон, к кому из нас?

Пополитов объяснил, что пришел по общему делу.

- Тогда сядем у меня, - оживился Павел Потапович. - Ну и по маленькой опрокинем за свиданьице.

- Сядем, Полпотапыч, сядем, - согласился Мирон, - только сперва я хотел узнать у вас, дорогие соседи, не засадили ли вы огород, собираетесь ли и возьмете ли меня в долю?

- Собирается-то собираемся, - ответил Павел Потапович, - да не знаем, с какого конца взяться. Боязно приступить. Вся наша рабочая сила: копать - я, полоть - Дарья. Но на всех мне не вскопать.

Выходило, что Пополитов вспомнил об огороде вовремя. Выслушав Павла Потаповича, он тут же заявил, что приступить надо сию секунду, что жаждет размяться и что посидеть за столом лучше всего будет после разминки.

Размяться ему дали на славу. Давно не поднимавшему ничего тяжелее кобуры с револьвером, ему пришлось вскопать изрядное поле (оставив такое же на другой день). Он устал так, что и есть не хотелось, а хотелось только лечь и поспать.

- Ну, аппетит-то мы тебе вернем, - потирая руки, пообещал Павел Потапович (в его комнате давно общими усилиями был накрыт стол).

Закуска предполагалась, по новым временам, богатая: квашеная капуста, отварная картошка, лук и казенные, из кулинарного магазина, котлеты. В напитках не наблюдалось разнообразия, но так уж повелось в этом доме, что жильцы, включая Фелицату Константиновну, пили исключительно самогон собственного, рук Павла Потаповича, приготовления - с разными изощрениями, настоящий то на кориандре, то на перце, то на зверобое, одуванчике, мяте, женьшене и еще Бог знает на чем; о секретном составе собутыльники только догадывались. Вот и сейчас на столе стоял графин с жидкостью таинственного зеленого цвета, несъедобной на вид. Павел Потапович поспешил налить каждому

сам; Фелицата Константиновна пила из старинной узкой рюмки с матовым изображением оленя, мужчины обходились стаканами.

- Раньше еще и грибочки на стол ставили, - вспомнил Глеб Глебович. - Это, знаете, удивительно сочеталось. Эх, бедность.

- При бедности, - назидательно сказал Павел Потапович, - водочка и с мануфактурой сочетается: рукавом занюхаешь - и все дела. А ты перед царской закуской сидишь. Грибочки же теперь не из-за бедности, а из-за радиации не заготовишь.

- Да, да, говорят, еще и кислота в дождях.

- Гриб - он всякую гадость впитывает: и облучение, и отраву, и химию. Отведаешь - и никакой самогон не поможет.

- Где-то их едят, не боятся.

- А знаете, - вступила в разговор единственная за столом женщина, - мы говорим о бедности, а в магазинах стали появляться кос-какие продукты.

- Да какие продукты? - махнул рукой Павел Потапович. - Это, Феля, всё контрабандный товар с Большой Территории. А на складах - голый Вася.

- Смотрите, - испуганно проговорила Фелицата Константиновна, - не скажите такое в другом месте.

- Здесь-то все свои.

- В наше время только свои и стучали.

- Фелицата Константиновна, голубушка, - взмолился Глеб Глебович, - это совсем не застольный поворот беседы. У Мирона и без того аппетита нет, а теперь и нам кусок в горло не полезет.

- А ты запей, запей кусок-то, - хихикнул Павел Потапович. - Мигом проскочит.

- Нароботался как лошадь, - с удовольствием объявил Пополитов.

- Вот бы заведено было, как прежде: лошадка и соха, - мечтательно проговорил Глеб Глебович. - Всё бы, что хочешь, перепахали. Да где они, лошадки-то?

В сознании уставшего Пополитова проплыл неясный образ детской его мечты - игрушечной лошади-качалки. Всаднику требовалась еще и сабелька, но сейчас сгодилась бы и острая вилка. Впрочем, он пока владел собой, отдавал себе отчет в том, что кавалерия отжила свой век и не годится даже для разгона демонстраций; из рассказов он знал о случае, когда толпа затоптала насмерть нескольких лошадей - в Москве, на похоронах Сталина. Однако не только настоящих кавалеристов, но и детскую качалку из папье-маше он видел лишь на картинках и в кино: детдом такую не

обзавелся, а в чужих домах и в магазинах игрушек Мирон, естественно, не бывал - кому из воспитателей, спяну или сдуру, пришло бы в голову устраивать туда экскурсии? Но если бы только качалка! Существовало множество других предметов, до сих пор не встреченных Мироном в жизни, а знакомых только по картинкам, и список их, как ни странно, с годами не уменьшался, а рос. Не зная, нужны ли ему эти вещи и неведомого вкуса продукты, Пополитов завидовал изображаемым вместе с ним людям - фотомоделям и знаменитостям, - завидовал чудовищной возможности их выбора: между качалкой и живым пони в детстве, между автомобилем и яхтой в зрелом возрасте; сам он и теперь мог позволить себе содержать разве что все ту же игрушечную лошадку - поставить ее в свою стеклянную кабину и качаться до тех пор, пока начальник караула не лишит премии. Старикам-соседям было проще: они, возможно, наигрались в игрушки при папах и мамах и теперь спокойно могли рассуждать за столом о политике.

- Что ни говори, - продолжал между тем Глеб Глебович, - а я за то, чтобы вернуться к старому. Хотя это и не поможет. Наш народ, видимо, избран Богом для уничтожения, как дурной пример прочим.

- Зачем же избирать для уничтожения? - резонно возразила Фелицата Константиновна. - Уничтожают кого попало. Для поощрения, воскрешения, наконец - это другое дело.

- Чтобы воскресить, надо сперва уничтожить. Только былого не воскресишь. Что было, о том забудьте.

- Но есть и какие-то проблески, - вернулась к своему она. - Представьте, опять попадаются колониальные товары! Кофе...

- Наша Вольная Область обзавелась колониями! - смеясь, воскликнул Глеб Глебович.

- Только не о политике, господа!

- Если женщина просит... - галантно поклонился он и провозгласил: - За нашу даму!

Даму! С подобными выражениями Пополитов не сталкивался в общежитии, в общем житии, и теперь подумал, что жизнь в своем доме - благо еще и в этом смысле. Для него это была новая мысль.

- Когда-то за дам и в голову не пришло бы пить самогон, но - шампанское! - с горечью проговорил Глеб Глебович, закусывая колечком лука.

- "Вечерка" пишет, - сообщила дама, - что наше "Шаманское" в этом месяце выдадут только инвалидам партии... пардон, Движения. И ни слова об инвалидах перестройки.

- Такова жизнь: все забывают о прошлом.

Но и в прошлом у Мирона не было лошадки. Он подумал, что нужно побыстрее записаться на кресло-качалку: когда подойдет очередь, он наверняка уже обзаведется своей жилплощадью, станет ответственным съемщиком; тогда-то, качаясь в кресле, можно будет порассуждать и о минувшем, и о наступающем дне. Только имеющему жильё дано ощутить свое продолжение в будущем.

- Если говорить о прошлом, - прокашлявшись, вступил он в разговор, - то скажите, у кого из вас была в детстве лошадка-качалка - белая в яблоках, на красных полозьях?

Павел Потапович хмыкнул с недоумением, а Фелицата Константиновна с улыбкой покачала головой:

- У девочек другие игрушки.

- У меня была, - поднял руку Глеб Глебович, - а я мечтал о заводной пожарной машине, как у мальчика из нашего двора. В продаже ее, конечно, не нашлось. Боюсь, что ни у кого не было игрушек, каких он хотел. Зато мы навечно затвердили лозунг: "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!"

- Девочкам проще: куклы - они всегда куклы.

- А у нас, - сказал, посмеиваясь, Павел Потапович, - была коза Чайка. Не качалка - живая. Благодаря ее молоку мы выжили в войну.

Пополитову вспомнился анекдот о матросах и козе, но его нельзя было рассказывать при старой женщине.

- Огород мы завели, - серьезно сказала она, - можно подумать и о козе. Глядишь, и мы выживем.

- Заодно и пахать - сохой на козе? - грустно предположил Глеб Глебович. - Сена не напасешься. Разве что капусты насадить.

- Разошлись старички, - засмеялся Пополитов, - словили кайф.

- Тяпнем еще по одной, - предложил Павел Потапович. - А там уже можно устраивать несанкционированную демонстрацию с пением песен и организованными выкриками.

- Под каким лозунгом пойдем, позвольте полюбопытствовать? - живо обернулся к нему Глеб Глебович. - "Козовладение - гарантия сексуальной стабильности"? Или "Пусти м козлов в огороды"?

- Нет, - сказала старая женщина. - "Козлы, соблюдайте правила Движения!"

Теперь предлагали наперебой:

- "Козлы! Ваше молоко - живая вода борьбы с наследием перестройки!"

- “От каждого - по способностям, от козла - молоко!”

- А я помню, - сказал Павел Потапович, - что когда нас силком, но добровольно водили на демонстрации в пользу Октябрьской революции, то мы непременно брали с собой водку.

- Наше собрание, - вывел Глеб Глебович, - удивительно напоминает традиционный сбор выпускников средней школы. Если считать, что мы ее кончали. Хотя, если нет - тем почетнее приглашение.

- Спасибо, - обиделся Пополитов, у которого не все было в порядке с аттестатом.

- Мы все в равном положении, - сгладила неловкость Фелицата Константиновна.

- Все, все - в одинаковом, - поддержал Павел Потапович. - То есть я не о том, а с самого начала хотел сказать: вот, Мирон пришел в гости и с огородом помочь, но он здесь - дома, так же, как и мы. И твоя комната свободна, Мирон: властям важно было тебя выселить в ответ на твою бумажку, а квадратные метры им не нужны. Вселяйся - ка обратно, только помалкивай об этом - и горя знать не будешь. Печать на двери отсохла, ножичком поддень - и отвалится.

- Но я хочу взглянуть! - вскочил с места Пополитов; в самом деле, не было причин, по каким он не мог бы взглянуть на свое бывшее жилище, тем более, что и ключ был с собой, в общей связке.

Они пошли смотреть всей компанией.

Вид комнаты показался ему нелепым; при низком потолке она, пустая, выглядела обувной коробкой, в которой дети носили сырой песок. Пополитов с тоскою подумал, что говорить об особой радости, если он останется здесь, не придется - притом даже, что эту коробку нечего было и сравнивать с постылой комнатой общежития; он еще верил в щедрость Пидержанова, и где-то в смутной дали ему рисовалась отдельная квартира.

Он подошел к окну, но и привычный вид не воодушевил его: перед глазами была неработающая котельная; второе же окно открывалось в полуколодец с бурьяном и лопухами на дне.

- Иметь возможность запереться изнутри - большое счастье, - философски заметил Глеб Глебович.

- Конечно, - моментально согласился Пополитов, - тогда любой сможет стучать.

нашлось никого, знающего, когда сны действительны, а когда врут. Этот, во всяком случае, совпадал с мыслями, посещавшими Ивана Сергеевича.

Вынужденную подлость, будто бы не усугубившую участь жертвы, но принесшую худо автору, повязав его с негодьями, ему было бы заманчиво простить самому себе, тем более - прощеному и потерпевшей. Но, сказав “а”, не будь “б”, а Иван Сергеевич опасался, что вслед за маленькой его толкнут на подлость покрупнее, да так и пойдет по нарастающей (и какой-нибудь радивый имбецил из Службы пропаганды восторженно скаламбурит, что только по нарастающей и может пойти сейчас, когда принята великая Программа Нарастания), и тогда раскаяние и назревшее покаяние окажутся напрасными. Выход напрашивался один - отойти подальше от мест, где творятся или замышляются низменные дела; - да только на поверку вся наша земля выходила сплошным таким местом, и легче казалось отойти от себя, чем от посторонней мерзости. Отойти подальше хотелось бы навсегда, что значило - эмигрировать на Большую Территорию, в Россию, - только кто бы туда выпустил? Конечно, и в Вольной Области существовали свои неведомые островки, свободные или необитаемые, но они скрывались за горизонтом, если смотреть с уровня моря; Иван Сергеевич угадал лишь один из них, монастырь. Он, возможно, и ушел бы в монахи - сейчас, сразу, но не знал доподлинно ни того, есть ли святые обители в пределах Области, ни того, как устроена и чем грозит монастырская жизнь. О монастырях он знал лишь то, что там молятся Богу и занимаются простыми ремеслами - бортничеством, к примеру; последнее его устраивало, даже при уверенности в том, что дикие пчелы давно вымерли. Он, очевидно, заблуждался и относительно самой техники вступления в святые ряды, предполагая существование конкурса и, значит, процветание системы собеседований, анкет и взяток. Сопутствующие понятия смущали его неясностью смысла; например, пострижение хотя и было давно на слуху, но истолковывалось Гоголевым исключительно на парикмахерский манер. Что касается обетов, то он понимал, что монахи вынуждены связывать себя обещаниями и обязательствами, более строгими, чем дают другие люди в других местах работы или обитания; не видя в них страшного, Иван Сергеевич был противником лишь одного обета - безбрачия. По его мнению, если уж прелюбодеяния исключались безусловно, то не обзавестись добropорядочной супругой казалось сущей катастрофой; сам он мог ограничивать себя в капризах и баловстве, но не хотел бы идти

супротив естества.

Между тем подоспела Пасха. В этот праздник много лет как заходили в церковь даже неверующие; нынче собрался и Иван Сергеевич, потревоженный чудным сновидением. Тонкости православного протокола, как и правила записи в союз монахов, были ему неведомы, но он не беспокоился, намереваясь вести себя так же, как и все; однажды, во сне, он именно так и вышел из положения. Зато насчет разговения - кулича, пасхи, водки и русских закусок - он был просвещен; разумеется, чтобы разговляться, естественно было бы сперва говеть, но он мудро решил: "Не все сразу".

Нашим предкам, в чьи времена вегетарианская пища была доступнее любой другой, так что на ней можно было еще и сэкономить, легко было устраивать себе посты; современникам Ивана Сергеевича следовало бы придумать что-нибудь попроще. Давно не видя на овощных прилавках ничего, кроме свеклы и морской капусты, Гоголев подозревал, что столь простую диету отвергают даже сугубые фанатики. С другой стороны, ни рыбы, ни мяса тоже было не сыскать, и пост для рядового жителя Области длился в сущности круглый год.

Разговляться у Ивана Сергеевича, по редкой случайности, было чем: удалось купить творожку и селедки, а спиртное в субботу, к светлому празднику, продавали в школьном буфете - там-то, стоя в очереди, и пришлось, слово за слово, рассказать о своих ближайших намерениях Валентине Валентиновне. Она тут же посетовала, что ее муж Дима, бывший коммунист, из принципа не заходит в церкви, и мгновенно разобравшись в положении, Иван Сергеевич предложил ей составить компанию. Это была неожиданная удача. До сих пор Гоголев стеснялся обращаться к замужней Валентине Валентиновне с приглашениями куда бы то ни было, но сегодня слова очень кстати как бы нечаянно сорвались с языка. Иван Сергеевич даже, рискуя, разыграл чуть ли не сожаление в своей опрометчивой поспешности, и англичанка вскричала, что ловит его на слове.

Церковь находилась возле самого дома Ивана Сергеевича - с другой, чем ров, стороны. Ближние подходы к ней были сегодня перегорожены барьерами, за которыми, как за баррикадой, стояли два автомобиля, светя фарами в глаза идущим. В узком проходе полицейские всматривались в лица и оживились, увидев Вавочку:

- Вам, девушка, сюда еще рано.

У Ивана Сергеевича они поинтересовались, не отец ли он этому созданию, на что он ответил уклончиво:

- Во всяком случае, она совершеннолетняя.

Растерявшись, Валентина Валентиновна сказала лишнее:

- Спасибо за комплимент, но я... я и сама учу детей.

Маленькая собачка, знаете, всегда - щенок.

- Тем более незаконно ваше появление здесь: школа отделена законом от церкви, - недоброжелательно заметил грамотный офицер.

- Я вынужден...

- Она не учительница, - поспешил на выручку Гоголев, - а ведет по совместительству кружок ручного труда у девочек. Мягкие, знаете ли, игрушки. Анна Петровна у нас - портниха.

- Вы, стало быть...

- Закройщик, - гордо назвал себя Иван Сергеевич, не удержавшись, чтобы не добавить: - Божьей милостью.

Так они попали в церковный двор, где собралась порядочная толпа. В переполненный храм не пускали до окончания крестного хода, когда должна была, как обычно, уйти часть зрителей; вход охраняли злые от трезвости ражие мужики. Иван Сергеевич, как и все, купил свечек и теперь готов был узреть необыкновенное.

Паперть была устроена таким образом, что после первых, запертых сейчас дверей начиналась лестница, с верхней площадки которой можно было либо вступить в храм, либо выйти в стороны, на опоясывающий здание балкон. После полуночи боковые двери растворились, и торжественная процессия двинулась по галерее. Впереди шли священнослужители с крестами, иконами, хоругвями и свечми, в шитых золотом одеждах; следом же брел совсем другой, разношерстный люд не праздничного, казалось в темноте, вида, хотя и тоже с огоньками: чистенькие старушки в платках, мужчины со значительными выражениями лиц, ненакрашенные женщины и среди всех бросающийся в глаза вельможа, не снявший шапки; на его рукаве желтела широкая повязка с надписью: "Куратор".

Шествие растянулось так, что сомкнуло голову с хвостом, отбросив или поглотив его. На этом, видимо, закончился первый акт представления, потому что охрана отступила наконец в сторону, пропуская толпу на паперть. Лучшее было бы сначала выпустить наружу лишних, но не нашлось кому руководить, и приключилась давка (еще и зажженные свечи были в руках). Только что Иван Сергеевич раздумывал, не нужно ли при входе перекреститься, робея из-за присутствия коллеги Димуриной, члена Движения, то есть записной активистки, но теперь проблема разрешилась сама, оттого что в тесноте он и при самом большом желании не смог бы поднять правую руку, уроненную не вовремя; левую, со свечой, он поднял

раньше и теперь, оберегая Валентину Валентиновну, обнимал ее за плечи, упиваясь безнаказанностью.

По окончании ступенек стало посвободнее, и Гоголев изумился, увидев, что Валентина Валентиновна перекрестилась с поклоном; сам он так и не решился пока, тем более что после тесного подъема с Вавочкой по лестнице мысли его все более отвлекались от святого праздника. “Не могу ее видеть, - оригинально думал он о своей спутнице. - Пока она далеко от меня, я живу спокойно, а когда вижу ее, то схожу с ума. Напрасно мы пошли вместе. Ба! Надо же будет христосоваться! Неужто я согрешу нынче? (Ах, не те мысли в святом храме)” Додумав все ж неподобающее до конца, Иван Сергеевич заскучал. “Смертию смерть поправ”, - вдруг ворвалось в слух и, услышанное впервые, восхитило его, словесника; однако, разглядев фразу со всех сторон, он вновь вернулся мыслями к Вавочке, стараясь не поглядывать на нее чересчур часто, и очнулся лишь от толчка остреньким ее локотком:

- Креститесь же!

И вправду, все крестились вокруг.

Когда уж велено было, Иван Сергеевич неумело перекрестился с облегчением, подумав, что после этого, должно быть, оказывается с Господом лицом к лицу и может вступить в диалог. Он поспешил попросить о прощении недавнего пренеприятного греха - благо и соучастница, не раскаявшаяся, стояла подле, - да только к этому моменту успел достаточно отвлечься не только от праздника, но и от темы покаяния и теперь затруднялся сложить самодельную молитву, позабыв, что уже преуспел в этом в церкви женского монастыря. “Боже мой, - получилось теперь у него, - я грешен, но и при ином моем поведении ничего не изменилось бы. Другое дело, если бы все прочие тоже поступили иначе. Господи, научи нас всех разом! Виноват каждый - значит, и я виноват. Боже мой, не знаю, дозволено ли говорить о моем преступлении в Твой праздник или я могу только славить Тебя. Не знаю также, имею ли право, не постившись, разговляться теперь. С Вавочкой! Господи, о чем я? Прости за все”.

Время между тем шло быстро, и он удивился, когда Валентине Валентиновне наскучило здесь.

- Не пора ли нам? - спросила она.

“Да как же пора?” - едва не вырвалось у разохотившегося и позабывшего свои первоначальные намерения Ивана Сергеевича. Он даже несколько подсадовал на неожиданную помеху: второй случай заявить о своем раскаянии мог представиться не скоро. В последний

момент он нашел слова поудобнее:

- Разве это - вся программа?

Молодая женщина убедила его, что основное уже показано и теперь их ожидают лишь повторения и вариации. Иван Сергеевич кивнул, не поверив ей; будь он один - задержался бы надолго.

На уходящих не обратили внимания, но никто больше и не уходил, и Иван Сергеевич, не слишком полагаясь на осведомленность Вавочки, снова забеспокоился из-за невозможности подсмотреть, выходят ли верующие спиной к алтарю или пятятся, крестясь. Избрав первый, светский способ, он издали (бесполезно) увидел, как внизу, за последними дверьми, выйдя из строя церковных нищих, собираются заступить ему путь два дюжих молодца. Валентину Валентиновну они застали врасплох.

- Извиняюсь, вы не очень спешите? - по-своему вежливо, но не представившись, спросил более дюжий из двух.

- Напротив, - пролепетала Вавочка, забыв, чем занимаются люди пасхальной ночью. - Транспорт... дел по горло... И двери закроют же!

- Не очень, - достойно ответил на тот же вопрос Иван Сергеевич, довольно громко, чтобы отвлечь внимание на себя. - Хотя и связаны определенным расписанием и, если угодно, обязательствами.

- Тогда пройдемте, - велел более дюжий.

“Верно говорят, что Бог все видит, - удрученно подумал Иван Сергеевич, не интересуясь причиной ареста. - Нечего было сюда соваться мне, пока еще неверующему. Вот не хотели же пускать”.

Их провели в автобус с зашторенными окнами. Вместо пассажирских кресел в салоне стояли пластиковые стол и стулья, как в закуской; за столом развалился полицейский офицер; перед ним же, сидя и стоя, собралось общество: полицейские, солдаты, какая-то безликая молодежь и, наконец, уже знакомый куратор с повязкой.

Двери с шипением закрылись за спиной.

- Мы вас пригласили быть понятыми, - объявил менее дюжий.

- Это нам большая радость, - заметила Валентина Валентиновна.

Не успев порадоваться вместе с нею легкому избавлению, Иван Сергеевич снова помрачнел, сообразив, что их инкогнито будет раскрыто. Не собираясь, однако, сдаваться, он выдал неуместный смешок:

- Боюсь, что не выйдет: комендантский час в эту ночь отменен, и мы вышли без документов. Знаете, держишь бумаги в портфеле...

- Мы поверим на слово, - заверил один из дюжих.

Другой добавил:

- Порядочных людей сразу видно. Да и дельце пустяковое.

Теперь Иван Сергеевич беспокоился только за партнершу - как бы не забыла роль.

- Вот эти несовершеннолетние, - махнул рукой неизвестно на кого офицер, покачнувшись на стуле, - проникли в церковь вопреки постановлению Совета Управления Движением номер тысяча двести восемнадцать от тринадцатого января о воспитательной работе с молодежью в районах боевых действий. В обязанности понятых входит: удостоверить пребывание задержанного субъекта (на каждого - свой понятой) внутри линии оцепления и подтвердить правильность к моменту составления описи предметов, временно изъятых у задержанных несовершеннолетних нарушителей упомянутой линии оцепления зоны празднования Воскресения Господа Бога... Уф-ф. Словом, описи их вещей. Во избежание.

- Фамилии, - спросил менее дюжий.

Понятыми оказались закройщик Сидор Поликарпович Епиктетов и швея Анна Петровна Запивалова, проживающие, соответственно, на бульваре Последнего Переворота и в Потайном переулке, то есть в самой сердцевине города. Называя адрес, Епиктетов спохватился, что переборщил, оттого что полицейским теперь естественно было бы спросить, отчего он выбрал церковь так далеко от дома. Властям, к счастью, в спешке было не до тонкостей, и портным следовало только дожидаться волнующего момента подписания реестра.

Попавшие в список предметы, принадлежащие задержанному номер один (из общего числа, как от скуки насчитал Пополитов, шестнадцати), были предъявлены понятым и лишь затем увековечены в документе, в конце концов принявшем вид следующей поэмы, из экономии места воспроизводимой здесь без разбивки на стихотворные строки: деньги, имеющие хождение в Вольной Области, в сумме восемьдесят одна копейка, рубль московский один, расческа пластмассовая частая, без двух зубьев, платок носовой, презервативы - шесть штук, в том числе один использованный, рогатка самодельная, фото девушки формата три на четыре, фото девушки обнаженной формата шесть на девять, размер бюста четвертый, с дарственной надписью "От Эдика на память", полотно

туалетной бумаги чистое, поношенное, длиной шестьдесят семь сантиметров, пуговица от полицейского мундира, с мясом, пачка сигарет “Коммуна”, нераспечатанная, зерна кофейные - четыре штуки.

- Покурить бы оставили, - попросил номер один.

- У тебя же спичек нету, - отмахнулся более дюжий. -

Потерпишь, не помрешь.

- Как его накажут? - шепотом, осторожно, поинтересовалась швея Запывалова у случившегося рядом куратора, которому явно не сиделось на месте.

- Продержат до выяснения личности, - получила она столь же заговорщицкий, на ушко, ответ. - Потом врежут для порядка по морде лица. А там - как вести себя будет: либо занесут факт в учетную карточку, либо сообщат в школу.

- Нам, кажется, ни разу не сообщали.

- Вам - это кому? Куда?

- Я же учу девочек шить, - выкрутилась Вавочка.

- Да и в ателье такого не бывало, - заметил Епиктетов. - Там у нас тоже есть несовершеннолетние - молоденькие мастерицы, этикие профурсеточки.

Тут подоспела опись второго клиента. Поэма, сходная с уже прочитанной нами, принадлежала перу другого автора и была витиевата. Понятая не стала поэтому вчитываться, а сразу подписалась девичьей фамилией: Димурина.

- Не выйти ли нам теперь, любезная Анна Петровна, на свежий воздух, - предложил Епиктетов, не видя новых понятий и опасаясь, что процедура повторится. - Гражданский долг мы выполнили, теперь и проветриться не грех, и отпраздновать воскресение Господа Бога нашего, Иисуса Христа. Христос воскрес!

- Воистину воскрес! - ответствовала Анна Петровна, с восторгом приступая к троекратному целованию.

- Так пойдемте же, - через силу отстраняясь, быстро проговорил Епиктетов, опасаясь, что сейчас и полицейские, используя момент, зайдутся в религиозном экстазе.

- И я, и я с вами выйду, - как будто обрадованный оказией, оживился куратор, заставив обоих насторожиться в предположении беседы с глазу на глаз. В первый момент Епиктетов, правда, подумал проще: “Ты-то куда, старый козел?”

После душевного автобуса на улице показалось свежо.

- Эх, служба, - зевнул куратор. - Моя служба - слушать службу.

Понятые, вопреки его ожиданию, не улыбнулись.

- Жаль, что мы тут же разойдемся, - продолжал он, и Иван Сергеевич ответил ему про себя: "Не старайся, не пригласим."

- Пойду в храм, - вздохнул куратор. - Не дай Бог, попы сболтнут лишнее.

- Нервотрепка, однако, - заметил Иван Сергеевич, оставшись наконец наедине с Вавочкой в темной рощице, отделяющей храм от города, и с удовольствием глядя на близкие огни своего дома. - Разговеться теперь просто жизненно необходимо.

Спутница была с ним согласна.

Он подумал, что в эту ночь должны прощаться все грехи.

14

На первомайскую демонстрацию его никто не звал не из-за личных претензий или недоверия, а потому, что звали вообще далеко не всех, меньшую часть, имея целью и показать, что организация велика, и скрыть насколько. Но и запретить участвовать ему не могли, и Пополитов не посмел пренебречь случаем: больше, пожалуй, нигде он не смог бы увидеть вместе своих товарищей (он сразу стал называть их так, оттого что - по несчастью), самую гущу, и тем паче не встретился бы со всеми теми, кто эту гущу замесил.

Соседи его по дому вставали рано, и все же Пополитов редко сталкивался с ними по утрам; сегодня же по дороге в ванную он увидел, что у Павла Потаповича открыто настежь, и, заглянув, был настоятельно зван зайти на обратной дороге. Сразу поняв что к чему, Мирон, вопреки обыкновению, не отказался, а и в самом деле, умывшись, зашел, даже с удовольствием, чувствуя потребность как-то изменить свое состояние перед предстоящим действием.

Павла Потаповича он нашел сидящим в допотопном, с непомерной спинкой, кресле; рядом, под рукой, стояли на этажерке полный графин, рюмки и початая банка с солеными огурцами. Кроме этажерки в комнате собралось немало вещей, от каких другие, неизвестные люди давно, не подумавши, избавились с помощью скупки, а то и помойки: диван с полкой и зеркальцем (а на полке - семь костяных слоников), кованный сундук, светильник с голубыми стеклянными палочками-подвесками, буфет довоенной аскетической постройки, напольная радиолла того же возраста (но голосистая, как молодая) и, распластанное на стене, как ковер, красное знамя кавалерийского эскадрона, сшитое из чудесного бархата (другое, поменьше, с гербом СССР и надписью "Коллективу цеха -

победителю соцсоревнования” лежало, как ковер, перед диваном). Дополнял обстановку верстак с тисками.

Кивком показав гостю на второе, иного фасона кресло, Павел Потапович взялся за графин; жидкость там была цвета этих знамен, только разбавленного, и он счел нужным оправдаться:

- Нарочно не стал стараться ради желтого дня. Гнал из буряка - удивительно неблагородный продукт. Тем не менее составь компанию. Этого нам еще не запретили.

- Не в том счастье, Полпотапыч.

- Счастья, Мирон, больше нету ни в чем. Говяжьё кость раздобыть - вот в чем наше новое счастье. В том же, что и у старых бродячих собак. Да вот вчера еще осчастливили новым постановлением - слышал?

- Я на дежурстве был.

- А нам в это время подарили медицинскую реформу. Теперь врачам платить будет не государство, а контора, где ты работаешь, и только за рабочие дни. Понял? Пока болеешь, денежки докторам не идут. Да вот газета, смотри: “В целях дальнейшего сокращения объема медицинского обслуживания населения, борьбы с потерями рабочего времени и пресечения злоупотреблений в оплате периодов временной нетрудоспособности, а также для увеличения материальной заинтересованности медицинских учреждений в конечных результатах...” Тыфу! Короче, черта лысого ты похвораеть теперь дома, в постельке: чем больше больничных листов выдаст врач, тем меньше он заработает. Глеб Глебович объяснил, что врачи - это часть народа и государство воюет и с ними тоже, поэтому помереть нам все-таки не дадут: если тебя недолечат и ты в течение гарантийного срока обратишься вторично, твой лекарь заплатит штраф из своего кармана. В общем голову сломаешь.

- Серьезное дело.

- Ладно бы это было все. Но еще и госприемку вводят в поликлиниках, и всякого исцеленного будет допрашивать Комиссия из представителей предприятий района.

- Значит, будем живы - не помрем.

- За наше здоровье, Мирон!

- Ого! - Задохнувшись от доброго глотка и судорожно кусая огурец, еле выговорил Пополитов. - Если ты и вправду приготовил это зелье специально ко Дню солидарности трудящихся, то не дай Бог, чтобы об этом пронюхала Служба безопасности Движения! Это не напиток, а диверсия. Впрочем, для меня - то, что нужно. Уважил, Полпотапыч, спасибо. Но извини, не могу посидеть с тобой, пора

собраться: хочу сходить на демонстрацию.

- Что же ты собираешься демонстрировать? - с нехорошей ухмылкой поинтересовался Павел Потапович. - Не верность ли Движению?

- Что же еще? - хохотнул Пополитов, задумываясь над вопросом и скучнея.

В этом скучном состоянии он и вышел на улицу - и нашел там праздничную пустоту. На работу люди, естественно, не шли, час семейных прогулок еще не наступил, движение транспорта не развинулось из-за того, что центр оцепили солдаты, да и многие окраинные магистрали были перекрыты, а первые демонстранты только еще выходили из домов. Ветер трепал желтые, как у стрелочников, флажки, и отовсюду доносилась какая-нибудь музыка. На многих углах белели праздничные стенгазеты, мысль о выпуске которых удачно пришла в головы одновременно всех управдомов города. Мирон подошел взглянуть на вывешенную в их квартале: содержание могло касаться и его.

Передовица (“Спасение Отечества - дело рук самого Отечества”), явно переписанная откуда-то, его не заинтересовала и, скользнув взглядом по накарябанным цветным фломастером заголовкам, он остановился на заметке содержателя пристанского видеозала, думая узнать о майском репертуаре. Отпечатанный на хромой машинке текст гласил: “День боевого смотра сил пролетариата наше культурное предприятие встретило новыми трудовыми успехами. Это и день боевого смотра видеозаписей. Реклама, агитация и пропаганда, на которых акцентировал внимание коллектив видеозала, то есть я, сделали дело: на просмотр наряду с трудной молодежью пришел пожилой зритель. На минувшей неделе этот зритель от души смеялся на легкой комедии, бичующей беспредел и дедовщину в общежитии Высшей Школы Движения, а вчера того же профессора заметили на мюзикле из жизни проституток на общественных началах. Если так пойдет и дальше, а мы на это надеемся, то этот зритель увлечет за собою еще и своего сверстника, и процент охвата престарелых удвоится. И это - не единственное наше достижение. В патриотическом соревновании между членами нашего трудового коллектива мы добились значительного улучшения качества и количества обслуживания, а на первомайской демонстрации предприятию выделено почетное, второе справа, место в седьмой шеренге района с почетною же обязанностью несения желтого постреволюционного флага. Да здравствует культурная политика ДСО!”

Остальные заметки читать явно не стоило, равно как и другие стенгазеты: во всех была одинаковая галиматья, это понимал даже Пополитов, плохой знаток и стенной, и всякой иной периодики, да и вообще печатного слова.

Все в том же скучном состоянии Пополитов достиг условленного места сбора своей колонны. Набережная, где замысловатые здания стояли среди деревьев старого парка, была еще безлюдна, и лишь возле хлипкой тележки на велосипедных колесах, на которой в три этажа вздымалась бело-голубая вывеска “Фронт защиты неимущих”, стояли люди - первые, у самой тележки, собрались кучкой, а прочие, человек пять или шесть, вытянулись неровной цепочкой в сторону подходящего Пополитова. Достигнув ближнего, он спросил:

- Вы последний?

Тот машинально кивнул, и Пополитов остановился. Но следом шел и еще кто-то и тоже, не спрашивая уже, привычно встал так, чтобы продолжить очередь. Люди всё подходили, и только, быть может, через четверть часа, когда составилась приличный хвост, кому-то пришлось в голову поинтересоваться, что же продают там, впереди. Быстрого ответа на этот вопрос не нашлось, и порядок сам собою расстроился: одни пошли вперед узнавать, в чем дело, и не вернулись; другие, сами поняв ошибку, оставили строй и разбрелись куда попало; от беспорядочного, без дела, брожения набережная сразу как-то загустела, заполнилась людьми, более чужими для Мирона, чем обычные прохожие, которых никогда не замечаешь и не сносишься с ними; связанный с этими чем-то общим, он не забывал о необходимости искать между ними и проследить дальше неведомые связи, то есть как раз замечать и сноситься - и это отдаляло его. Отчуждение, казалось, чувствовалось на расстоянии, и если обычно на Мирона, одного из тысяч на улице, не обращали внимания, то здесь его приближение к любой группке праздных болтунов немедленно настораживало их. Пополитов готов был подумать, что каждый подозревает в нем того, кем он и является.

Цель своего прихода сюда Пополитов знал твердо, но плохо представлял, что тут делают другие; вопрос Павла Потаповича оказался неразрешимым. Он еще смог бы объяснить смысл какой-нибудь демонстрации протеста, но не видел проку в нынешнем движении толпы; он не понимал, что та живет легко, лишь будучи охраняема от сомнений здоровым чувством стадности, и, где образуются стада, чует издалека. В тех, что образовались сегодня, все было просто: начальство, кураторы, агенты, пастухи и подпаски

(а раньше были бы еще парторги и пропагандисты), согнав подопечных в одно место, совали в их руки, через одного, по желтому флажку или по портрету Вожагого и сплоченными рядами гнали их на площадь, перед светлые очи властей, отправлять ритуал. Бесплезно было бы рассуждать о возможных переменах в случае, когда бы народные массы не построились в ряды и не прошли бы перед трибуной. Пополитову невдомек было, что высокие чиновники лишь порадовались бы возможности попивать свой праздничный коньячок или пиво уже с утра, в кругу семьи, вместо того чтобы несколько часов кряду стоять на ногах (если только за барьером трибуны не были устроены незаметные подпорочки), что было явно непривычно для них, месяцами не ступающих на родную землю, если только не считать двух шагов поперек тротуара, от подъезда до лимузина.

Если другим здесь не находилось мало-мальски полезного занятия, то и пополитовское дело оказывалось несрочным; к тому же мимолетное воспоминание о пиве не прошло даром, и Мирон начал всерьез подумывать о том, не оставить ли это общество ради более любезного душе. И он оставил бы, если б его не привлекли внезапные звуки фортепьяно из чьего-то окна.

- Праздник, а она уроки делает, - восхищенно сказал он вставшему нечаянно рядом пожилому человеку.

- Кто - она? Вы ее знаете?

- Вот, играет...

- Благодарь, - согласился тот. - Что-то тут... довоенное, что ли...

- Какая давность! - изумился Пополитов, высматривая окно, откуда могла идти музыка, "Собачий вальс"; раскрыты настежь были многие. - И в каких домах живут, паразиты!

Дома на набережной и впрямь обращали на себя внимание; замечательны были и архитектура, и застройка - не сплошная, а с большими разрывами, отчего каждое здание стояло как бы в своем парке. Когда-то, при красной революционной переделке центра, погибли многие бульвары и скверы, и только этот, хотя и израненный новостройками, остался на низком берегу реки, так и прозванный: Остальной сад. Жили здесь, любуясь видом на острова и зеленый супротивный берег, избранные чиновники; когда бы знали, они оскорбились бы тем, что под окнами собирается колонна нищих.

- Надо уплотнять, - без задержки отозвался пожилой на восклицание Пополитова.

- Послушайте...

- Вот я и слушаю - благодать.

- Послушайте, - повторил Пополитов, - вы, наверно, и довоенные демонстрации помните, так объясните, зачем мы сегодня здесь собрались? Пройдем несколько кварталов и разойдемся без толку. Вы-то сами зачем идете на демонстрацию? Что она вам?

- Зачем? - собеседник озадаченно поскреб в затылке. - Раньше, помню, нельзя было бы не пойти, с работы могли выгнать или посадить как чуждый элемент, поэтому мы и ходили все. Ну, и чтобы выпить по дороге. А сейчас? По привычке, что ли. Да ведь и велели идти всем нашим, чтобы были как все люди.

- А все люди зачем? - занудно допытывался Пополитов, который и на общий вопрос Павла Потаповича не смог ответить, а уж в демонстрации нищих и подавно видел совершеннейшую дичь. - Самое главное, что вот я иду с удовольствием, а не понимаю, что все это значит.

- Все это многое значит, - вступил в разговор третий, тоже немолодой (молодых что-то не попадалось здесь) мужчина с забинтованной головой. - Надо показать народу нашу организацию. Чтобы не думали, что это кучка мошенников.

- Кучка? Разве она невелика?

- Соберутся - увидишь.

Не видя в затее смысла, Пополитов упрямо подумал, что, не выйди эта колонна на площадь, никто не заметит недостачи, а если она все же выйдет - не заметит колонны.

- Что-то ты, парень, совсем темный, - удивился его соображениям перевязанный человек, и Пополитову стало неловко. - Мы только что зарегистрировали свой Фронт, и теперь об этом должны узнать все. Иначе нам не добиться путного.

- Вы не лектор случайно?

- Ежедневно читаю лекцию прохожим - слушать не слушают, а гонорар платят.

- Да ведь невелик Фронт-то, - бросил новый пробный камень Пополитов, кивая на отнюдь не переполненную народом набережную.

- Но тут одни десятники и сотники! - воскликнул первый собеседник. - Умножь-ка!

Услышанного довольно было, чтобы уже сейчас уйти домой: даже непривычный к сочинениям Пополитов чувствовал, что сможет составить свой доклад. Он не рассчитывал узнать еще что-либо полезное; для этого следовало бы продолжить расспросы, но он ума не мог приложить о чем. Однако готовящееся шествие казалось

каким-никаким, а развлечением, и Мирон остался, надеясь в душе на какую-нибудь интермедию вроде пьяной потасовки перед трибуной или дорожного происшествия на перекрестке.

Между тем разговоры, возбужденные им, не затихли, а, напротив, получили интересное продолжение.

- Аристократия, - со смешком сказал кто-то о десятниках.

- В отрепьях.

- Слышали, что сказал Жорж? - спросил человек с забинтованной головой.

- Какой Жорж? - неосторожно ответил вопросом на вопрос Мирон.

- Ты сам-то откуда, если не знаешь? Тебя как звать?

- Федя-Петя, - после недолгой запинки назвалса Мирон, вспомнив, что здесь не в чести законные имена. - Бикса Федей-Петей кличет.

- Так вот, - удовлетворенно кивнув, сказал перевязанный. - Жорж - это ясновидящий старик. Пора бы знать.

- Я просто не понял, что вы именно о нем, - попытался сделать хорошую мину Пополитов. - Что же он сказал?

- Сильный будет в отрепьях и будет гореть - никто не потушит.

- Что-то похожее я и раньше слышал, - ввязался в разговор кряжистый бородач, до того стоявший поодаль совсем безучастно. - Не в церкви ли?

- Это не меняет дела, - не смутился перевязанный. - Сбудутся, значит, древние пророчества. Значит, всем быть нищими и ходить в отрепьях, всем быть с нами.

- И гореть, - напомнил Пополитов. - Только все же лучше всем быть богатыми.

- Тогда в рай не попадешь, - усмехнулся бородач.

- Я лучше на земле в раю пожил бы, - мечтательно проговорил Пополитов, не веривший в загробную жизнь. - А то и здесь живешь, как в аду, и там неизвестно, в какой котел попадешь. На тот свет предварительной продажи билетов еще не наладили. А то славно было бы: за трешку - в ад, на нижнюю полку, а за сотню - в рай, на антресоли.

- В Писании сказано было, - продолжал свое бородач, - что скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем богатый попадет в рай. Нам, значит, дорога открыта.

- Народу объявлена война, чтобы всех сделать нищими. Что же, так все и попадут в царство небесное?

- Мы и так нищие, с нами воевать нечего.

- Сейчас ты скажешь, - едко проговорил человек с забинтованной головой, - что нам можно и с Движением союзничать, ничего страшного.

- Наоборот, мы должны его одолеть, оттеснить как-нибудь. Фридрих Нищий говорит...

- Больно много ты знаешь.

- Думаю много, - серьезно ответил бородач. - На работе больше нечем заняться.

- Чудны дела твои, Господи, - вздохнула рядом какая-то женщина.

Быстро обернувшись, Пополитов увидел Дарью, свою изувеченную соседку. Он не удивился, словно ей самое место было в этом обществе, но спросил, с необъяснимой строгостью в голосе, как она здесь оказалась.

- Только записку передать, - виновато объяснила Дарья.

- Ну, с Богом, - с ненужной важностью словно бы разрешил Пополитов.

Соседка исчезла, и он двинулся дальше.

Собственно, идти куда-то ему не было необходимости - он не ждал встретить здесь знакомых, никого не искал и просто машинально брел по мостовой, надолго останавливаясь там, где натыкался на других, стоящих без дела людей. Во время одной из таких пауз, когда Пополитов загляделся на реку, к нему придвинулся мужчина в дорогом костюме, изобразил улыбку и пожал руку. Достоинно приняв крепчайшее рукопожатие, Мирон безуспешно попытался вспомнить, где они могли видеться, но лицо незнакомца ничего не говорило ему. Скорее всего, тот имел отношение к производству колочей проволоки - Пополитов не помнил и сотой части лиц, мелькавших в проходной; костюм, однако, противоречил этой версии. Стоять истуканом было неудобно, и Мирону пришлось обменяться с чужим незначительными звуками типа "Ну как?" С тем подошли, кажется, еще двое, точно Пополитов не стал бы утверждать, не видел их приближения, но застывшие их фигуры были ему подозрительны. "Прощупывают меня, гады," - подумал Мирон и, чтобы привлечь к себе внимание, сказал нарочито громко:

- А я вас не помню.

На него и в самом деле оглянулись.

- Вместе работаем, - осклабился незнакомец.

- Вместе - это где же? - еще громче попробовал Пополитов.

- Где все, - ответил тот, неопределенно обводя рукой вокруг.

- А я не с ними, - искренне обрадовался Мирон.

Теперь никто не знал, как продолжить диалог, и через минуту-другую молчания эти трое как-то незаметно рассеялись. Пополитов подумал, что Пидержанов, наверно, привлек к делу слишком много своих людей; хуже, если тут орудовали и другие службы. Почувствовав себя неуютно, он пустился на поиски любого хоть сколько-нибудь знакомого человека, пусть не советчика здесь, но свидетеля. Такой нашелся скоро: еще издали, над толпой, Пополитов заметил стриженную под ежик голову. Бикса пробирался к кружку, в центре которого, терпя восторженные взгляды, стоял человек в красном кепи с огромным козырьком. Случайно оглянувшись и заметив Пополитова, Бикса сделал предостерегающий знак, словно просил не спугнуть кого-то. "Брезгует, что ли? Да больно он нужен," - подумал Мирон, останавливаясь в нескольких шагах.

- Там и живу, - услышал он слова обитателя кепи.

- Но запах, запах-то?

- Бабы говорят, от меня лавандой пахнет. На подходах атмосфера, конечно, густовата, но я привык и не слышу, а вот за одеждой приходится следить. Переодеваюсь в шлюзе.

- Кто это? - шепотом спросил Пополитов, все же протиснувшись к Биксе.

- Ясновидящий старик Жорж. Он живет в канализации.

- В дерьме? И дышит через трубочку?

- В дерьме живем мы, - резонно возразил Бикса.

- А там - вишневый сад, что ли?

- Под старыми кварталами есть целый подземный город с площадями и мостами, под новыми - обкомовские подземные ходы; беда только, что карта пропала вместе с обкомом. Ну и трубы, коллекторы. Но ты пока не говори об этом никому: никаким друзьям, никаким властям, потом узнаешь почему. А Жорж, парень не промах, устроил там себе настоящую квартиру, мебели натащил со свалки - все как у порядочных, даже телефон, правда односторонний: он оттуда звонит, а ему - нельзя. Где он точно обосновался, никому не известно, и охотников разведать не находится. Вообще, у Жоржа много секретов.

- Пусть он говорит что хочет, а я уверен: крысы и вонища, - завел кто-то вполголоса, соседу, но и старик Жорж услышал (либо увидел ясно) и, не поворачивая головы, зачастил речитативом:

- Да, дурной запах, для постороннего, но и не так еще будет смердеть здесь, наверно, в самом скором времени. Я уже слышу

непобедимый дух восставших вод. Не за грехи ваши, не как наказание Господне, а лишь как плоды недостойных игрish. Вспомните, что сказано в Библии (читаю по памяти): “И рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и люди не могли пить воду из реки.” Конец цитаты. И дальше: “И сделал Господь по Его слову. Жабы вымерли в домах, на дворах и в полях. И собрали их в груды, и воссмердела земля.”

“Что же это за ясновидение? - разочарованно подумал Пополитов. - Шпарит наизусть Писание - и все дела. Да еще наугад. Сегодня предсказывает вонь, а завтра пригласит кого-нибудь в гости и скажет: “Нюхни-ка! Не то ли я напрозорил недавно?”

- Но это уже было - при царе Горохе, - выкрикнули из кружка.

- Будет, будет, - раздраженно пообещал Жорж. - При нынешней власти.

- Надо б Хихону передать формулировочку, - пробормотал Бикса. - Восстали воды, и воссмердела земля.

“Интересно, а мне не следует ли передать? - подумал Пополитов. - Ничего же не сбудется. Мог бы выдумать и что-нибудь попроще; например, что завтра свет отключат”.

15

Переменчивые ветры перестройки повсюду оставили груды бурелома. В разных хозяйствах обошлись с этим добром по-разному: кто запаса деловой древесиной и дровами, а кто лишь нанес на карту завалы. Нет худа без добра, и прошедшие следом увлеченные географы, невольно проявив больше заботы к вывороченным корням, нежели к пропавшим зря плодам, на своих перерисованных схемах вместе с контурами поменяли и текст, возвращая городам и улицам более или менее родные имена. Эта беспокойная работа прошла по всей России, и не пострадал от нее, быть может, один лишь город, мудро приспособленный к таким передрягам, - столица свеженспекенной Вольной Области. Главная его улица, с надеждою названная встарь Бульваром Последнего Переворота, законно сохраняла свою девичью фамилию при любой перемене режима. Одна из центральных площадей, Мокрая, благодаря печальной двусмысленности старинного названия оправдывала его не хуже Красной и при царях, и при диктатурах; размещение на ней Казенного Дома не имело в данном случае особенного значения; важнее было то, что, лежа в низине, она зависела от капризов реки.

Неподалеку, соединенная с Мокрой уже упомянутым бульваром, расположилась Ритуальная - главная площадь, нареченная, пожалуй, еще удобнее: на ней устраивались военные парады, детские костры, демонстрации, вече и похороны вождей - словом, отправлялись ритуалы, по которым жители судят о наличии, характере и крепости власти.

Что же касается вождей, то крупные завелись в городе недавно, с провозглашением независимости, а то всё тяготели к Москве. Демонстрации известные читателю люди, от Валентины Валентиновны до Саввы Кузьмича, помнили здесь с детства: на них горазды были большевики. Вавочка в нежном пионерском возрасте однажды удостоилась даже чести, поднявшись на трибуну, поднести букет партийному боссу, посылно поспособствовав этим поднятию авторитета правящей силы, именно на такие скетчи и опиравшейся - на физкультурные парады, где тысячи озябших комсомольцев похвалялись великим умением одновременно шевелить конечностями (но ни в коем разе не мозгами), на награждения продуманно назначенных "героев труда" (в большинстве футболистов), на собрания, участники которых оттачивали на них кто актерское, а кто режиссерское мастерство, на те же похороны, наконец, где якобы скорбящей толпе открывали глаза на чудотворные деяния усопших. У Саввы Холуянова воспоминания о шествиях и ритуалах были побогаче, чем у молоденькой учительницы, но и поскучнее: на красную трибуну к отцам Области его не подымали, такого обыкновения не знали в годы Саввина детства, и, значит, не одаряли к празднику ни коробкой конфет из тайного буфета, ни билетом на зрелище, ни фунтом хлебushка, зато следили, чтобы непременно оказывался в числе демонстрантов и первого мая, и седьмого ноября вместе со своей школой, техникумом, со своим заводом, управлением, Советом. Когда бы он дал себе труд припомнить все эти манифестации по порядку, то нашел бы, с понятным разочарованием, что они отличаются одна от другой разве что портретами вождей: чем ближе к современности, тем чаще сменяющимися, до полного исчезновения при Горбачеве. Общим в них было то, что участники сначала, по дороге, пили, а потом, перед трибуной, пели и кричали. При том же Горбачеве враз иссякли и водка, и песни, и лозунги. Теперь портреты и плакаты появились вновь, с остальным же было напряженно. У трезвого Саввы Кузьмича не нашлось бы сил идти через весь город, но его больше не обязывали участвовать: он не значился в списках никаких учреждений, а жил сам по себе.

Несколько не омраченных пролетарскими празднествами лет, в которые даже класс-гегемон, воспрянув остатками духа, заговорил было о налаживании человеческой жизни, завершились жестоким кризисом - отчаянием, голодом и междоусобицами. В общей неразберихе обыватели не сразу оценили значение того, что, заснув однажды в одной стране, они проснулись - в другой, якобы вольной, и что их столичный град живет своею жизнью, а Москва - своею, и что неизвестно, как москвичи, а жители новой столицы снова ходят на работу под бодрые песни Долматовского-Дунаевского и снова славословят партию, пусть и не коммунистическую (большевиков) по названию, а Движение спасителей Отечества - один черт. Под те же песни и марши те же горожане, снова добровольно-принудительно, стали ходить стадами на старомодные демонстрации в дни как воскрешенных, так и сочиненных заново и освященных идей спасения родины юбилейных торжеств.

В этом году Савва Кузьмич счел своим долгом пойти на Ритуальную площадь любой ценой - вывести колонну только что узаконенной организации, которая, много лет собираемая и растимая им, до сих пор сама не ведала о своем существовании. Просочись в низы хоть малейший слух о подчиненности нищих, гордых своею полной свободой, одному неизвестному человеку, самозванца Хихона вмиг не стало бы; потом пошли бы выборы, перевыборы, и с трудом сложенная система распалась бы по кирпичику. К счастью, Савве Кузьмичу удалось сделать так, что любой рядовой член организации считал себя связанным порукою и долгами лишь с несколькими другими - в пределах двора, квартала, улицы, - не подозревая о наличии целой пирамиды, сложенной из подобных дворов и улиц. Внезапно объявленное получение ими неслыханного гражданства республики нищих не могло обрадовать беспечных попрошайек, к тому же настороженных прежними налогами, и Савва Кузьмич очень серьезно отнесся к психологической подготовке подданных. К месту и ко времени нашелся теоретик - старый его приятель Фридрих, и, наскоро придумав с его помощью необходимое учение, "нищанство", Хихон принялся внедрять его в умы непросвещенных масс. За год-другой все, кажется, созрели, чтобы воспринять объявление о торжестве теории Фридриха Нищего; дело стало за подписанием формального акта - и подписать его было никак нельзя. Савва Кузьмич не сумел, не успел сделать это в либеральные годы, когда партии и кооперативы росли как грибы; он был слаб тогда, хотя и не нуждался в средствах; но все же его рубли делали только рубли, а для обретения веса необходимо было, чтобы

миллионы делали миллионы; лучшим из законов природы он считал закон больших чисел. Ему повезло в момент, когда у других опустились руки: свежая власть закручивала гайки, срывая резьбу; многое, недавно разрешенное, запрещалось, но Савва Кузьмич, кажется, ничего не терял при попытке, ибо что может потерять нищий? Он попробовал - и не встретил сопротивления, возможно, случайно подхватив брошенную наугад кость. Доискиваться причин он не стал, последовав принципу: дают - бери, бьют - беги.

Не одно подаяние, но и многое другое Савва Кузьмич брал или прибирал к рукам; как-то незаметно оказалось, что к нему текут самые разные ручейки: и от торговли трамвайными билетами и пирожками с начинкой из котят, и от целой сети холодных сапожников, и от срочного ремонта патрульных бронетранспортеров. Частью доходов следовало делиться, но и это Савва Холуянов обратил себе на пользу, делясь так, против запросов, щедро, что мог, например, при нужде распорядиться даже целой частью полиции.

Сегодня Фронт защиты неимущих впервые выходил на улицы. Состав и величина колонны были тщательно продуманы, и в одном только не был уверен руководитель - в плакатах; ни он сам, ни помощники не смогли придумать подходящих текстов, а цитатам из Фридриха Ницше еще не подоспело время. Для сочинения требовался профессионал, но Савве Кузьмичу не удавалось найти такого среди окружающего сброда. Он искал толкового интеллигента, способного и написать дежурные приказы, и организовать издание газеты, и наладить отношения с телевидением.

Пока что на набережной стояла беспорядочная толпа, ни к чему утыканная голубыми транспарантами. Издали, с крутого берега, откуда спускался Савва Кузьмич, это не выглядело празднично; гораздо больше поднимала настроение просвечивающая на солнце листва деревьев, поднимавшихся над двухэтажными домишками головоломной улицы, неспроста носившей название "Невозможный спуск", особенно справедливое зимою (на углах другой, левой сейчас от Саввы Кузьмича стороны висели таблички "Невозможный подъем").

Утро выдалось пронзительно прохладным (Савва Кузьмич, мысливший стариковскими категориями, сравнил бы нынешний вдох с глотком ледяной простокваши натошак), и в голову лезли строчки из давнишней убогой песенки: "Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней..." Шума, правда, на улицах не слышалось никакого: оркестры пока не собрались, автомобили не ходили, а близость реки обернулась неожиданным эффектом приближения далеких голосов.

Когда он перешел мост, из какого-то распахнутого окна донеслось легкомысленное брэнчание фортепьяно. Играли “Собачий вальс”, забытый теперь и детьми, и взрослыми; играл явно ребенок, коряво и самозабвенно, как и нужно было, чтобы музыка сплелась в сознании с раздражающим видом канареечных флагов (мало кто привык к этому цвету); так только и могла играть девочка, которой все равно, какой праздник на дворе, лишь бы не ходить в школу.

Никто не узнал Хихона, пока тот пробирался среди своих по набережной, но и он не видел знакомых лиц и, усмехаясь, отчужденно, думал, что ни за что, будь посторонним, не назвал бы собравшихся здесь традиционно неимущими. Никто и не должен был узнавать его, кроме нескольких человек в голове колонны; он забавлялся своим инкогнито, пытаясь представить себя глазами подопечных - пожилой благополучный господин, совершающий моцион. Через пару лет он надеялся дожить до собственных портретов над шеренгами - там, где сейчас находил только плакаты, которые совестился читать; о таком оформлении распорядился он сам - рисковал, отказываясь от желтого государственного цвета.

- Бикса, - окликнул он, найдя наконец своего человека.

- С хорошей погодкой, - склонился тот в дурашливом поклоне, не выпуская древка транспаранта “Лучше протянуть руку, чем ноги”. - Что будем делать с этим ополчением?

- Построим в роты или батальоны, я в этом не разбираюсь, и - ленинским курсом. Как-никак, сегодня день смотра сил трудящихся. А силы есть.

- Жаль, нет плаката “Неимущие всех стран, соединяйтесь!”

- Упаси Бог, - ужаснулся Савва Кузьмич. - Мой предел - отдельно взятая Вольная Область, больше не потяну. Помни: жадность фраера сгубила.

- А я было думал...

- Думать вредно. Слушай старших да на ус мотай.

- По усам, сам знаешь, течет, а в рот не попадает.

- Тебе, вижу, попало-таки, с утра пораньше? - потянул носом воздух Савва Кузьмич.

- Я поэтому усы не отпускаю, - понизив голос, доверительно сказал Бикса.

- Сегодня я тебя понимаю.

Странно, но Савва Кузьмич волновался перед действием; те, кого он вел, тоже чувствовали себя не в своей тарелке, не привыкнув собираться группами, не понимая, зачем это нужно сейчас, и пугаясь собственной многочисленности.

- Где же музыка? - вдруг вспомнив, вскричал он с возмущением.

- Вот, - указал Бикса в сторону, откуда доносилось фортепьяно.

- Не валяй дурака. Где сводный оркестр? Тебе было поручено.

- На подходе, - на всякий случай невозмутимо солгал Бикса.

- Это же... - Савва Кузьмич не находил слов.

- Тут ведь какое дело, - почесал Бикса в затылке, - день-то праздничный, базарный; народ идет выпивший с утра, добренький. Грех упускать заработок, вот ребята и играют по дороге в свое удовольствие. Ты, небось, и сам заметил.

- А ты заметил, вот и пресек бы безобразие.

Речь шла об уличных музыкантах, из которых Савва Кузьмич придумал составить сводный оркестр нищих. На репетиции приходило до ста человек - сегодня пока не было ни одного. Теперь он припомнил, что и в самом деле видел у вокзала небольшой джазик, трио; ему не пришло в голову, что это - ослушавшиеся его люди.

- Дурацкое дело, - раздраженно бросил он, махнув рукой в ту же сторону, что и Бикса, - в сторону жилых домов с легкомысленным пианино (но и в сторону скрытого ими квартала правительственных зданий, предварявшего Ритуальную площадь).

- О чем это вы? - подозрительно осведомился один из двух проходивших мимо полицейских.

- "Собачий вальс", слышите? - поморщился Савва Кузьмич и, так как полицейские никак не отозвались на эти слова, охотно разъяснил: - Мне как-то приснилось, что меня поставили к стенке во дворе, а с улицы доносилась вот эта самая дребедень.

- Сон в руку, но почему - собачий?

- Под него пляшут собаки в цирке, - предположил второй полицейский.

- Но в центре запрещено держать собак! - воскликнул первый.

- Пойдем, проверим.

- Да, вот так скажешь безобидное словцо... - озадаченно проговорил Бикса, глядя им вслед. - Но смотри, Хихон, вот и наша музыка!

Навстречу полицейским, заставив тех посторониться, брели нетрезвые музыканты: саксофон, труба и два банджо. Увидев свое начальство, они встали по стойке "смирно", подпирая друг друга.

- А остальные? - вырвалось у Саввы Кузьмича; спрашивать следовало не у них.

- Контрабас мы отпустили домой, - ответил трубач. - Он же не может играть на ходу.

- Где ж вы были? Посмотрите на часы.

- На похоронах, - без задержки ответил трубач.

- На похоронах! - схватился за голову Бикса. - Они год как запрещены. А пока что власти уже думают, что похороны устраиваем мы - здесь, сейчас. Играйте скорее что-нибудь. Веселитесь, господа нищие!

Собравшись с духом, музыканты заиграли подобающее случаю - шубертовскую "Песню мельника"; с недавних пор, после сочинения нового текста, она звучала по несколько раз в день и по радио, и по телевидению, в кафе и на эстрадах. Из свежесочиненного текста, сработанного одним из руководящих поэтов, становилось ясно, что и смысл, и радость жизни заключаются ныне "в Движенье, в Движенье".

На душе у Саввы Кузьмича полегчало - быть может, в плохом настроении и в самом деле был виноват детский вальс. Ему показалось, что и другие оживились. "В старое время, в моей молодости, сейчас начались бы пляски," - подумал он и только тут обратил внимание, что на набережной преобладают мужчины и танцевать им не с кем и что бросается в глаза большое число калек и увечных: хромых, горбатых и слепых. "Ополчение!" - повторил про себя Савва Кузьмич и выругался в сердцах. В эту минуту совершенно неожиданно для него как раз и начались танцы. Среди собравшихся проскользнули несколько чужих молодых людей со скромными, свитыми в шнурочки, желтыми повязками, и кого подтолкнули, кому шепнули что-то на ходу, после чего демонстранты вдруг осознали, что пора проявить свое как бы сдерживаемое праздничное настроение. Раскрашенные девушки в национальных костюмах ударили ножками в такт музыке, сразу образовав вдоль набережной живые кружки, и народное веселье сделалось очевидным.

Один кружок сложился и возле самого Саввы Кузьмича, и рослая красотка в цветастом сарафане остановилась перед ним, вызывая.

- Я, голубушка, свое отплясал, - невольно попятился старик.

- Вспомните, как вы это делали.

- Если я начну вспоминать все, что я делал, кончится тем, что меня унесут на носилках, - продолжал он сопротивляться, но юноша со шнурком, цепко взяв под руку, уже направлял его в круг. - Как я

это делал? Я плясал вприсядку!

- А мы потопчемся потихоньку, - улыбнулась девушка, обнимая его за шею. - Вот видите, как хорошо получается. И совсем не страшно.

- Скинуть бы годков тридцать... Но у меня и так праздник, - не придумал лучшего Савва Кузьмич, с опозданием сообразив, что хорошо было бы сказать: двойной. Но и этот, одинарный, вскоре испортили.

- Сав... Хихон! - вдруг метнулся к нему человек с забинтованной головой, и в толпе многие встрепенулись, вытягивая шею, чтобы разглядеть знаменитого предводителя.

- Что, Уклонист, что такое? - с досадой оставляя красотку, отозвался Савва Кузьмич. - И что за вид у тебя?

- Ерунда: беседовал вчера с нашим новым полицейским. Но тут другое. Телегу увели!

- Какую? Как, что? - растерянно бормотал Савва Кузьмич, вполне, однако, представляя, что речь идет о единственной их тележке на велосипедном ходу, на которой был смонтирован транспарант - визитная карточка Фронта. Рушилась вся его затея: анонимной колонне нечего было и выходить на площадь. Как это случилось, его на самом деле еще не интересовало, в исполнителях же он не сомневался: кража тележки могла быть только шалостью Службы безопасности Движения.

- Они окрысились на название, - запинаясь, сообщил Уклонист. - Мол, в Вольной Области не может быть неимущих. Я пытался втолковать, что название прошло цензуру - куда там! С Казенным Домом трудно спорить.

- Вот урок на будущее: имей с собой краску и кисти, - расстроено заметил Савва Кузьмич и уже собрался сказать, что советует всем потихоньку, если смогут, разойтись по домам, как обнаружил, что у него завелась небольшая, но подходящая к случаю мыслишка. Неуместно рассмеявшись, он успокоил Уклониста: - Не бери в голову. Против ветра не плюнешь. Давай-ка лучше подышим воздухом, полюбуемся видами, пока дозволено.

Вид и в самом деле радовал глаз - более живописного не нашлось бы в округе: с одной стороны - река с двумя зелеными островами и высокий, тоже весь в весенней легкой зелени, берег, наискосок перечеркнутый спуском; с другой - добротные витиеватые здания, просторно стоящие в саду.

Ритуальное место лежало недалеко отсюда, но колонне предстояло двигаться кружным путем, как самолету перед посадкой,

чтобы выйти не поперек, а вдоль площади.

После битого часа танцев и пения народно-патриотических песен (уже под большой, собравшийся наконец оркестр) снова прошли через толпу чужие люди, захрипели рации, и по всему берегу пронеслось от человека к человеку: “Двинулись! Живо!” Кое-как построились шеренги, девы в сарафанах растворились в зеленых дворах, дети на всякий случай упустили парочку воздушных шариков, и колонна поползла (задняя часть ее, поначалу, - в неправильную сторону). Впрочем, уже за первым поворотом процессия приобрела более или менее упорядоченный вид.

Последняя прямая была - бульвар, по которому так и захотелось разбежаться, чтобы скорее потом одолеть светлое неживое пространство перед трибунами и громадным зданием, в котором соседствовали Областная Дума и Совет Управления Движением - СУД; если бы не ритм марша, так и получилось бы.

На площади, в последний раз оглянувшись на своих, Савва Кузьмич, вздохнув, сдернул кепку и протянул ее перед собою. То же проделали и те пятеро, что шли рядом с ним, и вся первая шеренга, а потом и вся колонна. У зрителей не осталось сомнений: идут нищие.

16

С этим домашним заданием Пополитов справился неожиданно легко. Начав с вольного подсчета людей на наберсжной, с умножением результата на десять, он затем с непонятым удовольствием изложил пророчество ясновидящего старика Жоржа (постеснявшись только назвать его домашний адрес) и, уже не в силах остановиться, стал, подгоняемый сладким писательским зудом, расписывать лишнее - как шел в колонне и что видел на Ритуальной площади и перед нею; то, что - перед, поразило его необычайно. Кое-что из тамошнего антуража он готов был увидеть; например, загодя напружиненных автоматчиков в бронежилетах и касках, с оружием наперевес; но были там и совершенно непредвиденные вещи, вроде перегородившей проезд стенки из округлых глубоких рам, какие устанавливаются в аэропортах для обнаружения в карманах металла; каждому демонстранту пришлось пройти через одну из них. У Пополитова рамка, конечно, затрещонила, и, так как это могло произойти лишь в случае проноса оружия, Мирон в первый миг заподозрил сам себя, вообразив, что прихватил с дежурства свой служебный револьвер системы “наган”. В действительности наган благополучно лежал в сейфе, а здесь, на улице, Пополитову

пришлось спешно вытаскивать из карманов и бросать в подставленную корзину железки: связку ключей, горсть мелочи и часы - напрасно, потому что часы от удара тут же остановились, а звонок не унимался; дело оказалось в самом приборе, в котором что-то замкнулось или засорилось. Служащий в штатском направил Пополитова через соседнюю рамку, но к этому времени на звон уже сбежались солдаты; чувствовать их, с поднятыми стволами, за спиной было крайне неприятно, и теперь Мирон хотел, чтобы об этом немедленно и даже в преувеличенном виде узнал майор Пидержанов. Попробовав приукрасить эпизод своими страхами, он не добился успеха: в голову не лезло ничего нового. Ему так и пришлось закончить: “Придумать ничего не сумел. Страшнее не бывает. Прошу возместить поломанные часы. Шептало”.

Поставив точку, Пополитов вспомнил, что не рассказал о том, как на площади пришлось идти между цепочками вооруженных солдат, но это уже не относилось к делу, да и не было ни для кого секретом или откровением; он и сам видел по телевизору и этих солдат, и их симпатичных собак в строю.

Ему страстно хотелось, чтобы адресат, Федор Эрастович Пидержанов, приятно удивился прекрасному письму, чтобы понял, какого приобрел сочинителя. “Что, получил, Пидер Эрастович? - злорадствовал Мирон. - И мы не лыком шиты.” Он не сомневался, что шеф высоко оценит его способности и не останется в долгу. Думая, что при вербовке заручился твердым обещанием квартиры и что репутация славного учреждения не позволит сотруднику нарушить слово, он, как человек трезвый, готов был потерпеть еще с годик - подобные дела, при всем влиянии Казенного Дома, не устраиваются в одночасье; тем нужнее ему было сделать промежуточный шаг: получить бумаги на нелегально занимаемую комнату. Поддержать его в этой малости Пидержанову ничего не стоило.

Пополитов не только не стал откладывать дело в долгий ящик, но загорелся начать его именно сию секунду, пока не пропало вдохновение. Наспех одевшись, он помчался на почтамт - бросить письмо и позвонить.

Майор похвалил его за оперативность, но и остудил пыл; выслушав просьбу о помощи с комнатой, он посоветовал выждать несколько дней - ему тоже требовалось время для необходимых действий. Пополитов положил себе ждать четыре дня.

Искушая себя, он потом прибавил и пятый, и это было пыткой.

Для Исполнительного Собрания отцы города выбрали старинную усадьбу на высоком холме; кроме вида из окон и собственного приятного вида, это место отличалось еще и тем, что в глубине парка сохранились бывшие помещичьи службы, включая теплицы и огороды, и новым обитателям можно было, особенно не дразня посторонних, всегда иметь к столу свежую зелень. Господский дом перепланировали таким образом, что комнаты больше не располагались анфиладой, а соединялись замысловатыми и в большинстве темными коридорами, так что каждая будто бы получила собственный выход в переднюю либо к просторной парадной зале; при всем этом удалось сберечь кое-какую былую роскошь. Для своего нового назначения дом был бы мал, да расположение на холме имело то удобство, что его оказалось легко связать лифтами и переходом с новым просторным зданием, невидимо отсюда стоящим внизу, под обрывом, и вместившим большинство канцелярий. Этот, нижний корпус и был открыт для горожан с их бедами, болезнями и неустройствами. Нужная Пополитову комната располагалась вблизи входа, и в первый свой, с жалобой, визит он, ни шагу не ступив дальше нее, не осмотрелся здесь; теперь же, осмелев, он отметил и убранство холла, и ухоженных девушек и услышал в струе сквозняка аппетитный запах; решив, что всякая контора начинается с буфета, он поспешил туда - и не увидел ничего сверхъестественного: голые стены, мертвый люминесцентный свет, мебель, какую обставляют любые столовые средней руки, и очередь вдоль раздачи. Только меню опечалило Пополитова, оттого что и в нем не было сверхъестественного, а было лишь забытое: селедка, украинский борщ, поджарка с гречневой кашей и компот; заподозрив, что изобилие связано с исключительным событием вроде ревизии или съезда, он поинтересовался у стоявшей впереди кокетливой немолодой женщины, всегда ли здесь кормят на убой. Та развела руками:

- Увы, теперь всегда. Совершенно нет выбора: или ешь, или не ешь.

- А в городе, - напомнил он, - вам подадут какие-нибудь котлетки из хлебного мякиша с запахом мяса.

- Знаете, где есть буквально все? - оживилась она. - В СУДе; ах, что там за столовая! Живая книга Елены Молоховец: и язык, и соляночка, и пирожки с изюмом, и салаты всевозможные... Конечно, чужих не пускают. Меня один из Вожатых провел как личную гостью. Посторонние - пожалуйста на улицу, в "Директиву".

С этим быстро, где с выпивкой было меньше проблем, чем с едою, у Пополитова были связаны свои воспоминания.

- Чтобы у гостей не оставалось сомнений, - продолжала женщина, - там на дверях написано золотом: "Кто у нас не работает, тот не ест".

- Это, кажется, сказал кто-то из основоположников, - припомнил Пополитов, а про себя добавил другое: "Ну уж ради еды наниматься в СУД я не буду. Наемся здесь, минуя отдел кадров".

В нужный кабинет Пополитов вступил потом сытым и довольным (не менее, наверно, довольным и сытым, чем был или выглядел его обитель), искажая таким образом те начальные условия, при которых только и могут установиться нормальные отношения между незванным гостем и хозяином, гулякой и барменом, просителем и вельможей; тут всегда нужна какая-то ступенька, чтобы и при обоюдном молчании свой в доме мог глядеть на входящего сверху вниз. Пополитов так и не понял, достиг ли тот, к кому он пришел, такой степени умиротворенности, когда величина или отсутствие ступеньки перестают ощущаться; осталось также неизвестным, как его собственные сытость и довольство отразились на тоне или итоге беседы, но на ближних подступах к кабинету они явно сыграли свою роль, когда секретарша, сбита с толку неробким видом Пополитова, упустила возможность остановить его на всякий случай. Попал ли он к тому же чиновнику, что и в прошлый раз, после выселения, Пополитов не узнал. Фамилия того, первого, не то вылетела из головы, не то и не была известна, а нынешнего была распространена и бесцветна: Сорокин, обычная лошадиная фамилия, какая и при долгом повторении не останется в памяти, а непременно заместится другою. Что же касается внешности, то прежде было не до разглядывания черт, а теперь Мирон не находил в оных каких-либо достопримечательностей. Только атмосфера показалась ему ощутимо другою: при первой своей попытке Пополитов еще накануне проиграл, проигрался и, не успев обдумать положение, не знал, какого рода снисхождение надо вымалывать у победителя, а сегодня, хотя ничего еще не изменилось и он не приобрел лишних прав, игра все-таки начиналась заново; теперь Пополитов мог позволить себе рискованные ходы, надеясь на неожиданные повороты колеса.

- Неприятный был случай, - начал он, кивая на папку со своим делом; ему все равно не удалось бы обойти молчанием историю с выселением. - Теперь я ученый, начинаю с другого конца.

- Надо обстоятельно ознакомиться с обстоятельствами, -

добродушно скаламбурил чиновник, видимо, не в первый сегодня раз, потому что улыбнулся - через силу. С этими словами он отодвинул от себя нераскрытую папку.

- Могу объяснить устно и в двух словах, - поспешил сказать Пополитов, будто бы невзначай подталкивая папку назад. - Дом идет на снос, но когда-то еще сломают, а некоторые комнаты пустуют - отчего бы и не занять одну временно? У меня там друзья живут. Дом - на снос, а это значит, что его как бы и нет; значит, мне и ордера не нужно, а только - чтобы не выгнали силой.

- Ну, а вдруг, к несчастью, снесут все же дом-то? Вам ведь придется выделять новую, причем уже полноценную жилплощадь. Оснований для этого нет пока никаких, но вы же за горло возьмете, а? Станете шуметь, что вас выкидывают на улицу. Просто удивительно, как это никто не хочет понимать, в каком положении находится город.

- Если снесут этот, то есть и еще такие же дома. Я бы и подписку дал.

- При тех задачах, что поставлены Движением, - не слушая его, продолжал чиновник Сорокин, не забыв снова отодвинуть папку, - такие частные вопросы, как жилищное строительство, отступают на второй план. Посудите сами, что важнее в условиях военного времени - строительство гражданского жилья для тех, кто уже где-то живет, или лагерей для пленных, у которых вовсе нет крыши над головой? То-то. А тут еще и Программа Нарастания требует мобилизации всех ресурсов. Немудрено, что населению приходится мириться с некоторыми неудобствами - временными, подчеркиваю; но зачем же эти неудобства усугублять, как это делаете вы своими непомерными требованиями?

- Если дом снесут, то другие такие же останутся, - упрямо повторил Пополитов. - Вам не придется искать для меня новую жилплощадь: я опять старую найду. Мне бы пока пожить, а там видно будет. Я и после сноса там поживу.

- Мне и сейчас видно, - почти грустно сказал чиновник, отодвигая папку еще дальше, - что у вас нет оснований. Что характерно. Сделать исключение никак невозможно. Да и обстоятельства туманны. В свете насущных проблем...

- ...мое дело выеденного яйца не стоит, - удачно вставил Пополитов, отодвигая папку подальше от себя. - Но я ни дня в своей жизни не спал в собственной кровати: то детдом, то казарма, то общежитие.

- Дайте мне пару дней на ознакомление с делом.

- Вы уже ознакомились. А хотите почитать - я отсюда вижу, что там всего три листика, - прочтите сейчас. Минутное дело. Неприятно, конечно...

- Вас, я догадываюсь, уже выселяли? - с надеждою спросил Сорокин.

- Как раз об этом мне и хотелось рассказать.

- Придется повторить. Не рассказ, а выселение.

- Не выйдет, потому что для этого мне сперва надо вселиться.

Я же сказал вам, что на этот раз начинаю с другого конца. Комнату эту никто так и не занял, вот я и прошу вашего разрешения. Я теперь стреляный и хочу добиться всего путем. А пока приходится ночевать в "общаге" - надоело до смерти, это же тянется всю жизнь. Я круглый сирота...

- Это мы проверим, как вы не живете, с кем живете, отчего живете до сих пор.

- А с этих пор хорошо бы начать жить в своем углу, - уже машинально произнес Пополитов, поняв тщетность своей затеи.

- Что вы заладили? - поморщился чиновник. - Русским языком сказано: нет оснований. И не такие люди ночуют на улице. Вы думаете, будто заслуживаете исключения; так отчего же ваше учреждение, где вы работаете, не похлопочет за вас?

- За дом, который снесут?

- Видите, оно не торопится с этим. Мы не можем поступиться основополагающим принципом: "От каждого - по его способностям, каждому - по его труду". Что характерно.

- Чем лучше живешь, тем лучше работаешь, - полувопросительно сказал Пополитов.

- Буржуазная мысль. Но дайте-ка ваше заявление, - вдруг решил Сорокин и поразился, узнав, что проситель явился без заготовленной бумаги. - Что это за прошение - на словах? Выйдите к секретарю и напишите заявление по всей форме, в двух экземплярах.

Это сочинение досталось труднее, чем рапорт Пидержанову: хотелось написать поубедительнее, разжалобить, но Мирон не знал как. Ко всему прочему, секретарша, сославшись на дефицит, выдала бумаги в обрез, и пришлось обойтись без черновика. Лишь через полчаса Пополитов принес выстраданное заявление в кабинет. Чиновник внимательно - и не раз - прочел текст, удовлетворенно хмыкнул, попросил заменить неудачное слово и, разинув дорожную авторучку, размашисто начертал наискосок: "Отказать".

Подпись его выглядела так: 40ин.

По старомодным правилам ухаживания следовало развлекать Валентину Валентиновну без оглядки, но фантазии Ивана Сергеевича не хватало на выдумывание забав. Прежде всего им мало где можно было показываться вместе из-за опасности разоблачения если и не самим Димой Димуриным, незнакомым Гоголеву (и оттого грозным) ее мужем, то какими-нибудь друзьями дома или доброжелателями. В таких случаях лучше всего скрываться в неосвященных углах, но не мог же Гоголев всякий раз ходить со своей дамой в кино, давно миновав возраст, когда почитают за счастье, сидя хотя бы и на самом скверном фильме, гладить девичью ручку, даже и не различая черт возлюбленной. Ему пристало бы водить женщин в рестораны и катать на яхтах, да все как-то не хватало денег; позже появилась и другая причина, исключая мечты о сладкой жизни, - недавние малодушие и подлость отнимали на нее право. Вдобавок к тому, что он оказался в одном лагере с теми, кого считал противниками, вообще недостойными людьми, ему странно было бы прожигать жизнь в ресторане (он именно так говорил про себя и о самых скромных ужинах), в то время как сам недавно благословил человека на укрепление духа в долгом плену. Третьей причиной он мог бы и пренебречь ради Вавочки, но вкупе с прочими и она оставалась важна: он уверен был, что теперь никто больше не кутит на честно приобретенные деньги, потому просто, что много нигде не заработаешь и все посетители ресторанов - либо сплошь функционеры Движения, либо молодчики из частей безопасности или охраны, либо проститутки и бандиты; он не мог поставить себя на одну доску с этой публикой.

Пожоже было, что в городе не осталось приличных мест, и печальными были ностальгические воспоминания о принятых некогда среди интеллигенции обедах в кафе “Универсаль” - с кровавыми бифштексами, с непременно яблочным пирогом и с кофе в мельхиоровых кофейничках, всё вместе - за два рубля. Эти былые прелести пропали в такой последовательности: мясо, кофейники, интеллигенты, яблочный пай, кофе. С новым поколением едоков не вязались ни антикварный антураж зеркального зала, ни мельхиор, ни старые цены, ни хорошее воспитание. Чтобы отбить у себя охоту вновь переступить порог “Универсалья”, достаточно было представить себе застольный диалог каких-нибудь мелких вожатых Движения или отработавших смену путан, не говоря уже об их манере есть - без ножей, разрывая куски молодыми крепкими зубами.

От нынешних светских бесед воротило с души, но, вопреки ожиданиям, новая избранная публика не срывалась на мат. Обратив однажды на это внимание, Иван Сергеевич вдруг понял, что и вообще не слышит больше этого неповторимого наречия ни от кого, в том числе и от последнего ханыги. Это открытие подвигло учителя литературы на долгие размышления. Сделанный вывод был горек: матерный язык оставался последней, не отнятой у человека степенью свободы; теперь же народ закабалили настолько, что в его жизни не находилось места и соленому слову.

Что же до дурных манер, то Иван Сергеевич вдоволь насмотрелся их в школьной столовой - слишком насмотрелся для того, чтобы мириться с ними еще и в свободное время. В школе к ним хотя бы вынуждали; ножей, например, там не бывало отродясь - на совершенно законном, оказывается, основании. Столовая, как разъяснила любопытным сестра-хозяйка, принадлежала к некой четвертой категории заведений - по особенной табели о рангах ножей в таковых не держали. Пытливые аналитики легко могли предположить существование и пятой категории, исключаящей напрочь еще и вилки. Если же есть и шестая... Но и она есть где-нибудь в нашей стране чудес.

Пятая категория во время разрухи стала, пожалуй, самой распространенной в Вольной Области - именно с ней издавна имели дело солдаты, заключенные и самые жалкие, истинные нищие; позже им пришлось передать свой опыт большинству жителей. По тому, как делил для себя общество Иван Сергеевич, это уточнение - истинные - было крайне необходимо сделать, потому что к неистинным, нежалким нищим он относил себя, своих коллег и вообще большинство людей, живущих на зарплату. Вслух он часто говорил, что живет хуже лифтера с Мадагаскара, хотя и не имел представления о тамошней лифтерской жизни; как и у всех нас, у него были основания предполагать, что, во всяком случае, названные служители могут позволить себе содержать автомобиль или любовницу. Иван Сергеевич не мог.

Попрошаек из подземного перехода он не назвал бы жалкими, после того как прикинул их выручку; по его мнению, они-то могли жить, как мадагаскарские лифтеры. Все же, спрашивая себя, мог ли бы он ради Вавочки, ради приглашения ее на ужин, пойти с протянутой рукой, Иван Сергеевич с ужасом осекался. Пойти на это он мог бы, наоборот, лишь как на жертву, чтобы обездолить себя - не ради греха, а во искупление грехов, хотя бы того самого, последнего, о котором он не забывал теперь. Ему очень трудно было совместить в

уме одно с другим: попрошайничество изначально было для него падением и казнью, но и не могло быть наказанием, оттого что сулило деньги и свободу. Даже и привычных удобств не лишился бы учитель, вступив в круг побирушек, а продолжал бы жить в собственной квартире: вовсе не обязательно было нищим ночевать на чердаке всесером под одним одеялом.

Он весело хмыкнул.

- Что ты? - спросила Вавочка, сдерживая шаг; соображения литератора, как развлечь ее, запаздывали: решать нужно было сию секунду - они уже вышли из школьных ворот.

- Вспомнил сюжет из своего детства, - улыбнулся Иван Сергеевич. - дело было классе в девятом. Мы писали классное сочинение, а у меня кончилась тетрадка, и понадобилась чистая. Одна как раз лежала в портфеле; в ней я, забавляясь накануне, сплошь изрисовал первую страницу, сделав подобие обложки триллера с названием на английском языке: "Семеро нищих под одним одеялом". Готический роман. Нью-Йорк."

- Seven beggars under one blanket, - смеясь, перевела Валентина Валентиновна.

- Именно так. Не помню только, откуда это взялось. Может быть, из кукольного спектакля, который каждый из нас тогда пересмотрел по три, по четыре раза, чтобы послушать джаз: другой возможности не было. Спектакль же был пародией на голливудский боевик. По ходу действия там перечислялись названия фильмов: "Старушка в тисках любви," "Смерть в унитазе"... Была там, наверно, и эта великолепная семерка. Мой же анекдот оказался в том, что я, начав классную работу на чистой странице и показав соседу по парте - первую, с красочной "американской" обложкой, в шутку пообещал так и сдать тетрадь на проверку, на самом деле, конечно, честно намереваясь в последний момент вырвать лист.

- Излишне говорить... - перебила Вавочка.

- ...что вырвать я забыл.

- В итоге - двойка? - сладострастно спросила она.

- Ну уж, простите. Четыре балла! До тех пор ниже пятёрки по русскому письменному и литературе у меня не бывало.

- Баловали вас. А мы зверствуем. Вот скажи, какую кару ты придумал для Федина?

Но Иван Сергеевич был не в курсе дела.

- Боже мой, об этом сегодня говорит вся школа! Ты не слышал, что случилось в восьмом "а" на географии? Федин уронил Баржу.

- Какую баржу? - он невольно поправил ударение. - Модель?

- Ты словно с луны свалился. Баржа - это Нина Сергеевна, географичка.

Добравшись до перекрестка, они остановились, не зная, куда идти. Основная масса учеников и преподавателей уходила налево, к широкому проспекту, и только единицы направлялись, не сворачивая, по узкой дорожке между домами - до ближайшей остановки транспорта здесь было вдвое дальше.

- Куда ты меня поведешь? - спросила Валентина Валентиновна.

- Куда прикажете.

- Понятно: программы нет.

- Есть, почему же. Поедем ко мне.

- Экая прыткость! В любом случае давай-ка отойдем от столбовой дороги, чтобы коллеги-попутчики не привязались с разговорами о работе. К тебе сегодня мы не успеем. Так что давай отъедем куда-нибудь подальше, а там завернем в любой кафетерий, где найдется пара стульев. Есть у тебя талоны на спиртное? Нет? Ладно, не беда, у меня остался талон на спички, на него дадут полпинты какого-нибудь зелья. Вся Область пьет напропалую - что же нам-то отставать?

Они углубились в темноту между домами.

- Да, о Барже, - вспомнила Валентина Валентиновна. - Входит она после звонка в свой кабинет, поздоровалась, все чин чинком, и тут ребята наперебой начинают тянуть руки: у одного пропал портфель, у пятого, у десятого - у всех. Пропажи нашлись через секунду, потому что вещи попросту были заброшены на шкафы - думаю, что самими же хозяевами, да поди докажи; но ведь пришлось доставать, разбираться, где чей, вытирать с них пыль, так что гвалт стоял несколько минут. К чести Баржи, она перенесла это спокойно. Когда же инцидент был исчерпан и Нина начала урок, вдруг открывается окно - это на третьем-то этаже! - и снаружи в класс входит Федин, вернее, спрашивает, можно ли войти. Вообрази только: парень стоит во весь рост в проеме окна, с портфелем в руках, и спрашивает елейным голосом: "Нина Сергеевна, можно войти?"

- Представляю себе картину! - расхохотался Иван Сергеевич.

- А вовсе и нет! Потому что это не всё: вся прелесть в том, что Баржа только глянула на Федина - и грохнулась на пол.

- Да, у нас работа не для слабонервных. Но парень-то как же - висел там на руках?

- Нет, всё гораздо проще. Вспомни, что наружная лестница, которая ведет на второй этаж и с которой директриса вещает на митингах, находится под географическим кабинетом, а козырек над последней площадкой - как раз под одним из окон. Портфель Фебина оказался на этой самой крыше, вот он и полез доставать его и, присев, ждал начала урока.

- Можно было придумать и наоборот! - воскликнул Иван Сергеевич. - Обнаружив, что портфель лежит на козырьке, выпрыгнуть с криком: "Прощайте, Нина Сергеевна!" Итог, правда, был бы одинаков.

- Эх, Гоголев, Гоголев. С вашей фантазией вам в школе долго не продержаться, исключат. Экий вы озорник, Гоголев!

- А славно, что живы наши бурсацкие традиции!

- Слышала бы наша директриса речи лучшего литератора!

Их содержательная беседа прервалась с выходом к остановке; одновременно подоспел и автобус - набитый битком, осевший от перегрузки набок. Внутри, продавливаясь между неподатливыми телами, невозможно было сохранить ниточку даже самого пустячного разговора, да и любое слово оказывалось сказанным на ухо либо в лицо незнакомому человеку; здесь только и можно было, что обменяться репликами по поводу маршрута, не очень, кстати, понятного обоим оттого, что на остановке, в спешке, они даже не посмотрели на номер и сели наугад, лишь бы скорее уехать, а потом чужие спины и шляпы помешали толком рассмотреть улицы. Соседи, из тех, что могли смотреть в окна, не помогли ни словом.

Увидев отблеск рекламы, Иван Сергеевич решил, что пора выходить, и кивнул Вавочке. Вывинтившись неким обратным вращением из спрессованной массы, они оказались на довольно малолюдной площади. В двух шагах моргала ущербная неоновая вывеска кинотеатра "Глаз народа", а чуть поодаль дразнил прохожих лживыми муляжами в витринах продовольственный магазин.

- Вон куда нас занесло! - удивилась Валентина Валентиновна. - Я была в полной уверенности, что мы ехали на кольцевом и попали на Русский Пляс. Впрочем, так оно и лучше: с глаз долой.

С глаз долой оказалось за углом магазина, если подняться на второй этаж; теперь здесь размещался скудный кафетерий, а прежде работала уютная рюмочная, в которой проводили пустое время несчастливые мужчины. В первые перестроечные годы водку заменили тут на кофе, а потом так и пошли менять: кофе - на

ячменный эрзац, эрзац - на соки, соки - на кока-колу. С импортной кока-колой тоже случались перебои, и посетителям не возбранялось приносить с собой кому кофе в термосе, а кому, как сейчас Ивану Сергеевичу, водку, только что полученную в магазине по Вавочкиному талону.

Посетителей не было, если не считать двух школьников, купавших жевательную резинку. Гоголев взял тарелку черных сухариков.

- Мы с тобой как заправские алкоголики, - улыбнулся он, разглядывая наконец Вавочку, из-за толстой кофты похожую сейчас не на анютину глазку, а на пушистую шмелиху, - разливаем чуть ли не из кружки и закусываем черняшкой.

- Да нет же, тут совсем, как в школе: обед задан на дом, устно...

- Наизусть, - поправил он.

- ... а водка - по-русски, со словарем.

- Есть ли какой-нибудь выход? - вдруг спросил он, думая о своем.

- Не думаю, что Движение бессильно, - невпопад ответила Валентина Валентиновна.

Гоголеву как-то не хотелось вспоминать, что эта милая англичаночка не так давно добровольно примкнула к Спасителям Отечества, которым он сам отнюдь не сочувствовал.

- Не говори, что ты сильна: тобой уже владеет слабость, - процитировал он.

- Слабость - оружие женщин, - без задержки кокетливо отозвалась она, ярко улыбнувшись. Свой прекрасный большой рот она демонстрировала постоянно и без малейшего напряжения, так естественно, как если бы всякая секунда бытия радовала или смешила ее, и Иван Сергеевич не уставал любоваться ее зубками, хотя в других случаях, у других людей эта американская привычка вызывала у него невольное раздражение, понятное жителям Вольной Области, выросшим в унижениях: их жизнь больше располагала не ко взаимным улыбкам, а к угрюмости. Не очень шутя, Иван Сергеевич говорил: "Если улыбаться каждый день, то как потом отличить праздник от будней?"

Теперь у прилавка вместо девочек стояли уже двое ребят - того же примерно возраста, лет шестнадцати. Изменив свой пол, пара продолжала покупать жвачку. Продащица, шаря по карманам фартука, пробормотала что-то о потерянном ключе, и ребята вдруг восторженно загудели хором:

- Ключ-уч!

- От китайского секрета, - уточнил один из них, худой и рыжий, и оба загоготали.

- Какие они все дураки в этом возрасте, - улыбнулась Валентина Валентиновна.

- Для них все эти словечки полны смысла, - сказал Иван Сергеевич, - знаю по себе. Ничто ведь не меняется, хотя в мое время мода была совсем другая: мы старались выглядеть мужественнее, чем на самом деле, а наши с тобой ученики - наоборот. Мне кажется, они дичают помаленьку.

- Назад, к природе, - провозгласила Вавочка, как тост. - Завернемся в звериные шкуры. Ах, леопардик... От Диора... Где теперь достанешь натуральный мех? Останется только ходить нагишом. Знаешь, в старину считали, что привидения боятся голых.

- Так это в Англии; какие у нас привидения? - сказал он, думая в то же время: "Не рассказать ли о своих снах?" - но только переспросил: - Назад, к природе? Что ж, нам - всего шаг до неанлертальцев.

- Шаг! Еще скажи, что близок конец света. Разве он возможен?

- Конечно, раз повсюду есть выключатели.

Парни, слушавшие их болтовню, снова загоготали.

- Это очень просто, - вскричал рыжий. - Внимание! Даю конец света!

Перебежав к выходу, он щелкнул выключателем, но нужного эффекта не получилось: осталась гореть часть светильников за прилавком.

- Жизнь продолжается, - не смутившись неудачей, пуще прежнего заорал подросток. - Светопреставление отложено по техническим причинам!

- Оставьте так, - попросил Иван Сергеевич, увидев, что тот собирается включить освещение снова.

- Господину нужно создать интим? У вас агу-агу? Можем пособить.

- Не интим, а уют, - поправил Гоголев, насторожившись в ожидании разбоя.

- А что это за зверь - уют?

- Но в самом деле, что это? - задумался Иван Сергеевич. - Одна из тех понятных вещей, какие немедленно и кратко не объяснишь словами.

- Например? - нетерпеливо перебила Вавочка.

- Боль. Объясните тому, у кого ничего не болело, что такое боль.

- Пожалуй...

- Вот и уют. Чтобы вам, ребята, было понятно: уют - это когда в обжитом доме вам тепло и удобно, когда все нужное вам - под рукой и когда ничто не мешает покою. Уютно, например, читать в глубоком кресле, под лампой с красивым абажуром, и чтобы у ног лежала большая собака. А в общем случае уют - это когда в данном месте всё по душе.

- Здесь-то, в таком сарае, и по душе? - засмеялся рыжий. - Никогда не дождетесь.

- А где же? - заинтересованно спросила Вавочка, как если бы тот мог ответить, как если бы считался знатоком уютных мест.

Ответить ей мог бы один Иван Сергеевич; он-то знал место, к которому, чтобы сделать его уютным, достаточно было бы приложить женские руки (тогда не хватало бы лишь доброго пса), но место это, его квартира, находилось сейчас вне пределов досягаемости единственно из-за нехватки времени. То же могла бы ответить и сама Вавочка, а больше никто не понимал сути дела, и все же именно несведущий человек воскликнул:

- Да вот у него дома.

- Как ты прав, мальчик, - смеясь, похвалила Валентина Валентиновна. - Конечно же, неудобно встречаться в общественных местах: прохожие, как и вы, мешают советами.

- От этого не уйти, - вполголоса заметил Иван Сергеевич. - Когда-то у нас была целая страна "советов". Как видно, остались пережитки.

- Дай-ка, мужичок, хлебнуть, - приказал рыжий. - Я видел, у тебя есть в портфеле.

- Сколько вам лет, юноша?

- Это уж мое дело. Не читай мораль.

- Да нет же, это мое дело, мое, - возразил Гоголев почти обрадованно. - Не имею права поить несовершеннолетних. Буфетчица тотчас донесет, и я не успею даже выйти на улицу. Не ваше дело, а мое пахнет тюрьмой.

- Налей как бы себе, а я стибрую твой стакан - и готово. А ты кричи: "Караул!"

- Похоже, что сегодня День изобретателя.

- Наливай, не отбrehивайся, - потребовал, подступая, второй. Улыбки уже сошли с лиц мальчиков.

- Ша, детки, - хлопнула ладошкой по столу Валентина

Валентиновна. - То, что осталось, мое. С кем из мужчин делиться, я еще посмотрю. Там и без того мало.

- Слабо допить, - ухмыльнулся рыжий. - Ты же отпадешь.

- К незнакомой женщине на "ты" не обращаются - раз, на "слабо" дураков ловят - два, - отрезала она. - Не на такую напали. Но раз наши желания совпадают, то следите, завидуйте. И Ванюше дам глоток: я одна не пью.

- Ванюше! - заржали ребята. - Ванюша! Полный отпад!

- Немного же нужно, чтобы развеселить вас, - поморщилась она. - Вам палец покажи - вы захочете. Налей, Ваня.

В бутылке оставалось еще больше половины, и он вылил все Вавочке. Обещанный ему глоток - из ее стакана - Иван Сергеевич постарался сделать как можно более емким, но особенных успехов не добился.

- Пить - так пить, - принимая стакан, фальшиво пробормотала Вавочка, - как сказал один матрос, откачивая утопленника.

Ребята покатались со смеху.

То, как лихо и с толком его подруга обращалась со шпаной, огорчило Ивана Сергеевича; его огорчило и то, как лихо она разделалась с водкой (и то, что водки не осталось больше).

- Эй, оставь, оставь, - спохватились ребята, но было поздно.

- Всё, дети, представление окончено.

- Как же ты...

Подростки явно не знали, что делать.

- Теперь - кругом и шагом марш! - скомандовала Валентина Валентиновна. - Приятно было познакомиться.

Те и в самом деле сразу удалились - не строевым, понятно, шагом, а вразвалочку, поворотясь кое-как; но и оставшейся паре больше нечем было заняться в бедном заведении. Они допивали кока-колу, но уже ни к чему было растягивать время. Валентина Валентиновна была заметно смущена и для виду упрасивала Ивана Сергеевича не расстраиваться неизвестно из-за чего, потому что он галантно отвечал, будто ничто не может расстроить его, когда Вавочка рядом (хотя в действительности чувствовал себя не в своей тарелке, как и на всяком, наверно, карнавале во время нынешней чумы: снова подкатили дурные воспоминания, но, признайся он в этом вслух, Вавочка справедливо сказала бы: тогда не назначай свиданий).

Между тем с улицы зашли еще несколько человек, снова - молодежь, на сей раз - слишком занятые собою, чтобы обратить внимание на растерянную пару. В помещении стало тесно и шумно, и

им осталось только подняться и уйти.

- Отчего это, Ваня, - спросила вдруг Валентина Валентиновна, - людей тянет заниматься любовью непременно в темноте? Разве это такое темное дело?

- Мы, Вавочка, непременно дождемся полудня, - заверил Иван Сергеевич, не склонный в этот вечер к философии.

- И непременно на площади, - придумала она. - Чтобы мешали советами. Человек ведь считается общественным животным.

- У коммунистов.

- Разве я, Ваня, животное общественное?

Ему захотелось ответить, что это не имеет значения - все равно они живут в стаде.

- Человек, - сказал он печально, - всегда одинок. Особенно если его мучает совесть.

- Совесть - такая вредная штука! С нею не сотворишь никакой мелкой пакости. А это так приятно! Юноша, - вдруг обратилась она к одному из новой компании, - скажите, у вас тоже принято - без света?

- Да, конечно, - спокойно ответил тот. - Только что именно?

- Ну, что делают за деньги, в темной комнате, на белой простыне?

- Непременно за деньги?

- Кино смотрят.

Гоголев готов был сгореть со стыда. "Нужно увести ее поскорее, - подумал он. - Господи, надо же было вспомнить такую - глупейшую - детскую шутку! Впрочем, она еще неплохо держит себя после такой дозы".

- Простите, юноша, пьяную женщину, - пролепетала она, устремляясь к выходу.

Подростки, рыжий и черный, ждали их на улице.

- Как скучно! - воскликнула Вавочка. - Сказано же - никаких аттракционов. В цирке новая программа. Чао!

Те все же потащились следом - через замусоренный скверик, в подземный переход. Спустившись вниз, Иван Сергеевич снова почувствовал себя неуютно, по-прежнему опасаясь какой-нибудь уголовщины; хотя рядом и было полно народу, темный сырой туннель не казался самым спокойным местом в городе. Он прислушался, о чем говорят за спиной ребята; текст был заурядный: сколько бутылок взяли, как посидели, кто кому дал по морде; местная молодежь давно не касалась иных тем насколько можно было судить по обрывкам разговоров в транспорте и в школьных

коридорах.

- Ясно, зачем мы спустились, - пробормотала Вавочка. - Я вижу свет в конце туннеля.

Попшатнувшись, она едва не споткнулась о вытянутые ноги калеки, сидевшего, прислонясь к стене.

- Давай подсобим ему, - загорелась она, указывая на нищего, - войдем в пай. Как думаешь, подадут мне? Из уважения к девичьей красоте?

- Если помнишь, - осторожно начал Иван Сергеевич, - один бывший член Государственной Думы...

- Он был бездарный дилетант. Но талантливый человек талантлив во всем. Дорогие товарищи и прохожие! Подайте, кто может, талончик на спиртное для моего дяденьки!

Забыв о костылях, настоящий нищий вскочил на ноги и с восхищением уставился на нарядную Вавочку. Хохочущий встречный толстяк, суетливо порывшись в бумажнике, вложил ей в ладошку талон. Она, однако, еще продолжала взывать к прохожим, и Гоголев не знал, как ее остановить; ему не столько было неловко за нее сейчас, сколько страшила неловкость в будущем, когда станет вспоминаться этот эпизод. Кроме того, он понял, что неспроста в эти дни обращает внимание на нищих и сходится с ними: его словно нарочно подталкивают к этой теме. В конце концов, в нищенстве ему виделась самая доступная возможность искупления - легче всего было обездолить себя одним махом, бросив службу; не идти же ему было и в самом деле в монахи.

- Гляди, она и впрямь алкашка, - сказал один из провожатых, рыжий. - Двести грамм - и вдребадан.

- Мужик, дай закурить, - потянув за рукав, потребовал у Ивана Сергеевича другой.

Не успел Гоголев собраться с духом и ответить, только еще махнул рукой, как Валентина Валентиновна, описав рискованный пируэт, ткнула ближайшего, черного, кулачком в нос. Через мгновение она уже бежала на неловких каблучках, таща за собою Ивана Сергеевича, и их обоих окликали прохожие и ловили, как преступников. Трезвый ее спутник понимал весь ужас последствий: скандал в школе, скандал с Димой Димуриным, перемена образа жизни на несколько лет вперед. Но судьба хранила его с Вавочкой: потерпевшие, поняв боевое настроение мгновенно сгустившейся на месте происшествия толпы, сумели исчезнуть, явно не желая, даже и в такой роли, иметь дело с полицией.

- Вот так и ограбят, и изнасилуют среди бела дня, -

размазывая слезы, причитала Вавочка, увлекаемая спутником к тому месту, где ей только что мерещился свет.

18

Решив, что Райка скоро отсюда не уйдет, Васек не только не стал комкать трапезу, а еще и по окончании потоптался на месте, вязываясь во всякую болтовню по соседству. Но он ошибся: отпев частушки, девушка исчезла. Он не стал горевать, оттого что ничем, кроме большой груди, Райка ему не приглянулась, и привязаться к ней вздумалось лишь от нечего делать.

Прошло много дней, прежде чем Васек снова встретил ее на том же месте, близ ларька. Райка стояла возле группы железнодорожников в мятых униформах и глядела, как они потягивают свое пиво. “Чем бы дитя ни тешилось, - подумал он, - лишь бы не беременело.” Ему захотелось подразнить путейцев, но ничего забавного не приходило в голову, кроме дурацкого, за какой могли побить, анекдота о пьяном кондукторе и свинье в канаве. Поэтому он только сплюнул в пыль и сказал нарочито развязно:

- Пошли, девка.

Райка узнала его и пошла.

Они не только не переговаривались поначалу, но и шли не рука об руку, а гуськом: он - впереди, не оглядываясь. Единственное, что он услышал, пройдя несколько шагов, было ворчливое предупреждение:

- Полезешь - дам в глаз.

- Что же тогда увязалась? - спросил Васек с искренним интересом.

- Скучно.

- Чем, ты думаешь, я стану тебя веселить? - грубо спросил он и не получил ответа.

Они прошли мимо рынка, откуда сторожа выпроваживали последний народ, мимо зала игральных автоматов, мимо ларька равнодушного старьевщика, которому уже давно не носили старье, мимо унылого остановленного заводика и попали наконец на довольно оживленную улицу с движением трамваев.

- Куда тебе? - спросил Васек, подождав, чтобы Райка поравнялась с ним; она пожала плечами. - Живешь-то где?

Но и на этот вопрос отвечено было тем же пожатием.

- С тобой каши не сварить, - вздохнул он, думая, что девица и вправду годна для одного только дела. - Ладно, пошли, погуляем

чуток, а там я тебя отпущу.

Гулять он намеревался возле автобусного вокзала, где было разбито несколько обширных скверов; ему только и нужно было, что понежиться на прохладной травке.

Между тем наступали сумерки. Освещение будто бы не успело иссякнуть, но Райкино серое лицо посерело еще больше прежнего, и Васька потянуло пощипать, да побольнее, ее щеки - для румянца.

Края каждого из скверов и каждого газона были обсажены высоким, в рост человека, кустарником, который когда-то подстригался, а ныне стоял лохматой крепкой стеной. Кое-где в ней были проломлены проходы. Протиснувшись было в один из них, Васек увидел тут же, под кустом, нелюбезную компанию: с десяток неряшливо одетых юношей сидели кружком на траве, занимаясь неизвестно чем, то есть, кажется, именно ничем и не занимаясь; они сидели на корточках и курили. Васек благоразумно отступил, не задерживаясь, но успев увидеть в отдалении еще несколько таких мрачных кружков.

- Что ты там забыл? - лениво спросила Райка.

- Ишь ты, заговорила, - изумился Васек и объяснил: - Думал отдохнуть на природе.

- Нешто до дому далеко?

- А ты думала, что я тебя домой позову? - усмехнулся Васек, огорчаясь из-за ее расчетливости. Немного спустя, смущенный некоторой туманной догадкой, он спросил: - А у самой есть дом-то?

Дома у нее как раз и не было, и ночевала она, не одну уже ночь, на вокзале.

- Как я уволилась по инвалидности, - рассказала она, - так и из общаги выкинули.

- А родня?

- Родня - на Большой Территории. Туда не вернешься.

- Что ж, отвести тебя на вокзал? - недобрым голосом предложил он, но Райка воспротивилась: незачем идти раньше времени туда, где и ночью, при каком-никаком сне, было тошно. Васек же, коли не вышло порезвиться с нею наедине, торопился избавиться от бесполезной спутницы.

- Погуляем, - попросила она. - Сам сказал.

- Где ж ты собираешься гулять? - спросил он, не скрывая непонятной ей насмешки. - Может, захочешь на Русский Пляс?

На площади Русский Пляс располагались сплошь бары, банки и публичные дома и по вечерам прохаживалась чистая

публика.

- Пошли! - обрадовалась Райка.

- Но в ресторан пойдешь без меня: я не во фраке.

- Без мужчины не пустят, - серьезно сказала она.

- А ты - через черный вход, - не менее серьезно посоветовал

Васек. - Там, внутри, разберешься.

Поняв его так, что там придется раздеться догола, Райка, потеряв дар речи, сделала негодующий жест. Вопрос о ресторане отпал сам собою.

До площади было рукой подать. Настоящий вечер еще не наступил, фонарей не зажигали, но рекламы горели тут и днем; освещены были и витрины выстроившихся в ряд борделей.

- Какие платья! - восхитилась Райка тем, чего почти и не было на выставленных напоказ женщинах.

Чтобы разглядеть получше, она остановилась, но тотчас невесть откуда взявшийся мужчина подтолкнул ее в спину:

- Эй, не задерживайся. Шла бы лучше к вокзалу. А уж кавалер твой...

Подать рукой было и до вокзала. Детина не отставал, наступая на пятки, но Райка настырно пошла вокруг всей площади, глаза на редких пока гуляк и на все, что видно было в окнах. Перед нею вдруг на проезжую часть выскочили два подростка в облегающих костюмах; один из них - с магнитофоном; второй несколько раз изогнулся в такт музыке, заставив случайную малолитражку сделать испуганный крюк, а затем, как бы уже отвоевав себе место, упал на асфальт и завертелся на спине волчком.

- Что это с ним, что? - всполошилась Райка. - Припадок...

- Брейк, - снисходительно объяснил привязавшийся детина. - Такой танец. Погляди, погляди, красавица, поучись, но долго не задерживайся.

Зрелище брейка оказалось, видимо, слишком сильным для Райки. Теперь она сама потянула Ваську прочь и, спустившись в очередной переход, там, на разветвлении, повернула в сторону от площади. Васек, тяготившийся прогулкой, почувствовал необходимость как-то разрядиться. Отойдя подальше от Райки, он вдруг пошатнулся, как пьяный, споткнулся о собственную ногу и заключил в объятия случайного встречного. Невнятно извинившись, он продолжил путь к выходу, опасно клонясь вперед и быстро-быстро, чтобы не упасть, перебирая ногами. Его понесло в сторону, по кругу, который не замкнулся из-за попавшейся на пути лестницы: нога, наткнувшись на порожек, никак не могла на него подняться.

Неожиданная остановка озадачила Васька. Подумав, он закатил глаза и попробовал одолеть препятствие с разбега; однако носок ботинка снова так прочно уперся в камень, что Ваську пришлось встать на четвереньки. После нескольких попыток его все-таки вдруг осенило: нетвердо стоя на одной ноге, он двумя руками с натугой поднял и утвердил наверху другую. Легкий успех обрадовал его, но ненадолго: с отставшей теперь первой ногой дело обстояло плохо, она все цеплялась за что-то позади. Одолев все же первую ступеньку, он посмотрел вверх и сокрушенно затряс головой, расстроившись оттого, что не было надежды пройти лестницу до наступления ночи.

Вокруг собрались хохочущие зеваки. Не обращая внимания на зрителей, Васек взобрался еще на одну ступень и тут, зная меру, вдруг распрямился и с улыбкой, чистым и трезвым голосом возопил:

- Подайте, кто сколько может!

В протянутую кепку посыпались не монеты - ассигнации.

- Смываемся, - кивнул он ошеломленной спутнице. - Как бы менты не набежали.

В действительности он опасался не полиции, а конкурентов - тех нищих, коими был обставлен и этот подземный коридор; мало того, что ими строго соблюдались свои правила, но сейчас могла сыграть роль и зависть к чужаку, за две минуты играючи собравшему на их поле обильный урожай. Пока же или они были растеряны, или номер прошел для них незамеченным, но только никто не окликнул Васька, не поспешил вдогонку и не запустил костью. Васек ушел бы совсем незаметно, когда бы не встреча со своим сборщиком налога; от неожиданности у него упало сердце: работа на чужой территории могла обойтись ему дорого.

- Что ж ты сегодняшнюю выручку не сдал? - спросил на всякий случай сборщик, и Васек понял, что тот не видел происходившего только что внизу.

- У меня выходной, - с достоинством ответил он.

Заработанное в свободные дни данью не облагалось; устав нищих вообще отличался мягкостью.

Сборщик, пожав плечами, сверился с записной книжкой и ушел своей дорогой.

Наспех засунутые Васьком в карман деньги не давали покоя Райке - ей не терпелось узнать сумму; пришлось остановиться и аккуратно сложить бумажку к бумажке - вышло тринадцать целковых. Васек и сам был приятно удивлен успехом, Райка же просто не поверила:

- У тебя, небось, там и раньше были, свои.

- Раньше - в другом кармане, - звонко потряс он полою.

- На эти деньги можно прожить... - она запнулась, не умея быстро сосчитать дни, и потом все же сделала вывод попроще: - На эти деньги можно жить.

- Я живу.

- Ты что, нищий? - недоверчиво спросила она. - Я думала - сантехник. Уж больно ты щедрый.

- Ты, я вижу, тоже не промах, - неосторожно ответил Васек, и девушка немедленно предложила свою помощь; но она только бы мешала ему, и он поспешил растолковать: - Такие, как ты, не просят, они не руками зарабатывают, а другим местом. Вспомни, кто сидел там, в переходе: большие, калеки, дряхлые.

- А ты разве больной? И не старый ведь.

- У меня талант. Это совсем другое дело. А тебе, чтобы прийти в норму, надо полгода пить, не закусывая, а потом ампутировать какую-нибудь веточку, с сиськами в придачу. Нет уж, Раиса, эта работа не для тебя, займись лучше созидательным трудом.

- Ногу отрежу, - решила Райка.

- Ишь, членовредительница, дура, - восхитился Васек. - Погоди, нож заточу.

- Всё насмешничаешь...

- А ты всерьез говоришь? Ну, если так приспичило, приходи как-нибудь к нам; может, и придумаем тебе образ. А пока - показывай, где ночуешь.

Вокзалов в городе было два, если не больше, как считать: Центральный, Малый и бездействующий Новый. Не в такие уж далекие времена, когда нынешняя столица государства была всего лишь областным городом, через нее проходили оживленные пути. Центральный вокзал, удобно помещенный в середине города еще в начале века, стал тесен, досаждал шумом, копотью, проезжими и приезжими, и после долгих споров о деньгах и о проекте власти раскошелились на огромную прозрачную коробку на далекой окраине. Надо отдать должное, там получилась бы неплохая станция - с эскалаторами, с залом ожидания размером с футбольное поле, с ресторанами, баней и кинозалом, с буфетами, отдаленными от уборных, и с ленинским уголком. Торжественный акт открытия не состоялся, оттого что ему предшествовало объявление независимости Области, после которого российские еретические поезда перестали пересекать ее границы: проще было сделать крюк, чем дважды иметь дело с таможней. Новая столица была обречена на провинциальный застой, а теперешним пассажирам стало просторно

и в обветшавшем Центральном вокзале (притом, что работал и Малый, куда прибывала большая часть пригородных электричек). В новостройке, чтобы не простаивала зря, пришлось разместить войсковую часть; солдатам было там где развернуться, и только туалеты не справились с нагрузкой, так что пришлось приспособить для них еще и буфетные помещения.

Поредевшие поезда по-прежнему таскались через весь город.

Две площади - блестящую Русский Пляс и строгую привокзальную - соединял недлинный проезд, в котором теснились необходимые для жизнедеятельности обеих учреждений: винные магазины, травмпункт, парикмахерские, военная комендатура, ломбард, управление полиции, Малая тюрьма (по иронии судьбы или градостроителей Большая соседствовала с Малым вокзалом) и почтамт. На здешних тротуарах не встречалось праздного по виду люда, и даже транзитные пассажиры, не знающие, как убить время, предпочитали миновать проезд, поскорее, переводя потом дух на одной из площадей.

Поднявшись из перехода, Васек невольно принял деловой вид - насколько это было для него возможно. Шаги его зазвучали чаще и громче, как при встрече с полицейским; он словно бы проникся важностью своего дела - доставки по месту жительства несамостоятельной девицы. Ему бы хотелось продлить удовольствие, да улица была коротка: совсем близко, в промежутке между домами, плыли огни подаваемого к перрону состава и доносилась нервная скороговорка диспетчера. Вскоре и помпезный фасад открылся за углом.

Подойти к нему оказалось не так просто: и перед вокзалом, и ближе, у почтамта, судорожно строились баррикады - ставились поперек проезда старые автобусы, нагруженные до окон мешками с песком, сгружались с машин бетонные блоки и металлолом, водружались желтые флаги. Один из работающих солдат отошел покурить, и Васек поспешил расспросить его о причинах перестройки.

- На завтрашний день, - степенно ответил служивый, - правительством назначены народные волнения.

Машины и люди пока еще могли подходить к вокзалу, и все же никакого движения, обычного в прошлом, тут не наблюдалось. Чахлый таксист в одиночестве тосковал у подъезда. Васек вразвалочку подошел к машине, склонился к окошку:

- Свободен?

Просветлев лицом, шофер радостно закивал: свободен,

конечно.

- Тогда выходи, - предложил Васек, - попляшем.

Взбешенный водитель все-таки не погнался за ним, и в двери вокзала Васек вошел уже не спеша.

Как раньше выглядели вокзальные внутренности, он уже подзабыл: много лет не заходил сюда. Сейчас он был сражен открывшимся видом: из зала вынесли скамейки. Если бы освободившуюся площадь пола так и оставили пустовать, можно было бы заподозрить всего лишь грядущую перемену мебели или ремонт, но теперь в самой середине, под старой лестницей, красовались новенькие киоски “Цветы” и “Муляжи и противозачаточные средства”, объединенные над крышей вывеской “Товары в дорогу”. В обоих торопливо раскладывали товар.

- Вот тут, под фонарем, я и спала сегодня, - растерянно проговорила Райка. - Аккурат в середке.

- Аккурат! - передразнил Васек. - Жаль, что люстра не свалилась.

Чтобы рассеять неуместные сомнения пассажиров, прозвучало объявление. Лающий мужской голос, искаженный эхом пустого зала, возвестил:

- Прослушайте распоряжение Службы транспорта и связи: “Вопреки пожеланиям трудящихся и в рамках ранее объявленных правительством действий руководство службы ТиС предписывает провести на всех железнодорожных и автомобильных вокзалах, на пристанях и в аэропортах, именуемых в дальнейшем “транспортные объекты”, следующие мероприятия:

1. Ввести почасовую оплату за пребывание граждан на территориях и в помещениях транспортных объектов.

2. Организовать на транспортных объектах прокат стульев, топчанов и шезлонгов для отдыха пассажиров со взиманием как временной платы за пользование инвентарем, так и залога, величина которого не может быть меньше четверти месячной заработной платы пассажира, подтверждаемой справкой с места работы.

3. При возврате залоговых сумм взимать с оных подоходный налог в установленных законом пределах.

4. Освободить от постоянной мебели так называемые залы ожидания, исключив тем самым возможность злоупотреблений.

5. Перевести работу кондукторов, ревизоров и контролеров на самоокупаемость, для чего взимать с пассажиров стоимость всякой проверки их проездных, перронных и прокатных документов.

6. Во всех билетных и прокатных кассах взимать подоходный налог с возвращаемой пассажирам сдачи...”

- Бежим, пока не поздно, - не дослушав, потянула за рукав Райка.

- Стоя спать умеешь? - поинтересовался Васек. - Жаль. А я в армии научился.

19

Настоящих бездомных среди нищих было довольно мало, а преобладали одинокие и неприкаянные, которым после трудов праведных милее казалось не расползаться по норам, а проводить вечера вместе. В приличные места им мешала заходить экстравагантность туалетов (да ведь и впрямую запрещалось - в спецовках), и потому в городе завелось, за большие деньги, несколько общих помещений для посиделок, словно клубов по интересам. Проведя вечер, участники тут же обычно и ночевали, одни - припозднившись или при физической невозможности успешно достичь собственного дома, другие - по привычке, давно пребывая тут как постоянные жильцы или как части обстановки. Собственно обстановка поначалу в этих местах не предвиделось, и первые посетители (или хозяева, как угодно) устраивались тем же манером, что и на работе: прямо на полу, подстелив какие-нибудь ватники; приходя сюда, каждый приносил нужные в хозяйстве вещи: кто - ящик, призванный служить обеденным либо ломберным столом, кто - матрац, кто - кухонную утварь; покупать крупные вещи в магазинах возбранялось, чтобы не привлекать к себе внимания. Из-за беспорядочности этих приобретений ни одно пристанище не походило на другое, но их и сравнивать не находилось кому, оттого что не принято было (а большинству - и неохота) ходить по чужим компаниям.

Компания, приютившая Пополитова, собиралась в старом доме на окраине. Часть здания давно и безнадежно ремонтировалась, а в остальной помещалась какая-то непосещаемая контора. Фасад насчитывал три этажа, но прохожие, чувствовавшие склонность к исследованиям, могли спуститься в подвалы (чтобы гости не заблудились в темных коридорах и лестницах, чья-то заботливая рука протянула вдоль стен шершавый канатик) и обнаружить там яркую вывесочку “Клуб инвалидов-любителей”. Входящих встречало в дверях чучело медведя с блюдом в передних лапах, в которое в легендарные времена полагалось, быть может, бросать казначейские

и банковские билеты, визитные карточки или перчатки (что именно - не у кого стало спрашивать). Карточек и перчаток у нынешних посетителей не водилось, и какой-то ущербный шутник пристроил на блюде сухую рыбу голову. Происходящего дальше, в анфиладе из трех сводчатых комнат (при смелости назвать их комнатами), с порога было не разглядеть: если что-то здесь и соответствовало временам, когда появилось на свет медвежье чучело, так это освещение. Электричество в доме отключили давным-давно, и вся жизнь проходила при свечах, пристроенных, за неимением канделябров, в консервных банках и на блюдцах. Происходило же там неинтересное для взгляда: серые люди ели, пили, играли в домино или карты, а над ними витал серый табачный дымок. Пришедшему с улицы не разобрать было лиц, и Пополитов, попав сюда впервые, к тому же еще плохо знал новых своих товарищей; сам он как единственный новичок был известен и любопытен всем. Его окликнули тотчас, едва он встал в дверях, с непривычки не разминувшись с медведем. Наугад помахав в ответ рукою, Пополитов поторопился пройти в глубину, минуя играющих в очко; он не склонен был к азартным играм с нищими, которых считал поголовно жульем.

Его позвали не к тому, так к этому столу - во второй комнате, где закусывали. Снова не узнав окликнувшего, Пополитов тем не менее охотно сел на свободное место, быстро оценив хозяйским глазом еду: к ее добыче он имел теперь самое прямое отношение. Непригодному просить милостыню, ему поручили муниципальную, будто бы, службу - сбор на своем участке налога, а затем и снабжение. Продукты добывались им через людей, работающих при магазинах, предельно простым путем: торговцы, справедливо опасаясь, что вид нищих возле прилавков с дорогим товаром повредит коммерции, откупались от них натурой; такая добыча сдавалась в общий котел. Сейчас Мирон мог бы рассказать о происхождении каждого блюда: селедку принес из Центральных рядов Живчик, колбаса добыта в Гостином дворе Поедалой, а овощи - след посещения Канатного рынка Стрекозлом. Только несколько банок тушенки, редкого продукта, не прошли через его руки.

- Со свалки, - спокойно ответили Пополитову, когда он поинтересовался источником.

Для него это было нечто новое.

- Одни выбрасывают, другие подбирают, - продолжал объяснять тот же голос. - Свалка, Федя-Петя, - золотое дно для тех, кто понимает. Там тебе и мебель, и одежда, и харчи.

- Помоги?

- Да нет, ешь, не бойся. Срок годности вышел, вот и вывезли ящик консервов. А они еще сто лет не протухнут. Я слышал, на Севере откопали склад какого-то путешественника - он устроил его аж в прошлом веке - и сожрали всё, что там было, животом не маялись.

- Забавно, - пробормотал Пополитов.

- Забавного тут мало, - обиделся собеседник. - На свалке, между прочим, люди живут - и живут неплохо. Вот, например, есть такой Эсквайр - могу поспорить, что он там устроился лучше, чем ты в городе.

Удар пришелся в больное место.

- Что ж, у него там - газ, ванна?

- Ванна! Именно ванна! Стоит она, правда, на открытом воздухе, под теплым дождичком, но - ванна. И газ не газ, но электрическая плитка у него есть.

Пополитов живо представил себе одиноко стоящую среди помойки ванну, а в ней, в мыльной пене, - бородатого джентльмена в широкополой шляпе и с трубкой в зубах.

- Нешто помыться пойти? - мечтательно и насмешливо протянул он.

- Поди, Федя-Петя, поди, да вот еще кого прихвати с собой, - указал сосед на знакомящуюся с медведем рослую девушку, за которой терялась во мраке невзрачная мужская фигура. - Ей всяко не помешает.

- Ишь, Лаперуз, подлец, разглядел среди ночи, - возмутилась единственная за столом женщина, уже немолодая или казавшаяся немолодой из-за бедной одежды и плохого света. - Девка как девка.

- Ну, сейчас все кошки серы. Только я побрезговал бы... - поморщился названный Лаперузом.

- Тебе и не дают, - отрезала женщина и добавила: - Ну-ка, двигай поближе, красотка, не робей. Кто там за тобой прячется? Да это Васек!

- Сказано же было: баб не водить! - рявкнул кто-то из темного угла.

Объяснение Васька вышло долгим и путаным, вовсе не в его духе, хотя вся суть сводилась к двум тезисам: что человеку надо же где-нибудь переночевать и что сам он тотчас ретируется.

- А я за ней гляди? - воскликнула здешняя женщина. - Нужно мне это дитячко малое? Выросла кобыла, а ее за ручку водят, ночевать ей, видите ли, негде. Как же, Васек, получается, что и

безработная она, и милостыни не просит, и не проститутка?

- Сама проститутка, конь бельгийский! - заорала девка. - В первый раз человека видит и обзывается, чучело старое.

- Цыц! - прикрикнул ясновидящий старик Жорж, до сих пор дремавший себе в уголочке; в полутьме и без шапочки Пополитов сначала не узнал его. Старик размахнулся было стукнуть кулаком по столу, но вовремя сообразил, что это и не стол вовсе, а накрытый клеенкой лист фанеры на ящике, и вскочил, чтобы топнуть ногой. - Обеих выгоню! Ты, Крица, сама такая пришла. Негде ночевать - покажи, где лечь; не умеет Христа ради копейку попросить - научи. Из нее выйдет толк, я знаю.

- Нанялась я посмотреть за каждой шалавой, - сменив тон, не могла сразу остановиться женщина. - Умный какой нашелся на мою голову, а я-то было домой собралась. Ну, ладно, подруга, как звать тебя? Райка? Это, видно, так мамочка окрестила, а мы найдем что-нибудь поудобнее. Ну, а я - Крица.

- Что это значит? - с содроганием спросила Райка.

- Никто не знает, - гордо ответила женщина, - даже ясновидящий старик Жорж. Может, зверек какой...

- Крыса?

- Поговори мне! Скажи лучше сразу, будешь с нами работать или как?

- Еще чего! Я на инвалидности.

- С тобой уморишься. Милостыню, Христа ради, только с инвалидностью и прсят.

- Сперва накорми ее, - велел Жорж и отвернулся, выказывая потерю интереса к теме; теперь он обращался к Ваську: - Ты, парень, как раз нужен мне. Ты ведь участвовал, кажется, в Диком крещении?

- Потеха была, - вспомнил Васек.

- Мы затеваем большое дело. Вспомни, кто тогда был с тобой: вы все пригодитесь. Будет вам и потеха, и кое-что другое.

- Что за большие дела могут быть у нищих? - не мог скрыть своего интереса Пополитов; он поспешно поправился: - У нас. Больше целкового, как ни крутись, никто не подаст.

- Поживите с мое, - осторожно сказал ясновидящий старик, несколько блефуя, оттого что совсем не помнил своей жизни и, сколько бы он ни прожил ранее, всё, в смысле опыта, было зря, - и узнаете обо всех делах, больших и малых, какими пробавляется общество. Знания же преждевременные окажутся пагубными для вас, не говоря уже об опасности ненароком поделиться ими с неподобающими людьми. Ненароком, но неизбежно: знания

изменяют вас и тем выдают себя. Не торопитесь, юноша, раскрывать свои карты.

Изумленный Пополитов сник, но выдавил, сознавая крайнюю необходимость ответа:

- Так что же, нам всем глаза себе привыкалывать и уши залепить замазкой?

Но старик уже продвигался к выходу, напяливая красную шапочку; на ходу он повторил Ваську наказ найти его завтра.

- Слушай, Федя, слушай Жоржа, Петя, - хихикнула Крица. - Я, к примеру, намотала кое-что себе на ус. Ну да ладно, подвинься и девку Райку усади. Пусть поест, поспит, а завтра я на ней двести пятьдесят рубликов заработаю.

- Ну уж, - запротестовала Райка.

- А куда, милая, не денешься. Клиента разжалобить надо...

- Эта членовредительница, - залился смехом Васек, - хотела себе ногу ножом отрезать, чтоб клиента разжалобить.

- А повредила тебе? - залилась смехом Крица.

- Верно говорю: решила, что калекам больше подают.

- Лишнюю веточку отрезать никогда не поздно. Только можно сделать проще. Видишь, я цела и здорова, а лет мне побольше. Ребенка нужно завести - и все дела. Молодой бабе-то - в самый раз, лучше не придумаешь.

- Кто же ей это делать будет? - ухмыльнулся Васек.

- Молчи, дурень. Ребенка завести - это ж только голову напрячь. Девчонки, приезжие, рожают почему зря; а зачем им такая обуза? Ну, кто в роддоме задаром оставит, кто как. Только тут, конечно, не подгадаешь, чтобы, как только тебе понадобится, и у них тоже готово было. Если готово, я тебе за полтора ста рубликов устрою. Ну, нет так нет. Давай по-приятельски. Раззява какая-нибудь оставит коляску... Тут - риск, значит - дороже. Я тебе точно говорю, по-приятельски постараюсь. За две с половиной сотни. С тебя, как с новенькой, первые два месяца в "общак" брать не будут, вот ты долг и отдашь. Правда, так не получится, чтобы тебе как приспичило, так и пожалте, на выбор: хочешь - жни, а хочешь - куй.

Монологи явно не были сильным ее местом.

- Она дело говорит, - сказал подруге Васек. - Поступай, как скажет, и заживешь не хуже других. Даже и фиг тебе будет с маслом.

С трудом разобравшись в сказанном Крицей, Пополитов подумал, что Райка и подавно не поняла ни слова и что ее непременно обманут. Окружающие не вмешивались да, казалось, и не слушали, равнодушные. "Чуть было я не поверил Пидержанову, -

подумал Мирон, - что тут настоящая подпольная организация и политический заговор. Попал же в обыкновенную шайку. Сiju в "малине", пью ханку, а рядом жулики режутся в очко - и счастье, что у них водятся деньги, не то за милую душу могли бы проиграть человека: меня".

Между тем рядом с ним велись, за чаркой хлебного вина, серьезные разговоры, начало которых он, отвлекшись на планы киднэппинга, упустил, а середина плелась неровными кругами, цепляя среди прочих и довольно интересные темы. Более всего собеседников трогали подсчеты прибыли и убыли, причем не только своих; настроенные на определенный тон, они, как ни были увлечены своей беседой, моментально отозвались на упоминание Крицей о двух с половиной сотнях и, словно хватая за руку, напомнили:

- Посчитай, какой налог заплатишь за кражу. Может, и стараться не стоит.

За ненадобностью Пополитов не ведал о таком налоге; профессионалам же знание закона, быть может, в чем-то облегчало жизнь. Суть его была в необходимости платить с каждой кражи анонимный налог (и квитанцию можно было хранить в сейфе под своим шифром); в случае раскрытия преступления неуплата в свой срок установленного налога вела к удвоению наказания. Известно было, что воры платили исправно.

- Вот! - показала Крица кукиш. - Это не имущество, ему нет цены.

- Цены нет, а есть ущерб владельцу, - засмеялся Лаперуз. - Позвони прокурору, и тебе всё предскажут: и срок, и цену. А пока помолчи, женщина, не мешай нам.

- Жаль, Уклонист ушел, - выкатываясь из темного угла на дощечке с колесиками, сказал безногий средних лет человек, тот самый Живчик, что побирался в престижных Центральных рядах. - Он-то все знает от самого Хихона, а мы тут слышали звон, да не знаем, где он. Несчастный какой-то агитатор что-то сболтнул, вроде как по секрету, и поминай, как звали, - ни спросить, ни дать в зубы.

- Вторая сила, вторая сила, - подхватил, передразнивая кого-то, Лаперуз. - Какая мы сила? Там парни из Службы Безопасности и танки, а у нас - кепки, жестянки с медяками да идиотские выдумки. А что до республики нищих, так нам безразлично, как ее ни назови: лишь бы милостынно подавали.

- Жорж что-то серьезное затеял. Видишь, Васька позвал - это неспроста.

- Жоржу просто: он не только знает, что делает, но и знает,

чем это кончится.

- Вот бы избрать его президентом Области, - неожиданно предложил Живчик, и все засмеялись. - Президент должен быть ясновидящим, а? По радио скажут: "Ясновидящий кандидат предсказывает свою победу на выборах", - и поди после этого проголосуй против.

- А насчет затеи, - сказал Лаперуз, - нам, наверно, все разобъяснит Федя-Петя. Он к начальству поближе.

- К какому начальству? Да я не вижу его никогда и сейчас в толк не возьму, о чем вы спорите, - довольно кисло улыбнулся Пополитов; он и рад был бы объяснить, а тем более - оказаться близким к руководству, но место его на общей лестнице определилось с самого начала на нижней ее половине, и если он и служил связующим, между двумя уровнями звеном, то мертвым, через которое не передаются ни электрический ток, ни горячая жидкость, ни перестукивание соседей. - Мне вообще многое еще непонятно, я же человек новый и даже не расспрашиваю вас, потому что не знаю, о чем спросить, а только слушаю, слушаю.

- Слухач какой нашелся, - вставила Крица.

- Просто не лезу в чужие дела.

- Но ты-то - свой?

Некоторые правила чужих игр Мирон усвоил уже лучше, чем большинство их участников, но хвастаться этим казалось ему излишним. Ни к чему не обязывающее положение новичка было прекрасно тем, что позволяло прикидываться простаком.

- Ведь и для вас то, о чем говорилось, должно быть чужим! - игнорируя вопрос женщины, воскликнул он. - Вот уже о политике заговорили, а для чего нищим политика? Партия, республика, переговоры всякие - что же, нам во всем этом участвовать?

- Мы не о том говорили, - раздраженно отмахнулся Лаперуз. - У нас и некому заниматься политикой.

- Неужели у нас нет нищих политиков? Их, быть может, собралась уже целая шайка, уже заседают, как Политбюро. Честно говоря, и мне интересно было бы...

В голосе Пополитова неволью зазвучала надежда, но Живчик охладил:

- Жди, когда позовут.

- Да, это ведь кормушка, - словно не понимая колкости, покачал головою Мирон. - Кто станет делиться с чужими, да еще и сам позовет?

- Кое-какие кости они все-таки бросают, - заметил Лаперуз. -

К примеру, взялись же помочь нам с жильем.

- Ха!

- Как? - насторожился Пополитов.

- Затевают кооператив будто бы. Фронту разрешили. Ну, а деньги - деньги есть.

Воображение Пополитова было разбужено. Он представил себя хозяином солнечной, с окнами во всю стену, квартирки на высоком этаже. Сегодня он привел бы туда вот эту статную девушку, Райку, которой иначе пришлось бы спать на цементном полу подвала (в ее согласии он не сомневался, не видя соперника в маленьком Ваське).

- Устанешь от этих выдумок, - вздохнул Живчик. - Толку-то все равно нет.

- Одна белка вышла замуж за жирафа - поведал Мирон. - Утром белкины подружки спрашивают, как у них было. "Измучилась, - отвечает, - набегалась за ночь: то бежишь целоваться, то бежишь отдаваться".

Опустив руку, Лаперуз повернул ее сначала ладонью вниз, затем - вверх, показывая, что, когда он был вот таким маленьким, анекдот уже был вот с такой бородой.

- А ты знаешь посвежее? - с вызовом спросил Пополитов, хотя и понимал, что вредит себе таким тоном; одновременно он подумал, что идея насчет Райки не такая вздорная, как показалось на первый взгляд: вряд ли старики в доме возразят против этой девицы - потому что и не увидят ее.

Теперь он рассматривал девушку уже пристрастно. Грубое, длинное ее лицо он никак не назвал бы привлекательным, зато все остальное было при ней и на месте - и сразу отмеченная им торчащая грудь, и круглый тугой зад. Пополитову не понравилось только, как жадно она ест - хватая куски обеими руками, поспешно, словно торопясь заглотать, пока не отобрали. Ей предложили водки, и она, сама взяв бутылку и плеснув себе на дно стакана, принялась пить крохотными глоточками, преувеличенно морщась и далеко отставляя мизинец. "Кино", - подумал Пополитов, ощущая себя таким же маленьким, как и Васек.

- Пьешь, как кисельная барышня, - недовольно сказал он. - Тебе, самое малое, надо стакан принять, а то закоченеешь спать тут, на камне.

- Окоченею, тогда и приму, - привычно огрызнулась Райка и лишь потом сообразила: - И впрямь камень! Черт корявый, куда утянул с вокзала!

- Там скамейки убрали, - напомнил Васек.
- К себе, небось, никто не пригласит.
Далекий от такого намерения Васек усмехнулся:
- Тут люди ученые, знают, чем кончаются такие ночевки.
- По-всякому кончаются, - примирительно сказал Пополитов.
- Вот ты и пригласи.
- Вот и приглашу. Пошли, переночуешь в чистой постели, - позвал Мирон, одновременно соображая, где бы предварительно помыть гостью.
- В кооперативе отведем этаж под гостиницу, - придумал Лаперуз.
- Не только для чужих, - поспешил оговорить Пополитов, - но чтобы и любой из нас мог переночевать с удобствами.
- Например, ты с Райкой, - заржал Живчик, от которого не укрылось внимание к ней Мирона.
- Эй, я вам не подстилка, - прикрикнула Райка.
- Ты девушка честная, - согласился Лаперуз. - Это я к тому, что надо помнить, кто кого привел.
"Кто он такой?" - возмутился Пополитов, демонстративно подливая Райке. Впрочем, спаивать девицу ему совсем не хотелось; он понимал, что с пьяной не оберешься в дороге хлопот - не ровен час, ей взбредет на ум самый непредвиденный вздор; путь же предстоял неудобный. Рассчитывать на такси было совершенно невозможно: вечером ни один водитель не поехал бы к пристани потому уже, что не нашел бы там обратного пассажира, а предложи ему плату в оба конца - все равно отказался бы из страха.
- Нам бы всем подумать о завтрашнем ночлеге, - вспомнил важную новость Васек, - ведь завтра начнутся народные волнения, приказ вышел.
- Да я так домой не попаду! - в панике вскочил с места Пополитов. - Если заранее перекроют движение, сдвинут комендантский час - пиши пропало.
- Зачем же тебе домой? - засмеялся Лаперуз. - Хорошо ведь сидим.
- Хорошо сидим, - поддержали сразу несколько голосов.
- Век бы так. А комендантский час если и ужесточат, то теперь уж - завтра.
- Почему мы знаем, что этого уже не сделали? Радио здесь нет, и никто не спустится сюда оповещать.
- Что за народ будет волноваться, - крикнули из дальней комнаты, - не сказано?

- Какой попадется, - важно ответил Васек. - Пока что только армия готовится, я разговаривал с военными.

- Не будет ли приказа и нам? - задумался Лаперуз.

- Просить милостыню у офицеров? - догадалась Райка, опередив вопрос Пополитова о том, кто это может приказывать вольным нищим - не армейские же чины.

- Нет, больше грудями трясти. Что Хихон прикажет, то и сделаешь. И построисься, и помоешься. А при волнениях нищие, между прочим, большая сила.

- Если каждый врежет по разу костью... - восторженно поддержал Пополитов. - Но сколько в нашем полку костью?

- Больше, чем думаешь, - засмеялся Лаперуз. - Мой - самый тяжелый.

- Если сейчас объявят (или объявили уже) волнения, - размышлял вслух Пополитов, - то народ начнет собираться не раньше шести утра, когда пойдут трамваи. Да, положеньице. Сидеть здесь душно, темно, свечи кончатся. Одно дело - зайти поболтать после работы, другое - переждать в бомбоубежище бунт.

- Лучше самим бунтовать, - потягиваясь, сказала Райка.

- Разумно, - похвалил Мирон, кладя руку на ее обнажившееся мощное колено.

- Пользуешься, что я пьяная? Ну-ка, плесни еще.

- Что ж это Жорж о волнениях не сказал? - спросила Крица.

- Как бы у нас тут бунта не получилось, - проворчал себе под нос Лаперуз. - Об этом-то он как раз говорил.

- Пошли, Рая, побунтуем, - вполголоса, как будто здесь можно было утаить хоть слово, позвал Мирон.

Райка цедила водку, как молоко.

- Третью города - нищие, - выходя из-за стола, сказал Лаперуз.

- Если Хихон что-нибудь надумает, солдатам несдобровать. Ну, до завтра.

Пошатываясь, он побрел к выходу.

Теперь Пополитову надо было только переждать, пока тот уйдет подальше. Лишь минут через десять он сделал новую попытку:

- Духота у нас, мужики...

Его поддержали, поддакнули.

- Пойду, подышу немножко, - продолжал он. - Ты, Рая, не хочешь прогуляться?

- Не хочется ль вам пройтись, - засмеялся Васек, - там, где мельница вертится?

- Хотится, - басом отозвалась Райка.

Закрыв за собою дверь, они оказались в крошечной темноте, но Мирон не захотел обнимать Райку тут же, а стал подталкивать к предполагаемому выходу - одной рукой. Другая рука перехватывала занозистую путеводную веревку. Подъем они преодолели почти без потерь, всего однажды оступившись. Когда же в лицо пахнуло через какую-то близкую щель уличным воздухом, Пополитов вдруг услышал сзади, где никого не было, шумный выдох, и на голову ему обрушилось что-то не очень твердое, но увесистое.

20

Получилось опять невпазд. Хотя по радио обещали зной и великую сушь, Иван Сергеевич, войдя в учительскую, увидел, что коллеги одеты основательно: мужчины, например, были в пиджаках. Один он пришел голым; он давно заметил, что всякий раз, стоило ему решиться на это, другие наряжались, как на парад. Ничего предосудительного не было в его туалете; однако он чувствовал себя как человек, явившийся на бал в комбинезоне: хотелось танцевать, а его принимали за дежурного монтера.

- Можно подумать, что нам починили кондиционер, - развязно произнес он, понимая, что лучшая оборона - это наступление. - Как вы еще существуете тут?

- Мыслим, значит, существуем, - с нажимом сказала директриса, пришедшая сегодня в тяжелом свитере домашней вязки и мохеровой шапочке.

- Вымираем, - нарочно сказала поперек Валентина Валентиновна, одетая почти по-человечески: на ней были короткая юбка и джинсовая жилетка поверх шелковой блузки с большим вырезом. Иван Сергеевич мысленно продлил и расширил декольте, а от жилетки сохранил одни рукава; присутствующие поневоле заметили, как поднялся его интерес к Вавочке.

- Если вы, уважаемый, плохо переносите жару, - почти ласково сказала директриса, отнеся, видимо, его заинтересованность на свой счет, - то мы с удовольствием пойдем вам навстречу. Что вам париться на экзаменах? Как раз сегодня школа участвует в рейде друзей полиции, и я могу назначить вас на сторожевой пост в переходе под проспектом Благородия. Там, я думаю, достаточно прохладно. Кругом марш!

Повернувшись по-уставному, через левое плечо, Иван Сергеевич зашлепал босыми ногами по зеркальному паркету коридора. Ученики в стеганых куртках расступались перед ним, с

уважением глядя на желтую повязку, непонятно как обернувшуюся вокруг его левой руки. По мере приближения Гоголева к лестничной клетке свет катастрофически тускнел, школьники уходили на уроки, и коридор в конце концов превратился в темный туннель, где нагие подростки просили подаяния. “Неужели они грешили так же много и безобразно, как я?” - весело удивился литератор. Постепенно тьма сгустилась настолько, что ни единой фигуры не различить стало подле - их, быть может, и не было больше. Иван Сергеевич подумал, что ему, во искупление содеянного, суждено идти по этой трубе вечно или, по крайней мере, до тех пор, пока он не обрстет шерстью. Скоро потеряв ориентацию и начав забирать в сторону, он ударился о стену и тут далеко впереди, возможно, по ту сторону Ла-Манша, увидел огонек. “Свет в торце коридора!” - завопил, ликуя, Иван Сергеевич, еще громче зашлепав по холодным шпалам. Ему хотелось есть, пить, в уборную, и он замерз, но свернуть в трубе было некуда; теперь он почти бежал. Сквозняк был ужасный, причем дуло в спину, и он никак не мог загородиться руками. От холода Иван Сергеевич не просто дрожал - его шатало, и встречный огонь тоже метался, зыбкий. Прошла вечность, прежде чем источник света и освещаемые им по соседству предметы приобрели объяснимые формы. Огонек оказался обычным фонарем в руках военного в каске и с автоматом. Рядом угадывались так же обмундированная женщина и двое мальчиков в штатском.

- Документы, - потребовал владелец фонаря.

Привычным жестом Иван Сергеевич полез было во внутренний карман, не нащупав, однако, ничего, кроме озябшего соска.

- А ваши? - пискнул он, озлобляясь. - Представьтесь, как положено.

- Инспектор Службы безопасности Движения.

- Но тут - английский берег!

- Мы вездесущи.

В этом можно было не сомневаться.

- Придется, гражданин Гоголев, задержать вас, - сказал автоматчик, - для выяснения личности, если вы таковою являетесь. Для начала здесь, на месте, дождемся отряда женщин-экспертов. Сию минуту они демонстрируют модели осенне-зимнего сезона, но прямо из телестудии их доставят сюда.

Сейчас Иван Сергеевич и сам не отказался бы от осенне-зимней модели, тем более что хотел быть одетым в одном стиле с дамами; он не знал, как отнесутся к его наряду в туманном Альбионе.

- Если это надолго, - заискивающе произнес он, - я хотел бы позвонить.

Военный, прекратив наконец освещать живот Ивана Сергеевича, направил луч вбок, где на косой полочке стоял белый телефонный аппарат с большой берцовой костью на витом шнуре. Гоголев протянул руку, но не успел снять кость, как раздался звонок - непомерно длинный, наверно междугородный, международный, из Англии; военный всполошился, но бывалого учителя литературы трудно было провести: он доподлинно знал, что это звонит всего-навсего будильник.

Выключив звонок, Иван Сергеевич все же какое-то время искал на часах телефонную трубку, не понимая спросонок, куда она могла подеваться. Ему пришлось приподняться на локте, и, только увидев циферблат, он вспомнил, что накануне нарочно отключил телефон, дабы тот не разбудил шальным вызовом, потому что сегодня было воскресенье. Будильник же он завел вчера машинально, и тем обиднее была ошибка, что Иван Сергеевич знал: ему не заснуть более. Но раз уж так вышло, что он поднялся ни свет, ни заря, надо было использовать случай и добыть какое-нибудь пропитание.

“Не выйти бы из дому голым,” - тревожно подумал он.

Час был удобен для покупок: те люди, что собирались к открытию магазина, успели убедиться в отсутствии продуктов и, успокоенные, разошлись по домам; другие же, и без того спокойные, еще спали. Иван Сергеевич не любил толпы. Представив себе утренний интерьер магазина “Самбери”, он усмехнулся, вдруг сложив точную, как ему показалось, формулу: “При нехватке мяса все дело в избытии скота”.

Во дворе ему не встретилось ни души. В этот час только и радоваться было жизни, наслаждаясь редкостной тишиной, предчувствием праздности, чистотой неба и прохладой; но, едва подумав об этом, он тотчас вспомнил, что не достоин никаких, пусть и нечаянных, радостей, вообще не имеет права быть благополучным, а имеет право только креститься и уйти наконец в монастырь или занять место на паперти, или, на худой конец, завербоваться на одну из романтических антинародных строек, объявления о которых не переставали появляться на заборах и в газетах. Какое-то объявление он заметил и сейчас, во дворе, на двери ремонтной конторы. Подойдя поближе, он прочитал: “Ремонт квартир на дому не производится”.

В “Самбери” Иван Сергеевич увидел, что его предположения оправдались: не было ни покупателей, ни продуктов. Лишь в самом дальнем углу, в мясном отделе, он обнаружил лоток с морской

капустой - едой, вполне его устраивавшей: со ржаным хлебом, с луком и под водочку водоросли были вполне съедобны.

Продавец скучал на рабочем месте, чистя ногти огромным ножом. Увидев направлявшегося к нему и уже достающего на ходу деньги клиента, он повел себя странно: бросив нож, торопливо скрылся в служебном помещении. Теперь, предоставленный сам себе, на том же месте принялся скучать покупатель, рассеянно оглядывая огромный зал. Пустые стеллажи тянулись к горизонту, а над ними через равные промежутки светились жизнерадостные вывески, напоминая об описанных в детских сказках материках и странах, закрытых отечественными безвестными землепроходцами: Гастрономия, Лососина, Бакалея. Полки, некогда скрывавшие свой цвет под грудями товаров, теперь сверкали белизной; продавцам прибавилось работы - стирать пыль, но сию минуту они, судя по звукам, доносившимся из подсобки, занимались совсем другим: рассказывали анекдоты. Потом и эти звуки затихли - компания перебралась в глубины здания; когда Иван Сергеевич, утомленный глупым ожиданием, осмелев, зашел за прилавок и приоткрыл дверь, то не нашел там никого. Воззвав к оставшимся в живых, он не получил ответа.

Через витрины было видно, как по тротуару равнодушно проходят первые утренние пенсионеры со свежими газетами в руках; редкие хозяйки заглядывали в магазин, но их нечем было удержать тут. На стоянку тихо вкатилась автоцистерна с пивом; шофер развернул торговлю, но даже и сюда люди собирались лениво, если не считать дюжины нарядных парней разбойничьего вида, наверно, уже поджидавших машину. Иван Сергеевич и сам купил бы, да не запаса посуды.

Прошло минут двадцать ожидания, пока Иван Сергеевич наконец не увидел в противоположном конце зала своего продавца, шедшего к выходу с пустой трехлитровой банкой в руках. Ему нельзя было дать уйти: запасшись пивом, он исчез бы, пожалуй, еще на час. Гоголев помахал ему - тот не заметил, окликнул - тот, воровато втянув голову в плечи, прибавил шагу.

- Послушайте же, - с отчаянием вскричал учитель, - я жду полчаса!

Продавец побежал, но побежал и Иван Сергеевич; первый был моложе, но ему мешала банка, из-за которой прилавок, стоявший поперек дороги, пришлось обегать кругом, тогда как учитель просто перемахнул через препятствие, опершись на руку. Теперь продавец оказался дальше от выхода, и ему не оставалось ничего другого,

кроме как повернуть обратно - за свой прилавок, в склад и во двор. Проявив недюжинное проворство, покупатель и тут бросился наперерез, но не успевал перехватить беглеца - не успел бы, если б тот не поскользнулся на повороте; сохраняя равновесие, молодой человек ухватился рукой за стеллаж - и снова проиграл этап (Иван Сергеевич подумал, что бегаёт неплохо для своих лет; он и раньше не ощущал возраста, даже когда пристально сравнивал себя с собою же, прежним: ни в чем вроде бы не изменился). На этот раз соперников отделяли от выхода равные расстояния, и Иван Сергеевич понял, что купить морскую капусту сегодня не удастся. Тем не менее он не сдался и побежал - сразу, со старта, безнадежно отставая. Перед ним были выходные турникеты; перед продавцом, поспешавшим по левую от него руку, - входные. Последний, наверно, понадеялся на свою резвость, на то, что турникет захлопнется за его спиной. Быть может, он просто позабыл в азарте побега о подлом механизме, но, как бы то ни было, ему не суждено было миновать заграждение без потерь: раздался грохот падающих поперечин, торговец взвыл, схватившись за низ живота, и банка разлетелась на каменном полу.

- Взвесьте полкило, пожалуйста, - задыхаясь, проговорил Иван Сергеевич.

- Отпускаем по триста граммов в одни руки, - охладил его продавец.

21

Никто, включая самого Ивана Сергеевича, до сих пор так и не понял, что, в конце концов, вынудило его решиться - угрызения совести и острое желание непременно, во искупление вины, довести себя до разорения, отчаяния и голода или, напротив, банальная необходимость иметь лишние деньги. Исход дела не зависел от его желаний и стараний, и Гоголев не видел возможности предсказать его.

Перестав сомневаться, он очутился в необычайно трезвом мире. Как ни велик был соблазн заготовить про запас оправдания вроде ссылок на действия, произведенные будто бы в тумане, Иван Сергеевич сам воспротивился возможной лжи (его нехитрый секрет все равно раскрылся бы), и от одного этого нежелания таиться он увидел, что воздух стал чист и прозрачен на несколько дней назад и в стороны, а свежая голова заработала, как арифмометр: без фантазий. Ему оставалось лишь выбрать место действия, и он не придумал ничего лучшего, чем подземный переход, где одна только скудость

освещения, делающая неразборчивыми черты лиц, стояла многого; да и последний из повторяющихся снов не шел из головы. Не стесняйся Иван Сергеевич встреч со знакомыми, он счел бы идеальным переход возле своего дома - в самом деле, мало кому удастся найти работу так близко от жилища; названное же обстоятельство вынуждало искать место вдалеке, и тогда ближайшим к идеалу оказывался туннель, оканчивающийся на Британских островах. Поиски компромисса увели Гоголева далеко от дома, зланных мест и школы, а трезвость удержала от приближения к бедным районам; словом, памятная часть света, где Иван Сергеевич начал новую жизнь, оказалась, по его выбору, безликой.

День начался неудачно. Победа в продуктовом магазине радовала лишь в первые минуты, а потом ее пригасило осознание ничтожности доставшегося приза: морскую капусту естественнее было бы скормить морским зайцам. Если Гоголев не заслуживал лучшего, то как же ему, едоку водорослей, можно было доверить воспитание детей человеческих - такому самое место было в плену, на казенном пайке. Навязчивые голые сны снились ему, видимо, неспроста; извращения не привлекали Ивана Сергеевича, и ночные зрелища он толковал по-своему: как приказ освободиться от всего избыточного. Медлить больше не стоило - начиная сегодня, он подгадывал, задним числом, так, что сон сбывался.

Позавтракав, как морской заяц, и одевшись так, словно собирался на общественные работы, он отправился на дело.

Сев в автобус, он облегченно вздохнул, найдя, что на него не обращают внимания; теперь Гоголев понял, что невольно с первых минут ждал косых взглядов и шушуканья - ничего такого не началось, оттого что Иван Сергеевич не отличался от прочих пассажиров. “Но если так, - пришло ему в голову, - то не едут ли и они побираться?”

Словно уходя от шпиков, он дважды пересаживался из одного автобуса в другой и в результате пересек весь город. Там, куда он попал, предприятий не было, район считался “спальным”, и Гоголев надеялся, что тут будетлюдно в выходной день; он, кажется, не ошибся. Успокоенный, он принялся за подсчеты: если ему подаст хотя бы один прохожий из ста, а в час тут проходит... На этом его математические способности иссякли. Скомкав выкладки, он получил неплохой предварительный результат: наберется достаточно.

Собравшись с духом, он нарочито медленным шагом спустился в переход, побрел там по стеночке и, найдя достаточно

свободное от других нищих и торговцев место, встал столбом. Оставалось протянуть руку. Народ тут был как народ: кто спешил, кто брел нога за ногу, кто озирался, а кто смотрел невидяще, и все эти люди должны были, как только Иван Сергеевич примет нужную позу, бросить в скрюченную ладошку по монете - и увидеть его лицо.

Ему стало жарко.

Хорошенькая девушка внимательно посмотрела на него, и Гоголев, мгновенно приняв скучающий вид, засвистел оперный мотивчик. Она тем не менее ушла.

Протянуть руку оказалось нелегко; Иван Сергеевич попросту перестал понимать, как это можно сделать, с какой стати: стоять, стоять и вдруг... “Да это стыдно, должно быть, - впервые подумал он. - С другой стороны, чем хуже мне придется, тем лучше”.

В какой-то момент рука протянулась как бы сама собою: заметив это, Иван Сергеевич немедленно сделал вид, что у него зачесался кончик носа.

Зажмурившись, он напряг что-то - волю или мускулы; во всяком случае, ему понадобилось в туалет - но этого удовольствия он еще не заработал. Рука понемногу, будто украдкой, поднялась, остановившись на половине восьмого; он так и держал ее полусогнутой и вряд ли заметной даже тем, кто загодя изготовлялся подавать. Равнодушные прохожие словно не замечали безнадежно сторбленной фигуры литератора - но на то они и были равнодушными; вместе с тем они же подавали милостыню другим - здесь, рядом, в дюжине шагов от Ивана Сергеевича. Первая монета легла в его ладонь на исходе, наверно, получаса дежурства - звякнув о другую, заранее положенную им самим на развод. “Если так пойдет дальше, я и в самом деле разорюсь,” - подумал он.

Еще через четверть часа к потному от напряжения новичку подошел мускулистый парень в разрисованной майке.

- Проваливай, - сказал он без обиняков.
- Не понял, - честно признался Гоголев.
- Это место стоит денег, - намекнул парень.
- Да нет же: тут никто не подает.
- Но будет больно.
- Мне больно и сейчас.

Возле них остановился, с любопытством оглядывая Ивана Сергеевича, молодой джентльмен в белом пиджаке и лакированных туфлях. Заметив его, тяжелый парень, пожав плечами, отошел в сторону, словно уступая место.

- Что, неважно клюет? - сочувственно спросил джентльмен.

Иван Сергеевич сумел только развести руками.

- Ну, не все сразу, - попытался утешить его незнакомец и, помолчав, поинтересовался, как бы невзначай: - Давно стоим?

- Час или полтора, я не засекал, - засунув руки в карманы, охотно объяснил Иван Сергеевич, обрадованный возможностью отвлечься.

- Час - это прекрасно, но я имею в виду - который день?

- Первый, который же еще.

- Вот оно что. Только что, значит, дошли до ручки? Тут, рядом, видите ли, большинство - люди со стажем, иные со времен большевиков... Что ж, не смею мешать, ловите рыбку дальше; только тут есть, если позволите, тонкость: за здешними нищими закреплены рабочие места, а на вакантные, если б они и нашлись, не принято пускать посторонних. Как бы не было у вас неприятностей. Вообще, нужно еще доказать, что вы нуждаетесь именно в такой работе. Бывает, биржа труда присылает совершенно негодных людей. Вы, простите, кто будете по старой профессии?

Преодолев соблазн на всякий случай солгать, объявив себя, например, почтальоном или дневным сторожем в ночном клубе, Иван Сергеевич назвалса честно: преподаватель литературы.

- Какие люди нищают! - непонятно чему обрадовался молодой человек. - Знаете, вы не должны уходить отсюда, отчаявшись, это ведь так заведено на свете, что новые дела идут поначалу туго. Наберитесь, прошу вас, терпения. И все же - насколько твердо ваше решение вступить на эту, скажем красиво, стезю?

- Нисколько не твердо.

- Конечно, понимаю, новизна и обстоятельства, к тому ж робость... Признаться, не хотелось бы упускать вас из виду.

- На предмет?

Джентльмен сделал неопределенный жест, и Гоголев снизошел до разрешения:

- Что ж, поглядывайте издалека. Не жалко. Но вы сами кто будете?

- Живу тут неподалеку, - широко улыбнулся молодой человек, - наблюдаю за жизнью общества. Вот, увидел новое лицо и заинтересовался. Вы, я вижу, не склонны к скорым знакомствам, и это похвально, так что я сию минуту откланяюсь, только и вы пообещайте поспешно не менять решения. Желаю удачи. А там, кто знает, вдруг и свидимся. Кстати, и место не рекомендую менять без особой надобности: фортуна суеты не терпит, это уж я знаю

доподлинно.

У местных коллег, видимо, наступил обеденный перерыв. Постепенно, один за другим, они разошлись кто куда, и учитель затосковал было в одиночестве, на юру, но тут почувствовал на себе выгоду отсутствия конкурентов: монеты живо посыпались к нему. Он заметил даже странного мужчину, подавшего дважды. “Это не наказание мне, - подумал новый нищий, - не искупление. Это я на любовницу собираю, на духи и конфеты. Разве мой крест в испытании только стыдом? Впрочем, и оно тяжело”.

После обеда на свои места вернулись далеко не все, и пополнение кассы Гоголева хотя и замедлилось, но не прекратилось; к концу дня у него даже возникла проблема размещения в карманах. Сказав самому себе, что жадность - скверный порок, он собрался домой раньше задуманного часа.

- До завтра, отец? - добродушно бросил ему вслед один из попрошаек, и Иван Сергеевич задумался: он стал нищим, теперь предстояло еще решиться перестать быть учителем.

Удобнее было делать не все сразу, да и нелегко было бы преподавателю уволиться, когда уже начинались каникулы (Иван Сергеевич любил к слову приводить чужеземную поговорку: “Хорошо быть зимой медведем, а летом - учителем”); насчет зимы, правда, можно было поспорить, тем более что - шутка словесника - он не знал наверняка, что лучше: сосать лапу или лапать сосну, но с летом было ясно). Для самого Ивана Сергеевича нынешнее лето было пока впереди, ему еще предстояло наведываться в школу; ближайшая неделя, во всяком случае, была у него занята. Она и прошла по-старому.

В следующее воскресенье Иван Сергеевич снова приехал на то же место; в совете человека в белом пиджаке стремиться к постоянству был, видимо, какой-то смысл. К собственному постоянству юный джентльмен относился, видимо, легче, и Гоголев не встретил его в туннеле. Нищих, как показалось ему, стало поменьше, и монеты время от времени падали и в его ладонь, хотя он понимал, что либо выглядит в глазах прохожих неподобающе, либо просит бездарно. Как бы там ни было, а денег мало-помалу набралось и на обед, и на полдник, и на парикмахерскую. Стоять было препротивно, и он теперь окончательно понял, что наказал себя не материальными лишениями, а выставлением напоказ и на позор.

Стоять было еще и утомительно: быстро устали от неподвижности ноги, устала рука, заныла спина, и затуманилась голова, так что Иван Сергеевич нечаянно задремал стоя. Очнувшись,

он увидел, что лицом к лицу с ним, заложив руки за спину, стоит сутулый пожилой человек в скромном костюмчике, тщательно, впрочем, выглаженном.

- Верно сказали, что вы - из вымирающих, - бесцветным голосом произнес тот.

Ивану Сергеевичу стало неловко из-за того, что его застали спящим. "Он знает меня, - мелькнула мысль, - а я тут изображаю памятник Гоголеву".

- Честно говоря, предпочитаю более деятельный тип, - продолжал пожилой. - Только об этом - потом, потом. Вы утомились, я вижу. Ко всему, руку долго на весу не продержишь. Другие-то подпорки используют, костыли. Тут, как и во всяком деле, нужен добрый инструмент, оборудование: кепочка там или милицейская фуражка с гербом города Киева, а то и жестянка из-под килек в томатном соусе.

- Где они нынче, кильки? - окончательно проснулся Гоголев.

- Да, времена, времена. Но вы отдохните немножко, устройте себе перерывчик.

- Простите, но я сам привык регулировать... - гордо ответил учитель, отведя плечо, как привык при ходьбе, так что собеседник невольно подался назад, опасаясь рукоприкладства. - И работать самостоятельно. Вы мне загораживаете.

- Полно вам... Нам надо бы еще поговорить, не спеша. Пойдемте, тут рядом можно настоящий кофе попить, перевести дух. Кстати, вы переодеваетесь где-нибудь?

- Дома.

- Зачем же? Есть ведь специальные места. Хотя у вас вполне приличный вид: не тянете вы на нищего, не тянете. Таким чистюлям только в булочных подают - копейку и корочку.

Вид у Ивана Сергеевича был не хуже, чем у всякого русского дачника в пятницу, выезжающего за город не так, как ездили в старину, не отдыхать и развлекаться, а чтобы служить своей даче: копать землю, чинить и строгать, поливать и возить навоз. Поэтому если он и заколебался, принять ли предложение чужого человека, то не из-за платья.

Кафе, куда они пришли, оказалось заполнено вовсе не теми, кто ездит на дачи, а подростками, одетыми совершенно безо всякой общей системы: девушки были и в вечерних платьях, и в сарафанах, и в джинсах, босиком или в туфельках на высоком каблуке; юноши щеголяли в майках с печатным текстом, в куртках, в сорочках с шейными платками. Во всяком случае, все одеты были пристойно и

чисто, и Гоголев к месту вспомнил повторяющиеся сны.

- Не люблю предисловий, - сказал пригласивший Ивана Сергеевича мужчина, сделав заказ и доставая из заднего кармана брюк фляжку с коньяком (гость немедленно отказался от выпивки - возможно, опасаясь подвоха, но более - не желая остаться в долгу; позже он пожалел об этом). - Я сперва изложу в двух словах суть вашего положения, а потом представлюсь.

- Моего положения? Но не лучше ли...

- Хуже. Итак, вы решили просить милостыню. О причинах пока не говорим. По незнанию вы заняли чужой участок, это естественно для новичка, и это не страшно: вам бы предложили помощь и консультацию, не интересуясь анкетой, даже пятым пунктом. К счастью, мой человек сразу понял, что с вами надо затевать совсем не такие дела.

- Но я сказал уже: я сам решаю, какие дела затевать.

- Погодите ерепениться. Я объясню все по порядку, а потом перейдем к вопросам и ответам. Так вот, о нашей системе. Если, например, в разных концах города двое торгуют одним и тем же товаром, то можно поручиться, что в центре существует третий, кто следит за этими двумя и имеет свой интерес в деле. Посмотрите, сколько нищих в городе - уйма. Смешно думать, что они предоставлены самим себе. Их работа направляется единой организацией, обладающей строгой структурой, капиталом, силами охраны и так далее. Ну, ну, не улыбайтесь, это серьезно.

- Зачем это? - в недоумении воскликнул Иван Сергеевич.

- Чтобы выжить. Ну и чтобы жить. Нищие имеют дело с наличными, а за людьми, через которых идут деньги, по закону природы следуют другие, цель которых - эти деньги отнять. Если бы у нас не существовало мощной внутренней силы, в дело тотчас вступила бы внешняя - рэкет. Думаю, что все же приятнее платить в свою кассу, чем в чужую.

- Приятнее не платить. Но что же, свой рэкет роднее?

- Пусть будет так. Но в этом случае отсутствует криминал.

- И все платят?

- На доходных местах - все. Поймите, есть нищие - и нищие. Настоящая беднота не только не платит налога и не выкупает лицензий, но и пользуется иногда нашей помощью. Это - нищие в булочных и у некоторых бедных церквей. Они и перебиваются с хлеба на воду.

"Пойду просить в булочную," - решил Гоголев.

- Те же, - продолжал новый его знакомый, - с кем вы

соизволили встать в один ряд, и сами могут помочь кому угодно. Кстати, если не секрет, каково ваше положение и что вынудило вас на этот крайний шаг?

- Как вам сказать, - замялся Гоголев. - Я мог бы еще служить, так что в смысле средств к существованию у меня особых проблем нет. Только так сложилось, что за относительное благополучие я расплачиваюсь совестью. Хотелось снова, как в детстве, стать честным человеком, а для этого нашелся единственный путь: не лгать, что в наших условиях означает - жить в нужде.

- Вы, стало быть, из идеалистов. И верно: вымирающий. Кто же еще пойдет побирать, чтобы разрушить свой достаток?

- Ну и вымирающий - что с того? - огрызнулся Гоголев. - Таковы мои проблемы.

Собеседнику (а это был Савва Кузьмич), чтобы расшевелить Гоголева, пришлось раньше, чем он хотел, представиться новому нищему, открыв и свое звание - Первый инструктор, и имя, и прозвище. Ивану Сергеевичу все эти выдумки - титулы (что Вожатый, что Инструктор - одно было не лучше другого), стража, клички - показались атрибутами детской игры.

- Для вас это наивно, - обиженно произнес Савва Кузьмич, - а на простой народ действует. Стыдно сравнивать, но ведь еще Гитлер в свое время использовал... Вы, я полагаю, из интеллигентов?

- Из образованщины, скорее. Позвольте и мне представиться: Иван Сергеевич Гоголев, учитель-словесник.

- О профессии я информирован. А вот Иван Гоголев... Прямо готовая кличка: Ван Гоголь. Она вас не оскорбит? Вот и хорошо. Да ведь был, кажется, такой деятель искусств. А теперь, как говорят в Одессе, слушайте сюда.

Босая девушка в шортах вдруг, отвернувшись от стойки, уставилась на них и через минуту воскликнула:

- Дедушка с прадедушкой пришли! Алямс!

Теперь взрослых разглядывала уже вся юная компания. Иван Сергеевич подумал, что встречи с подростками в кафе случаются в последнее время неприлично часто.

- Что пьете, деды? - развязно поинтересовался худой паренек.

- Ничего особенного, приятель, - дружелюбно отозвался Гоголев. - Черный кофе.

- Угостить вас молочными коктейлями?

- Спасибо, - засмеялся учитель, - но боюсь, что мы оба не любим мороженого, пусть и талого. Честно говоря, на моем языке коктейль всегда означал алкогольную, а не молочную смесь. Увы,

сейчас такими угощают лишь за железным занавесом: в Филадельфии, в Санкт-Петербурге.

- А наша музыка вам нравится?

- Если это вопрос, то я имею право не сообщать сведений, которые могут быть обращены против меня. Но это по английским законам. Что же до музыки, то каждому нравится своя; здесь она хороша уже тем, что не мешает разговору.

Довольно условная музыка и в самом деле звучала приглушенно, что было редкостью для подобных мест.

- Когда вы танцевали в последний раз? - продолжила вопрос девочка.

- В последний раз я буду танцевать не скоро.

- Браво, дед! - засмеялся худой. - Не каждый так ответит на интервью. Тебя можно принимать в наш штабель. Жаль, что здесь такое хилое место.

- Еще не вечер, - в тон ему ответил учитель. - Дождемся перемен. Чао!

Подростки вернулись к своим коктейлям.

- На чем мы остановились? - затруднился Савва Кузьмич. - Вы для этих юнцов прямо свой человек.

- Профессия, - коротко ответил Гоголев, мысленно благодаря Вавочку за урок. - А остановились мы на кличках.

- Да, вот еще и клички - лишний штрих. И без того наша организация по строению схожа с уголовной. Это не случайно: нужен же был какой-то образец, тем более что та - не придумана, а сложилась исторически и отшлифована временем. И все же то, что хорошо для банды в сто или пусть в тысячу голов, неприемлемо для организации, охватывающей значительную часть населения. Кстати, настоящих нищих, профессионалов, стало так много, что мы вынуждены прекратить прием. Тут есть одна противоречивая вещь: мы хотим всех сделать нищими, таков наш лозунг, но и всеобщее нищенство недостижимо: надо, чтобы кто-то подавал милостыню.

- С вами интересно беседовать.

- Возможно, мы сработаемся. Надеюсь, вы поняли, что просить на улице вам никто не даст: вакансий у нас нет, перекупить лицензию вы не сможете... Кстати, мы, возможно, скоро устроим чистку, чтобы нищими остались только самые достойные.

- Я с работы не увольнялся, - сообщил Гоголев.

- Как же вы криво понимаете! Я как раз хотел просить вас сотрудничать, только на ином, более высоком уровне. Оставьте вульгарное попрошайничество серой массе.

- Можно сказать, я - во искупление грехов.

- Погодите, не роняйте марку, - усмехнулся Савва Кузьмич. - И давайте по порядку, не то я все время теряю нить. Начнем от печки. Основы организации - иерархия, финансы, идеология, пропаганда. С последним у нас из рук вон плохо, а между тем пришла пора заявить о себе. До сих пор мы были ненормалами, а теперь зарегистрировались и собираемся даже выставлять свои кандидатуры на выборах. Я не рвусь к политической власти, но все же кое-какие вожжи намерен ухватить. Одно с другим, конечно, связано теснейшим образом, и я не поручусь, что не переступлю черты. В таком случае нам придется взять курс на автономию.

- Республика нищих? - расхохотался Гоголев, пораженный грандиозностью плана. - Но она уже существует: это - наша Вольная Область.

- Других нищих, я же сказал. Но вернемся к идеологии. Тут одни потери. Сначала мы расстались с основоположником теории нищестанства - да, да, есть и такая, - а потом потеряли еще одну светлую голову. Был такой профессор Иванокер, да пропал, уехал на историческую родину. Единственный, кстати, кого мы звали своим именем: такая фамилия стоит любой клички. Это-то его и погубило. Да не в нем теперь дело. Надо продолжать, надо думать о пропаганде, о своей газете... Но у нас нет кадров: контингент, сами понимаете, специфический. Тут вы для нас находка. Кстати, служением бедным вы в какой-то мере искупите свои грехи. Я не настаиваю даже на постоянной работе...

- Положение, видно, и вправду катастрофическое, если вы так уговариваете всего лишь школьного учителя.

- Нет времени. Но я полон оптимизма. Недаром моя бабка - Кузькина мать.

- Но бумага, типография, черт знает что, целое производство...

- Об этом не думайте: деньги у нас есть, а остальное приложится. Я думаю, вслед за газетой мы возьмемся и за радио, и за телевидение. Зачем все это? А затем, что нам нужны и поддержка масс, и реклама, а в близком будущем, так как я не хочу конкуренции, - и моя личная реклама; тут хорошо бы постепенно собрать обо мне целую хихониану. Пусть и у нас будет свой маленький такой, домашний культик личности.

- Какая польза от этого бедным? - равнодушно спросил Гоголев, одновременно пытаюсь понять, в своем ли уме его собеседник.

- Никакой. Но от возможного передела власти - определенный вред. Мы, например, ставим вопрос о выплате пенсий, о бесплатном профессиональном образовании, об оплате больничных листов... Ничего этого не будет, если мы займемся интригами.

- И - хихониана! От скромности вы не умрете.

- Согласен, упрек принимаю, но беда в том, что вариантов пока нет никаких. Организация создана сверху, многие простые нищие обо мне попросту не слышали, а потом вдруг проснулись - Хихон! Хихон - да кто он такой, откуда взялся?

- Интересно, какие грехи могут мне проститься за вашу хихониану? Предложение звучит заманчиво, но я боюсь, что не смогу проникнуться вашей идеологией. Кстати, как вы собираетесь назвать газету: "Нищенские вести"? Или "С миру по нитке?"

- "Голая правда", - попробовал на свой вкус Савва Кузьмич.

- Никак мы не отойдем от большевистских шаблонов. Три четверти века прожили во лжи, а любимым названием так и осталась опозоренная "Правда". Правда, не стоит сразу отучать читателя от лобезных сердцу шаблонов, но...

- Предлагайте другое, предлагайте - все в вашей власти. Оттолкнитесь от официальных образцов. Там - "Желтая новь" и "Желтое пламя" с девизом "Из искры возгорится..." и так далее, чего у нас, сами понимаете, не будет. Нам нужно что-нибудь оригинальное, скажем "Вестник паперти", "Вечернее подаяние", "Ежедневный нищий".

- "Правда", только "Правда", ничего, кроме "Правды", - мрачно проговорил Иван Сергеевич.

- Но вы согласны?

"Быть может, это и в самом деле способ нести свой завет?" - спросил Иван Сергеевич у самого себя, удивляясь, как ему пришли на ум такие слова.

Первый инструктор предложил слишком высокую скорость для того, чтобы можно было принять обдуманное решение или хотя бы найти весомые ответные доводы. Происходящее казалось какой-то фантазмагорией, и теперь Гоголь, чтобы успокоиться и усмирить фантазию, глотнул бы коньячку, да Савва Кузьмич давно убрал невостребованную фляжку; попросить же Ивану Сергеевичу было неудобно. Он вдруг громко рассмеялся: нищему - неудобно попросить!

Теперь у Пополитова нашлось, что рассказать шефу с Мокрой площади. Голова, к тому же, болела невыносимо, и желание натворить что-нибудь в отместку шайке попрошайек крепчало со временем; дело было не в самой травме - ему и прежде доводилось страдать в драках, - а в оскорблении, заключавшемся в том, что его вывели из строя всего лишь из-за какой-то непотребной девки, с которой он только от скуки перебросился парой ненужных слов. Драться из-за нее по-честному Пополитов никогда бы не стал - плюнул бы и ушел, не говоря уже о том, что рука не поднялась бы на Лаперуза, пусть подлого, но увечного же. Сейчас и не нужно стало драться, оттого что он знал другой, дозволенный способ, действующий медленно, но верно и одинаково вредный и для злодеев, и для их пособников. Он знал, что меткая речь не остается без ответа, тем более - дошедшая до Пидержанова; того, правда, скорее интересовали планы нищих, их дурацкие политические выдумки, нежели наказание хулигана, но срочный звонок ему казался необходимым, и Мирон стал искать взглядом телефонную будку тотчас, едва очнулся, то есть находясь в явно проигрышном положении - лежа если и не в луже, то на мокром асфальте. С будками в этом районе было напряженно, да и, казалось, некому было бы пользоваться ими; Пополитов подумал, что мог провалиться незамеченным до утра. Несколько освоившись с обстановкой, он решил, что в Казенный Дом не поздно пожаловаться и завтра, в рабочее время, что возвращаться в "малину" скандалить не стоит и что пора подняться с сырой земли.

Наутро решимость и обида несколько не прошли, как обычно проходят у всякого русского человека, но не прошла и головная боль, а вернее - только утром и началась по-настоящему. С такой головой лучше было бы лежать и не двигаться, но, с другой стороны, Пополитову известны были виновники болезни, и он не собирался спускать им. В его районе телефоны тоже не были в избытке - ближайший, у парходства, не работал, и Пополитову для звонка пришлось уехать на автобусе прочь (можно было и на речном трамвае). Каждый толчок на ухабе заброшенной дороги отзывался в голове такой болью, словно кто-то колотил по слабому месту костылем. Смотреть на белый свет не хотелось, да и пейзаж не притягивал взгляда: заборы, временки, выцветающие песчаные дали, пыльный асфальт и нефтяные разводы на лужах. Охотников путешествовать в такой местности нашлось немного: Пополитов от

нечего делать насчитал в салоне семь человек; все они занимались в дороге своими делами - чтением, вязанием, сном. Пополитов тоже забылся было (только это был не сон, а болезненное отсутствие в мире), но его заставил встрепенуться чистый безобразный голос:

Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный,
С юных лет женской лаской прельщенный...

Приняв кудрявого мальчика на свой счет, Пополитов затем, выйдя окончательно из забытья, возмутился: "И тут нищие! И без его воя башка раскалывается. Любопытно, кто это может быть". Вытянув, как мог, шею, он привстал, чтобы рассмотреть, и тут как раз и певец оглянулся, и Пополитов увидел холеное и совсем незнакомое лицо; не очень было похоже, чтобы тот собирался обходить пассажиров с шапкой.

- Хотите, чтоб я спел другое? - спросил певец у Мирона - единственного, с кем сумел обменяться взглядами. - Закажите.

- "Мурку", - не раздумывая, назвал Пополитов, напрасно пытаюсь вспомнить, есть ли у него с собой деньги, чтоб оплатить заказ.

- Перепад, однако, - вполголоса заметил, вздернув брови, певец, но не успел Пополитов, идя на попятный, вежливо предложить тому выбрать вещь на свой вкус и по способностям, как тот уже запел:

Раз пошли на дело,
Выпить захотелось
И зашли в фартовый ресторан...

Следующую строчку подхватил весь автобус, включая и водителя. Оскорбленный певец умолк было, но через секунду начал дирижировать и так довел песню до конца.

- Душевно пели, - подвел итог Пополитов.

- Нет, господа, нет, - возразил певец, - конечно же, я рад за вас, я видел воодушевление на лицах, но войдите в мое положение.

"Начинается", - решил Мирон.

- Петь хором блатные песни, - продолжал тот, - хорошо за столом, с гостями, после изрядной выпивки, но сейчас у вас есть возможность послушать хорошо поставленный тенор, какому месту на лучших сценах Европы. И мало того, что мне предлагают чудовищный текст ("Ванька стрельнул первый, стрельнул -

промахнулся и в меня немножечко попал”!), но мой профессиональный голос еще и пропадает в общем хоре!

- Пой то, что нравится рабочему человеку, - с непонятной угрозой проворчал пожилой пролетарий, разомлевший у окошка на солнечной стороне.

- Правильно, правильно, - поддержала молодая потная баба, - нечего симфонии разводить. Поезжай к себе в Израиль, там и заливайся соловьем.

- Но я курский, господа! - вскричал певец.

- Проваливай в Курск, к своим демократам. К демократам! К дерьмократам!

- Это замнем, для ясности. Но откуда, господа, такая агрессивность, отчего вы не живете в мире между собою? Искусство должно примирять - как же вы не хотите, чтобы я пел для вас, потому что если не я, то кто же?

- Не с Большой ли Территории ты сюда забрался? - с подозрением поинтересовался пролетарий.

- Это безнадежно, господа.

- Видно, я виноват в чем-то, - сообразил Пополитов. - Но вы сами просили заказать, вот свидетели. А у человека голова расшиблена, и его оскорбили, и ему еще исполнять служебные обязанности. Собственно, и расшибли - при исполнении. Как же вы все многого хотите - от одного.

- Вы один обратили внимание. Но неужели ничего, кроме воровского шлагера, не нужно для души? Ну, назвали бы протяжную народную песню, цыганский надрывный романс. Я хотел бы доставить вам удовольствие.

Улица наконец обросла жилыми домами, и Пополитов прошел уже к выходу. С усилием переверотив пустые, глинистые слои памяти, он назвал: “Вдоль по Питерской”.

- Жаль, это не для моего голоса, но, как говорится, хозяин - барин. Извольте.

Певец добросовестно затянул заказанное, но машина, наконец, затормозила, Пополитов поспешно выпрыгнул на необрунный тротуар, и тотчас пение оборвалось.

Рядом, у квасной бочки, стояли в очереди пенсионеры, и Мирон задумался, не промочить ли горло перед разговором, но стоять было лень; мучаясь головной болью, он побрел дальше, к жилому дому из красного кирпича, на стене которого висели телефоны. Первый аппарат, как водится, не работал и зря проглотил монету, соседний же был занят, и пришлось долго ждать, пока не

наговорится о своем чаде рыхлая женщина неопределенного возраста. Пополитов тупо разглядывал ее - мелко завитые волосы, лицо без следа косметики, бесформенное платье, пыльные красные ноги; представив, что она излагает свою чепуху Пидержанову, он поскущел: ему не понравилось, что у аккуратного Федора Эрастовича нашлось что-то общее с этой неряхой. Потеряв интерес к телефону, он отвернулся, вспомнив о квасе, и тут женщина тронула его за рукав:

- Звоните. Там застряла монета, и соединяется задаром.

Злясь на Пидержанова, он набрал номер и тут же услышал в трубке аппетитное чмокание. Не сразу справившись с леденцом, майор представил, шепелявя, по всей форме, и тут настала очередь замешкаться Пополитову, забывшему, какое из имен надо назвать - один из псевдонимов или собственное.

- Слушайте, Пи...- впопыхах он чуть не назвал майора так, как привык - про себя. - Слушайте, Федор Эрастович, у них там банда, затевают в канализации какое-то дело...

- Стой, стой, стой, - с трудом уgomонил его майор. - Во-первых, что за пожар? Во-вторых, и это главное, я, кажется, запретил докладывать устно, тем более по телефону - даже по крупному делу. Сядьте и напишите подробно. Если это в самом деле срочно, зайдите ко мне. Хотя нет, лучше будьте в известном заведении в четырнадцать ноль-ноль. Закажите себе что-нибудь: фирма платит.

- Но... - хотел было возразить Пополитов и опоздал: уже слышались частые гудки. Он с неудовольствием подумал, что напросился на свою голову и что теперь придется ехать в центр, на почтамп, так как больше нигде в городе не найти писчей бумаги. Правда, оттуда рукой подать было до нужного бара.

“Источник сообщает, - начал он, заполучив чистый листок, - что Фронт защиты неимущих никого не защищает, а состоит из имущих и разбит на мелкие группы. Группы не имеют своего начальства, а собираются в малинах, где играют в азартные игры и поддают. Многие там и ночуют. Продовольствие добывают вымогательством и сдают посредникам. Я тоже посредник. Часть продуктов идет на какую-то центральную базу или в буфет, другую часть съедают в малине вместе со мной. Обстановка не лучше воровской шайки, хотя как раз не воруют и не убивают, только дерутся. Я получил травму костылем по черепу. Полночи был без сознания на улице. Ясновидящий старик Жорж хочет делать большое дело и собирает для этого народ. Так как он ясновидящий и живет в канализации, то подозревает меня. Неспроста. Ходят слухи о

жилищном кооперативе нищих и о республике. Жму руку. Всегда Ваш Шептало.”

Сочинение обошлось ему в добрый час, к тому же он чувствовал, что устно рассказал бы о том же короче и толковее. Листок имел жалкий вид: каждая фраза была зачеркнута, исправлена и записана вновь, так что на нем не осталось живого места, но переписывать начисто Пополитову отчаянно не хотелось. Только подумав, что за такую грязь ему могут и не заплатить, он достал спрятанное было в карман готовое донесение, полюбовался им лишний раз и, вздохнув, пошел за новой бумагой.

За писанием и переписыванием время прошло быстро, и когда Пополитов наконец освободился, до назначенного часа оставалось уже немного - достаточно, правда, чтобы успеть выпить до встречи с шефом; он надеялся, что водка снимет головную боль. Риска в этом не было никакого: даже и не будь прямого пидержановского совета, питье в рабочее время стало в Области слишком популярным явлением, чтобы получать за него выговоры. На досуге простому человеку не оставалось иных занятий, кроме пьянства и разврата; в кино ходила только молодежь, чтобы заниматься там, в темноте, любовью; книги давно никто не читал, это стало опасным занятием после массовых сожжений их на площадях в День Победы спасителей Отечества, и только спиртное, при всех ограничениях на продажу, при талонах, нормах и наценках, оказывалось доступным; во всяком случае, кто хотел - напивался. Рекламы славили калорийность водки, сравнимой в этом отношении только с недоступной икрой.

Бог троицу любит, и досуг вольных трудящихся никак не мог бы складываться всего из двух занятий, тем более требующих затрат; как в таблице Менделеева, тут неминуемо должна была нарисоваться третья клетка, и она возникла и заполнилась иностранным словом "домино". Любовь к этой игре стала всеобщей: чернь ценила ее за то, что от игроков не требовалось особенного ума, власти - за то, что играющему народу не оставалось времени спорить о политике и рассчитывать свои бюджеты, жены - за то, что она обходилась дешевле пьянства. Как бы там ни было, даже карты не могли сравниться в Вольной Области с домино - потому что требовали все ж и какого-то напряжения мозга, и опять-таки денег. Пополитов, один из немногих, никак не мог приобщиться к этой забаве; играя, он непременно забывал, на чем строит свою стратегию партнер, ходил невпопад и бывал за это наказан.

Вот ему и оставались недосыгаемый разврат и нелюбимое

пьянство.

В баре Пополитов, как завсегда, спустился сразу на нижний этаж, выбрав нужную лестницу по запаху маринованного чеснока; так же уверенно он занял стол со знакомой табличкой. Голова не проходила, и он сразу задал высокий темп: при Пидержанове неудобно было бы заказывать лишнее за казенный счет, другое дело - поставить перед фактом. Факт получился - томатный сок на закуску, связанный, как известно, с третьей сотней граммов; при запоздавшем шефе он получил четвертую, даровую.

- Здравия желаю, Пи... Федор Эростович, - четко поприветствовал Мирон.

- Здравствуйте, здравствуйте, - вкрадчиво и многообещающе, как принято было среди работников его ведомства, отозвался Пидержанов, поправляя узел роскошного цветастого галстука. - Откуда это у вас солдатский жаргон? Как-никак, приглашаю вас не в казарму, а в приличное место...

- Я думал, - замялся Пополитов, - дисциплина, субординация...

- Думать вредно: индюк думал - и в суп попал.

Возразить было нечего, проще оказалось согласиться:

- Полезно только с девками гулять.

- Кстати, как у вас с этим делом?

- В последнее время ослаб, - гогоча пожаловался Пополитов.

- Раньше одной рукой сгибал, а теперь и двумя не получается.

- Я о другом. Кстати, с вашего позволения, я выпью, не дожидаясь. Иначе вас не догнать. Жениться вы не думаете?

Пополитов помедлил, пытаясь угадать, каким ему выгодно показать себя - бабником и суперменом или забитым трудящимся, заслуживающим сострадания. Он дипломатично использовал момент:

- Женюсь, если будет куда привести молодую.

- Работайте, старайтесь, - столь же дипломатично отозвался майор, вешая на спинку стула свой щегольской твидовый пиджак, - а настанет срок - будет вам и белка, будет и свисток.

- Какой свисток? Не хватало еще свистнуть, чтобы менты сбежались.

- Полицию у нас вызывают по радио, - сухо заметил Пидержанов, дожевывая бутерброд.

- То есть не только жену, - вернулся к своему Мирон, - но и бабу на ночь некуда привести. Как же без этого, без проверки, выбрать невесту?

- Надо исходить из презумпции невинности, - посоветовал майор, вызвав у собеседника затруднения с ответом. - И не торопитесь, для вас главное - дело. Не забывайте, что вам только еще предстоит заработать прощение.

- Я рапорт написал, - вспомнил Пополитов.

- Еще бы не написали. Вот мы его и прочтем, не откладывая долгов в ящик, - оживился Пидержанов. - Я почитаю, а вы не сочтите за труд принести мне следующую порцию. У вас-то, кажется, последняя? Сочувствую.

За стойкой без аппетита потягивали ледяную кока-колу две яркие босые девушки, блондинка и брюнетка, обе в коротеньких платьицах - черном и белом; эта игра цвета была подсмотрена в старой рекламе виски - Пополитов видел ее на стене другого бара. Ему не пришло в голову, что это - всего лишь дорогие проститутки, он-то сказал бы, что - барышни из приличных семей; так или иначе, но Мирон не настолько осмелел от выпивки, чтобы заговорить с ними; лучше было бы совсем не заметить красоток, однако слишком лезли в глаза их закинутые одна на другую ослепительные ноги. "Как ты, Федя-Петя, ни пыжься, - сказал он себе, - а нищий - он нищий и есть. Имеешь ты квартиру, нет ли - в данном случае это не имеет ровно никакого значения. К себе ты сможешь привести только какую-нибудь Райку". При воспоминании о Райке он непроизвольно скорчил такую гримасу, что девушки покатались со смеху.

- Не смешно, - с деланной обидой сказал Пополитов. - Такое лицо должен носить каждый простой советский человек, подступающий к стакану.

- Надо ж, вспомнил, - фыркнула блондинка. - Теперь ничего советского не осталось.

- Мы-то никуда не пропали - простые советские люди, - упрямо повторил Мирон и, оборачиваясь к бармену, заказал: - Другу - вторую, а мне - призовую, с килькой.

- Быстро вы добрались до бесплатной, - удивилась блондинка. - Пришли, кажется, недавно...

- И, заметь, ни в одном глазу, - похвалила черненькая. - Изрядно, видать, тренирован.

- Я ведь почему много пью, - объяснил Пополитов. - Сто грамм выпьешь - другим человеком станешь. А другому человеку тоже выпить хочется.

От выпитого зрение Пополитова словно обострилось; он впервые обратил внимание на отделку и обстановку бара, с удивлением обнаружив вокруг себя вместо вездесущих пластика и

алюминия красное дерево и медь (украдкой царапнув стойку, он убедился в ее подлинности); возможно даже, что все тут было сработано под старину: и витые деревянные колонки, поддерживающие над собою надраенную до корабельного блеска рампу, и колокольчики, висящие на этой рампе вперемешку с хрустальными пивными кружками, и резные полки.

В этот интерьер прекрасно вписывался сытый Федор Эрастович с килечкой, но только не майор секретной службы.

Успевший прочесть и спрятать (или выбросить) донесение, майор выглядел так, что Пополитов, искренне забеспокоившись, поинтересовался его здоровьем.

- Вы проницательны, - кисло выговорил Пидержанов. - Я в это время всегда гриппую - сквозняки, видите ли, и холодное питье в жару... Но чеснокоч, который вы мне любезно доставили, весьма полезен для профилактики именно простудных заболеваний из-за содержания фитонцидов. Честно говоря, я слабо представляю, что это такое. На вашем месте я пожертвовал бы своей вульгарной килькой ради повторения противогриппозной прививки, но, к сожалению, чужой вкус - потемки. Иными словами, мое не трожь. Ну-с, не в пьянство, а в лекарство... Наше здоровье!

Зажевав глоток долькою чеснока, он продолжил:

- За письмо ваше спасибо. Очень рад был получить. Единственная просьба к автору - быть поразговорчивее. Читателям, знаете ли, нравятся подробности: кто, с кем, желательно - как. А у вас телеграфный стиль, какой прощался только великому Хемингуэю.

- О! - воскликнул Пополитов. - Во дворе нашего детдома жил один журналист. Иногда удавалось удирать к нему - полистать журналы с картинками, у него много было, и он никого не прогонял, даже и при гостях. Так вот, он любил такие стишки:

Любовью книжную боля,
Решил прочесть Хемингуэя.
Купил, прочел два тома я -
Не понял ни Хэмингуэя.

И как только он произносил их при своих друзьях, так начинались воспоминания.

- Нам с вами о великих вспоминать нечего, они нас и тенью своей не зацепили. А стишки эти я знаю, как же. Да, так о чем я? О том, что только Хемингуэю прощался телеграфный язык? Так вот,

Богу - Богово, а нам с вами нужно простым народным языком писать (вам) и читать (мне) всю правду об интересующем объекте. Все сущее вокруг него подлежит описанию...

- Описи?... - робко поправил Пополитов.

- Во-первых, - нисколько не запнувшись, продолжал Пидержанов, - вы умолчали, что там за публика, а мне чрезвычайно интересно было бы узнать, с кем вы водите компанию. Да, да, я помню, вы упомянули, что вокруг вас собрались люди зажиточные, способные даже делиться доходами с другими. С кем? Ну, с начальством - это понятно, это святое дело. Но есть же и такие нищие, которым не хватает на кусок хлеба. Скажите-ка, достается им из общего котла? Бабулям, которым сердобольное наше правительство отвалило аж по тридцатке пенсии?

- Об этом разговоров не бывает.

- Не бывает, так заведите, - пожал плечами майор. - Ох, грехи наши тяжкие... Ну-с, в лекарство, как говорится. Наше здоровье. Да, кстати о здоровье: вы что-то о черепной травме упомянули, но у вас, смотрю, все на месте.

- Не оторвали же голову.

- А только врезали клюкой? Ну, это до свадьбы заживет, гарантирую.

- Да не собираюсь я жениться, сказал же! - нервничая больше меры, воскликнул Мирон. - Квартиры у меня нет, вот что.

- Квартиры, квартиры - эго какой! Мы, кажется, договорились, а вы все о том же. Не боитесь надоест мне? Запомните: в хорошем обществе даже лучший анекдот не рассказывают дважды. Так вот, об анекдотах. Знаете, на какие группы они делятся? На английские, еврейские, одесские, о чукчах, о Чапаеве, о сумасшедших, политические, похабные и анекдоты на пищеварительные темы. Последнее, правда, мягко сказано. И все ж - о последнем. Вы как-то вскользь упоминали о некоем ясновидящем старике, живущем - пардон, не за столом будь сказано, - в канализации. Меня этот феномен заинтересовал крайне. Сами посудите, с чего бы нормальному человеку лезть в клоаку? Другие, при желании, устраиваются и без этого - вы, например. Я с удовольствием отнес бы все это к чудачествам и капризам юродивого, когда бы не такое совпадение: ваш знаменитый Фронт, едва узаконив свое рождение, поспешил оформить аренду канализационной сети, а теперь, кажется, уже и скупает отдельные ее участки. Серьезнейшее вам задание: узнать об этом поподробнее. Это важно, но не только потому, что я теперь не могу сходить, простите,

в уборную, не спросив позволения у нищих. Не поэтому.

- Ясновидящий человек ничего понапрасну не сделает, - важно заметил Пополитов. - Он-то свое будущее знает.

- От него пахнет?

- Нисколючки.

- Вот видите. Все это не просто так, тут какой-то замысел кроется.

- Может, и замысел, но только какой доход, хотя бы и нищим, со сточных труб?

- А вы говорите, что мы напрасно выбрали для встреч такое место! - возликовал Пидержанов. - Где бы еще вы так споро щелкали задачки? Конечно, никакого немедленного дохода вы от названного бизнеса не получите. Ну, муниципальные власти заплатят за обслуживание. Нет, у Фронта есть какие-то особые и далеко идущие планы.

- Вы так интересуетесь стариком Жоржем, что, боюсь, собираетесь в награду за труды обеспечить мне квартирку под боком у него, в соседней трубе.

Вовсе не восприняв это как шутку, майор сказал:

- Это было бы то, что надо. Мы бы получали самую свежую информацию.

- Зато я бы стал несвежим, - поморщился Пополитов; можно было подумать, что он уже побывал в гостях у Жоржа.

Возле столика остановилась одна из двух ярких девушек, беленькая, протягивая стакан с остатками кока-колы.

- Налейте мне сюда глоточек, майор, - устало попросила она.

- Какой я вам майор? - зашипел Пидержанов. - Здесь-то!

- А! - махнула рукой девушка. - Здесь все свои.

- Именно поэтому. И, между прочим, за этот столик девицам нельзя.

- Если вы подзовете - можно. И потом, у посторонних может вызвать подозрение сугубо мужская компания. Со мной картина выглядит естественнее. Интерьер с дамой. Если хотите - с двумя, с Машей и Дашей.

- Боже упаси! Кстати, Мирон, есть и такая серия анекдотов: о Машке и Дашке.

- А мы уже премило пообщались с вашим другом, могли бы и продолжить. Думаю, мы еще пригодимся. В интерьере.

Разбавив свою кока-кола пидержановской водкой, она уплыла куда-то вбок, неслышная босиком.

- А с нею вы согласились бы поселиться возле своего

ясновидящего? - с насмешкой спросил Пидержанов.

От возмущения - или от волнения - Мирон поперхнулся.

Жокейская шапочка, лучшая вещь в гардеробе ясновидящего старика Жоржа, досталась ему от иностранного туриста, который непременно хотел помочь симпатичному нищему, но не нашел в кармане мелочи. Способность предугадывать события на этот раз не сработала, и Жорж никак не мог понять, чего хочет от него этот говорящий не по-нашему человек, пока тот не напялил свою шапочку ему на непокрытую голову. Подарок пришелся впору, и потом старик уже не расставался с ним; знакомые говорили, шутя, что он не снимает шапку и на ночь, да скорее всего и родился в ней; но это-то последнее не было известно и самому Жоржу - ни в чем, ни где, ни когда он родился. Он знал о себе только то, что случилось в последние четыре года; наверно, столько же лет отроду насчитывал и его выдающийся дар.

Самым давним сюжетом собственного жития была ему известна, да и то лишь по полицейским протоколам и рассказам свидетелей, автомобильная катастрофа. Грузовик, в кузове которого ехали какие-то люди, столкнулся с бензовозом и, выскочив вместе с ним за придорожную канаву и опрокинувшись, рассыпал своих пассажиров по каменистому откосу. В живых остался один наш старик, лишившийся не только своих вещей (если они существовали в природе и если это их ключья увлекли потом из кучи золы), но и памяти. Следствию удалось установить лишь то, что ехавшие в машине были случайными попутчиками, посаженными в разных местах шоссе; родственники нашлись у каждого; только Жорж остался невостребованным и неопознанным, так что он и не Жоржем звался на самом деле, просто ему привиделось вдруг, что именно так будут кликать его в будущем, независимо от того, какое имя он придумает себе сам. Теперь ему начали мерещиться и другие, самые разнообразные вещи - туманные сюжеты, которые спустя время повторялись наяву, уже не в тумане; когда старик поделился кое с кем своими наблюдениями, слушатели потребовали доказательств. Оскорбленный в лучших чувствах, Жорж нашел совершенно неопровержимый довод: теперь он утверждал, что после аварии вдруг заговорил по-русски. Против этого не мог возразить никто.

Помни Жорж что-нибудь о себе, он наверняка восстановил бы свои документы, но в его положении это стало невозможным;

лишенный бумаг, памяти и никем не разыскиваемый, он словно бы не существовал на свете. Память ему, впрочем, отбило не на всё, и он легко извлек из нее подходящую к случаю поговорку: “Без бумажки ты кашка, а с бумажкой - человек”. Жить ему пришлось по первому варианту - без пенсии, работы и дома; первые, теплые месяцы он перебивался подавниями в булочных и ночлегами на чердаках, а на зиму прибил к церкви. Выяснилось, что он не забыл грамоты и может коротать вечера, перечитывая Писание; из этого впоследствии для него вышла практическая польза: если от него требовали невозможных пророчеств, он отделялся цитатами из Библии.

В околицерковной жизни нашлось много своих неудобств, и, презирав, Жорж распрощался с гостеприимной обителью; к этому времени он, любознательный и неленивый, присмотрел себе нынешнее свое жилище. Располагалось оно на большой глубине, в лабиринте лазов, ходов и туннелей, и представляло собою глухой отрезок коридора, непонятно, с какою целью изготовленный; пахло в нем вовсе не так сильно, как Жорж об этом рассказывал; к тому же неподалеку нашелся другой закуток, через который проходили сливные трубы химического производства, подтекавшие, как водится, что создавало особенную атмосферу, в которой забывался запах нечистот. Подтекали, к тому же, еще и водопроводные трубы с горячей и холодной водой, и Жорж быстро сообразил, что тут можно и мыться, и хранить чистую одежду. Завершая описание приобретенных им удобств, остается сказать, что он натащил к себе вещей со свалок и придумал, как подключиться к телефонной сети - слушать чужие разговоры, а при надобности и самому звонить куда надо.

В утро, когда ясновидящий старик ждал прихода Васька, у него побывал и другой гость - Дарья. Она вызвала Жоржа ударами железкой по трубе. Он явился в “химическую” каморку без промедления, немного покряхтывая после перехода по коллектору, где пришлось сгибаться в три погибели.

- Охота тебе лазать по норам, - проворчал он, приветствуя женщину кивком головы.

- Мне это сподручно, - жалко засмеялась Дарья. - Ходы кривые - и я кривая. И уж никто не глазет на тебя, как на улицах.

- Но и копеечку никто не подает.

- Разве во всякую минуту надо ее просить, копеечку-то? Конечно, на двадцать пять целковых пенсии не прожить, да вот, видишь, твои хлопцы стали платить за поручения. Может, и не след

мне, скособоченной, быть на побегушках, но выбора нет. Главное - у всех теперь дела важные появились, у нищих.

- Большое дело грядет, - пообещал ясновидящий старик.

- Как бы на нас не отразилось, - всполошилась Дарья.

- Обязательно отразится, но разве есть что-то, что у тебя можно отнять, а не прибавить? Спи спокойно. И отдай мне наконец то, что просили передать.

- И впрямь ясновидящий.

- Ясновидящий, ясновидящий, а очков не захватил, - посетовал он, вертя в руках полученный конверт. - Пойдем ко мне, заодно и чайком тебя попотчую.

- Не откажусь, мне ж любопытно, - обрадовалась убогая женщина; новые переходы между трубами и по трубам ее не пугали, раз уж, добираясь сюда, не испугалась, не заблудилась и не получила новых увечий - правда, некоторую часть пути, после спуска в колодец, ее провожали какие-то люди, а на ближних подступах она, со свечкой в руке, шла по меткам на стенах. Достигнув цели, она была заметно разочарована: так много повидала она в своей жизни сырых подвалов и котельных, что излишне было подробно рассматривать еще один образец. Если уж говорить о подвалах и подпольях, то в ее сознании они связывались прежде всего с крысами - только о них она и спросила, прежде чем согласиться тронуться дальше. Жорж, ставший за время подземной жизни знатоком грызунов, мог бы пуститься в пространные рассуждения и воспоминания, но не ответил бы прямо, оттого что крысы, населяющие и, кажется, перенаселившие пространство под городом, недавно вдруг оставили старика в покое; вряд ли это говорило о его охотничьей удаче - скорее, зверьки признали в нем соседа. Он и в будущем, на доступном ему удалении во времени, не видел для себя опасности ни с их стороны, в виде нападений и каверз, ни другой, более страшной, знаком приближения которой мог служить их исход из обреченного места.

- Если хочешь, - сказал он, - подуй в дудочку. Мигом соберутся.

Никакой дудочки у него не водилось, но Дарья забеспокоилась.

- Не дай Бог, увижу хоть одну! Я тогда - ни шагу дальше.

Пока Дарья передевалась в принесенную им одежду, он ждал, присев на корточки в начале большого, но все же ему не в рост, коллектора. В трубах что-то чавкало, терлось, гудело, и Жорж, привыкший разговаривать сам с собою, сказал, что вот, в соседней

квартире уже стряпают ужин. Дарья вышла в детском халатике, неуверенно ведя рукой по сырому бетону. Старик поднял с пола свечку - и, искаженная кривизной стены, тень калеки обернулась не имеющим изъянов силуэтом.

- Господь с нами, - выдохнул, отворачиваясь, ясновидящий старик.

Женщина брела сзади, бормоча что-то под нос; можно было подумать - заклинания. Старик не вслушивался и не оборачивался к ней - ему, долговязому, и без того неловко было передвигаться, согбенному, со свечой, защищая огонек свободной рукой. Запах химических отходов скоро уступил другому, природному, и этот последний с каждым шагом заметно крепчал; Дарья заволновалась было, но старик вовремя свернул в сторону, толкнув неприметную дверцу, затем, дождавшись спутницы, - другую, в глубине. Здесь снова можно стало дышать носом. Помещение представляло собой отрезок огромной трубы, так что пол всюду, кроме середины, был покат, и мебель стояла с подпиленными по-разному ножками; стояло ее тут изрядно: козлы с натянутой парусиной, заменявшие кровать, стол под пестрой клеенкой и второй, голый, с электрической плиткой и чайником, разномастные стулья, комод, зеркальный шкаф, два электрокамина и кухонная полка. Плотнее закрыв дверь, Жорж натянул поперек прохода гамак.

- Вместо дивана, - объяснил он. - Садись.

Дарья охотно упала в сетку.

Надев очки, Жорж углубился в чтение. Речь в письме шла о предстоящем в городе субботнике, то есть о дне, когда работают поголовно все, включая старых и малых, а денег за это не получает никто. Эту хитроумную вещь придумали большевики в годы первой советской разрухи; людей собирали в выходные дни не для сверхурочных занятий своим ремеслом, а для чуждой черной работы: убрать, подмести, перенести с глаз долой сгнившее бревнышко, покрасить один забор, снести другой. Спустя годы новым большевикам пришла в голову выдумка еще более хитроумная, и теперь, перевернув свой же порядок ровно наоборот, они требовали исполнения на субботниках вместо общественных как раз тех работ, что и в прочие, будние дни, только опять-таки задаром. Называлось все это праздниками труда, у проходных рабочих встречали лозунги на кумаче и духовые оркестры, отозванные с похорон, а за проходными табельщиками вели строгий учет пришедших на добровольное действо. Этот обычай был с радостью изведен в России в ходе горбачевской перестройки, и только в самостоятельной

Вольной Области вернулись к нему как к одному из способов спасения Отечества от буржуазной заразы. Нищих, впрочем, эти славные начинания никаким боком не касались, лишь на этот раз участие во всенародном празднике зачем-то понадобилось самому Хихону. Он распорядился провести субботник на рабочих местах, как это и принято было повсюду; освобождались лишь отобранные для особой акции, назначенной, по чистой случайности, на тот же день.

- Что ж, коли велят, устроим субботаж, - пробормотал ясновидящий. - За нами дело не станет.

Письмо завершалось просьбой предоставить его, Жоржа, убежище для секретного совещания; Хихону, еще не побывавшему тут, справедливо казалось, что это место осталось в городе единственным, где наверняка не подслушивались разговоры.

За неимением своей бумаги, старик нацарапал ответ огрызком карандаша на обратной стороне полученного письма.

Дарья покачивалась в гамаке, впервые, может быть, в жизни устроившись так удобно; тогда как здоровый человек возмущился бы, провалившись в слабую сетку, калека получила удовольствие, поместив в эту слабину излишние изгибы своего тела. Она подумала, что неплохо бы и дома завести такую люльку.

- К концу лета, скорее всего, - не оборачиваясь, сказал старик Жорж.

- Что к концу?

- Подберем подходящий гамак на свалке. Дачники будут выбрасывать лишнее.

- Вот откуда... - догадалась Дарья. - Хорошо ты устроился.

- Иначе пропал бы, - вздохнул он. - Да и то не дали бы жизни общие друзья наши, если б не какие-то мои удачные предсказания. Не любят, ох, не любят у нас ни соперников, ни вообще удачливых людей. Но почему, думаешь, меня оставили в покое? Смешно: они не столько уважают за предсказания, сколько боятся сглаза.

- В настоящем доме живу, а не лучше, чем ты.

- Уметь надо, - самодовольно усмехнулся он. - А не то давай жить вместе. Легче будет хозяйство вести.

Он сказал это, не меняя тона, следя за реакцией гостьи; та не засмеялась и не возмутилась, и старик, предвидя конфуз, но постыдно не зная, какой именно, попробовал ее обнять; для этого надо было сесть рядом с нею в гамак. Дарья не противилась, и старик успел опуститься в сетку, только руку еще не простер для объятия, когда крюк вылетел из стены. Парочка рухнула на бетонный пол.

Жорж попытался как-то перенести вес на ноги, а Дарья упала уже на него, так что убились оба не сильно.

Барахтаясь на коленях старика и запутываясь от этого в сети, Дарья расхохоталась до слез.

- Из гамака-то, - невозмутимо сказал он, - положено на травку выпадать.

- Почто ж ты пол не настелил дощатый? Все помягче было бы, - понемногу успокаиваясь, спросила Дарья. - А то двери царские заделал, а ходишь по мертвому камню.

- Нельзя, хозяйюшка: под полом нечисть заводится, да и вода напотеет, застоится.

- Моя хата, видать, лучше, - вздохнула Дарья, по-крабьи выползая на открытое место, - да и на людях интереснее жить, хотя и таясь от них. Сосед, известный тебе, помогает как-никак.

- Сосед твой, - ответил ясновидящий старик Жорж после недолгой паузы, - может много вреда принести.

24

Подойти к дому можно было, либо сделав небольшой крюк по хоть как-то освещенным улицам, либо короче - анфиладой страшных дворов; возвращаясь поздно, Пополитов выбирал второй путь, справедливо рассуждая, что грабителям не резон таиться там, куда честный человек даже днем не заглянет и за калач. Сегодня эта привычка, кажется, выручила его. Ночь давно перевалила за середину, и странно было увидеть впереди, на перекрестке, праздно стоящего, словно ожидающего свидания, мужчину. При приближении Пополитова объявился на другой стороне улицы и второй и начал потихоньку пересекать мостовую. Третьего видно не было, но в таких компаниях вдвоем обходятся редко, и, значит, он ждал за углом. Пополитов, решив, что ему хватит и одного удара по макушке, не стал проверять правильность догадки и, немного не дойдя до места приготовленной встречи, свернул в знакомую черную подворотню. Сюда не выходила ни одна дверь, и окон было наперечет - случись что, он не дозволялся бы помощи.

Он не оглянулся и не прибавил шагу, зная, что и самый лихой человек не осмелится пойти следом.

В последней подворотне Пополитов приостановился, чтобы проверить, не опередили ли его те трое; но нет, нигде не было ни души. Напряжение, однако, не оставило его; Мирону казалось, что кто-то смотрит ему в спину, но он не оглядывался - из суеверия. В

подъезд Мирон вступил с излишней осторожностью - там никого не оказалось. Озираясь, он бесшумно вставил ключ, побранился про себя, оттого что замок плохо работал, и, сладив наконец, вошел в полный мрак. Развернувшись, чтобы запереть за собою, Пополитов вдруг задел что-то живое, дернулся в ужасе и услышал, как загрохотала по полу какая-то жестянка; потом он не мог понять, почему не закричал.

- Это я, соседка, - прошелестело над ухом.

Боже мой, это была Дарья.

Комнаты Мирона и Дарьи располагались сразу за входной дверью, точно напротив одна другой. Иногда Пополитов, когда не спал за полночь, слышал, как соседка крадется на кухню, но ни разу не вышел следом, чтобы не смущать стесняющуюся своего уродства женщину. В этот раз им было не избежать беседы на свету; им и вообще давно следовало бы поговорить, коль скоро они оба, как обнаружилось перед демонстрацией, занимались одним делом (Мирон сразу перестал понимать, отчего Дарья скрывается от соседских глаз: к ее уродству жильцы, хочешь не хочешь, успели присмотреться, и вернее было бы предположить, что женщина стыдится скудости своего стола, но после встречи среди демонстрантов ему легче стало заподозрить, что утаивается, напротив, недостаток: он-то, Пополитов, знал, какую выгоду извлекают люди из собственных увечий).

Не заходя к себе, он поспешил на кухню (и попутно наделал шума, в темноте наподдав ногой сваленные почему-то у кухонной двери совки для мусора - пять штук, по числу жильцов). Голая лампочка на длинном шнуре еле осветила скверно окрашенное помещение; схватив чужую - какая попалась - кружку, Мирон напился холодной воды. У него совершенно пересохло в горле. Дарья, кривобокое существо с конечностями разной длины, встала к нему спиной, мешая что-то в кастрюлке.

- Напугали вы меня до смерти, - с нервным смешком проговорил Пополитов.

- Вот и я гляжу, что-то вы сразу - пить из-под крана. А я было затихла, слушая, как вы осторожничаете с дверью. Уйдет к себе, думаю, я и побреду дальше.

- Что же вы - в темноте и втихомолку? Будто боитесь кого.

- Вы же знаете: плохо мне рядом с другими. У них на столе - разносолы, а я перебиваюсь с тюльки на кашу. Картошку, и ту не купишь, а своя - родится, нет ли. Пенсия-то за уродство - уродская.

- Помните, мы встретились на демонстрации? - подошел

Пополитов к главному. - Тот народ, тоже ведь неимущий, не впроголодь живет, а?

- Они-то имущие и есть, - печально ответила женщина. - Они же банда. Если подчиниться им, придется побираться от зари до зари. Вы-то лучше меня знаете.

- Вовсе не знаю.

- А как же?..

- Никак. Я там вроде как на службе, мне поручили кое-какие дела за плату, за оклад жалованья.

- Вроде как у меня сейчас? Но у вас еще и казенная ваша служба, - подытожила Дарья. - Мне так не жить. Хотя, что греха таить, бывают удачи. Нынче один такой, вроде вас, помог. Я его знала в лицо, а тут сошла в трамвае. Он мигом сообразил что к чему: послал просить, а сам стал, как говорит, создавать обстановку. Вот что мы делали: я, значит, вхожу в вагон с торбочкой, речь завожу робко, а он, незнакомый будто, поджидает, пока полвагона пройду, до места, где он сидит. Тогда вскакивает и начинает шуметь: "Господа! Что же мы смотрим спокойно, как мыкается эта несчастная? Как мы одичали! Мне стыдно быть сытым рядом с нею!" И еще много чего выкрикивает, а сам идет ко мне и медленно, чтобы все успели увидеть, опускает в торбочку синенькую или красенькую, смотря по публике. Народ у нас жалостливый, но ему надо пример подать, а тут они видят такую щедрость, их и пробирает, особенно баб: конфузятся, но сыплют бумажки. Так поездили часа два или три, я выручку отдала, а он мне из нее четвертной отвалил. Четвертной билет! Месячная пенсия!

Рассказ озадачил Пополитова. Только теперь он понял, что бедняки всегда остаются бедняками и у неимущего отнимется и прибавится богатому. Ему стало неловко из-за того, что он, не подумав, похвалился перед голодной женщиной новым, от нищих, жалованьем, которое она тотчас сметливо приплюсовала к зарплате заводского охранника, - дважды неловко, оттого что существовала еще и третья статья дохода. Эти совсем уже дармовые деньги, текущие из Казенного Дома, по его мнению, не помешали бы и Дарье, но ему не хотелось бы вербовать себе конкурентов. Вместе с тем услышанное только что от соседки кое-чего стоило: пересказывай Пополитов такие историйки, Пидержанов был бы доволен. Добыча подобных сведений вполне могла быть связана с издержками, и Мирон решил, что тайное ведомство должно оплачивать их отдельно.

- И что же в итоге варится в вашей кастрюльке? - осмелев,

развязно спросил он.

Рука Дарьи привычно дернулась было, чтобы прикрыть посуду, только теперь это было бесполезно.

- Я ж говорю, - безнадежно пробормотала она, - перловка. Да вот полкилограммом сухой хамсы разжилась.

- Давайте-ка вместе поужинаем, - предложил Пополитов. - У меня как раз кое-какие запасы образовались: брынза, маслице да повидло. Одному, знаете, плохо кушать. И надо же отпраздновать вашу сегодняшнюю удачу.

- Тогда это я должна угощать.

- Не будем считаться. Главное - не упустить повод, - назидательно сказал Пополитов, отметая возможные возражения.

Они предусмотрительно расположились на ничьем пространстве, на кухне, чтобы, как сказала Дарья, не бросить тень на девушку (Мирон подумал: "И на юношу"). Стол, на его взгляд, получился славный.

- Имеете, значит, зуб на начальство, - бросил он, намазывая маслом толстый ломоть заварного хлеба.

- Вот уж чего у меня, слава Богу, нету, - засмеялась Дарья, - так это начальства на земле. Один Господь и есть.

- Наши беды - не от Бога.

- Но я ни на кого зла не держу.

В это он не мог поверить. У каждого водился какой-нибудь неприятель, которому в свое время, в отместку за причиненный тем вред, пусть недолго даже и мимолетно, но хотелось ответить не меньшим вредом; если по русской отходчивости или лени и обходилось без ответа, то, как считал Пополитов, желание сделать обидчику плохое или хотя бы не сделать хорошего не могло не оставить следа.

- Разве, - спросил он, - с нами все поступают справедливо?

- Нахлебники все равно найдутся, не те, так эти. Думаешь - защитник, а он завтра к тебе в карман залезет.

- Так держите карман шире! Нет, Дарья, надо глядеть в оба, чтобы поймать жулика за руку, а вы, я вижу, слишком доверчивы. Вас еще сто раз проведут, обведут вокруг пальца. Если хотите, я буду помогать вам. Держите меня в курсе дел нашего общего начальства (не знаю, как назвать его иначе), и тогда, может быть, не они нас обманут, а мы их.

- Не хочется никого обманывать, и сплетничать я не привыкла.

- Какие же тут сплетни? Это будет то же самое, как если бы

мы вдвоем читали газету. Просто нам обоим полезно заранее знать обо всем, что готовится против нас, чтобы назавтра не застали нас врасплох и не ошипали как кур. Одна голова - хорошо, а две - неужели хуже?

- Ну, не знаю, - покачала головой Дарья. - Это все пустые разговоры будут.

Все ж у нее не нашлось причин отказать ему, да как-то и не в чем было отказывать - у разговора словно не было предмета. Это почувствовал и Пополитов и уже был близок к мысли, что, когда нет предмета, тогда и не за что платить.

- Брынзу берите, - угощал он. - Хамса ваша полежит еще, а брынза - продукт портящийся. Да и редкость по нашим временам. Пользуйтесь случаем: дают - бери, знаете? А вообще - интересный у нас ужин.

Чем ему была интересна эта поздняя трапеза, Пополитов не объяснил, услышав шаги в коридоре. Он думал, что проснувшийся жилец направился в ванную, но тот, двигаясь на свет и голоса, приоткрыл кухонную дверь. Пополитов с улыбкой оглядел неспортивную фигуру неодетого - не считать же одеждой черные сатиновые трусы и голубую майку - Павла Потаповича.

- Чем гремите еженощно, граждане? - вполголоса спросил тот, сонно покачиваясь на пороге. - И что это за совки на кухне?

- Это я по вечерам складываю их поперек дороги, - смущенно призналась Дарья, - всякий раз на новом месте: как выйду кашки сварить, так непременно и наткнусь - шум невелик, а крысы разбегутся.

- Последних ног не жалко?

- Неужели у нас водятся крысы? - ужаснулся Мирон.

- И еще какие! Рядом же пристань, склады. В доме, правда, не попадались, но на помойке их полно.

- Если не попадались, - улыбнулся Пополитов, - чего же бояться? А ты, Полпотапыч, присаживайся, перекуси с нами на сон грядущий, чайку попей.

В глубине души он надеялся на самодельный соседский напиток.

- Ничего себе - на грядущий! - всплеснул руками Павел Потапович. - Мне дороже был минувший: с таким трудом дался! А только заснул - гремят. Не иначе, думал, начинают адскую машину. Так вот, о сне лучше не вспоминать, а что до чая, так я на ночь воду не пью. Винца - вот винца хорошо бы, да жаль добро переводить; что же это такое: заглотал - и в постель? С винцом надобно долго сидеть,

с чувством.

- Случилось что-нибудь? - раздался голос из-за спины Павла Потаповича: еще один жилец заглядывал в кухню.

- Общее собрание, Глеб Глебович, - отозвался Пополитов. - Садитесь с нами, попейте чайку, чтоб ночью не вставать.

- Отчего бы и нет? - потирая руки, согласился Глеб Глебович.
- Если только на нашем собрании не высекут, как в Вороньей слободке, за непогашенный свет.

- Я схожу, погашу, - вызвался Павел Потапович.

- И все ж, что за подпольщики собрались? Тайное общество в поддержку бездомного?

- Вовсе не худо бы создать такое, - живо отозвался Мирон. - Взрослый человек Пополитов, а не имеет ни кола, ни двора, и не быть ему ответственным съемщиком еще много лет. Если по закону, то я и на этот чай не имею права.

- Слышу, слышу, о чем говорите, - раздался издали голос Фелицаты Константиновны, - слышу и несу варенье.

Соседка пришла в длинном, до полу, халате; неизвестно, в каком наряде ожидал ее увидеть Глеб Глебович, но только рядом с нею застеснялся собственного вида, хотя и был одет плотнее того же Павла Потаповича, а именно: в тренировочные, с белыми лампасами, брюки, выше пояса на нем был только нательный крестик.

- Надо бы полотенце взять, - проговорил он. - Знаете, как замоскворецкие купцы пили: выдуют самовар - второй ставят, с самих пот течет, а они только утираются.

Во входную дверь позвонили.

- Вот и гости ранние, - глупо сказал Пополитов.

Поблудневший Павел Потапович отправился открывать.

Гости то ли не разобрали, сработал ли звонок, то ли совсем невтерпеж было, только через полминуты дубасили уже и кулаками.

- Это серьезно, - сказал Глеб Глебович. - Помните ли, Фелицата Константиновна?

Она помнила, конечно.

Поискав глазами предмет потяжелее, но не найдя ничего достойнее одного из чугунных совков, Пополитов поспешил следом за Павлом Потаповичем. "Вообразим, что это саперная лопатка," - сказал он сам себе.

Впущенные Павлом Потаповичем, в квартиру ворвались четверо солдат в пятнистых костюмах и в касках. В считанные секунды, поставив жильцов в коридоре лицом к стене и попутно заглянув в комнаты, они добежали до кухни, где оставалась Дарья. С

нею вышла задержка, оттого что, поставленная, как и другие, лицом прочь, она оставалась к стене боком, зато, насильно приплюснутая к плоскости грудью, спокойно видела все происходившее в помещении. Пока солдаты решали ее ребус, до кухни не спеша добрался и пятый, офицер.

- Бросьте, - устало сказал он и крикнул в коридор: - Всем - вольно! И живо - ко мне!

Обыватели собрались, не торопясь.

- Отсюда не выходить, - запретил офицер, с усмешкой оглядывая пеструю группу. - Ночной патруль. Капитан Сыроваська. У вас на кухне свет и собрание.

- Мы здесь живем, - объяснил Павел Потапович. - У себя дома. Чай собрались пить.

- Я в гостях у них, - поспешил уточнить Пополитов, понимая, что лучше не попадаться на маленькой лжи.

- Собрание в комендантский час, - повторил капитан. - К гостям голиком не выходят. По поводу чего сходка?

- Давно не виделись, господин капитан, - смиренно сказал Пополитов.

- Стол накрыт на двоих, - заметил проницательный офицер. - Двое едят, остальные смотрят. Кто лишний...

"...тех расстрелять", - едва не досказал за него Мирон. Это был бы опрометчивый совет.

- ...кто нелишний, разберемся в части. Одевайтесь.

"Лучше бы попасть в полицию, - подумал Пополитов. - Оттуда до Пидержанова рукой подать".

- Позвольте узнать, - обратился к офицеру Глеб Глебович, - в чем причина этого, с позволения сказать, выяснения? Разбираться, так здесь: тепло, светло, сухо. Да и как же мы в комендантский час выйдем на улицу?

- Разговорчики! - прикрикнул капитан. - Область находится в состоянии войны. Сходки, хотя бы и с целью свержения существующей власти, недопустимы. После наступления комендантского часа граждане находятся каждый на своей территории. Налицо собрание граждан в зоне неформального общения. Лица, уличенные в организации митингов, подлежат передаче в распоряжение компетентных органов.

- Компетентных, простите, в чем? - не удержался Глеб Глебович.

- Просто компетентных, - не сразу ответил военный. - Не бывает в чем.

Комендантский час то вводили, то отменяли едва ли не каждый день, отчего он перестал восприниматься всерьез и жителями, вечно путавшими, какой из указов действует сегодня, и, кажется, самими властями; по крайней мере о ночных проверках на улицах было не слышать, и неприятности полуночникам грозили только в случаях, когда они попадались на другом. Улицы, правда, все равно вымирали в указанное время, потому что переставал ходить общественный транспорт: если кого и наказывали за нарушение режима, так это водителей. Машины, застигнутые в пути сигналом точного времени, не имели права даже добраться до гаража, а только - до ближайшего сборного пункта, какие устраивались на перекрестках вблизи полицейских постов; там стояли до утра и легковые автомобили, и рейсовые автобусы. Поэтому сейчас, во второй половине ночи, вид автобуса с табличкой сто седьмого маршрута, катящегося в полном одиночестве по самой середине мостовой, казался необычным. Салон его не был освещен, но там сидели люди, числом всего одиннадцать, из которых пять пели хором невеселые народные песни (всякую не до конца, за незнанием слов), а остальные, наряженные в форму, делали вид, что презирают это занятие - потому уже, что находятся при исполнении служебных обязанностей. Старший из них время от времени стучал в кабину водителя, жестами приказывая ехать побыстрее, на что тот иными жестами давал понять, что поедет как хочет.

Неспешная езда через весь город прервалась на окраине у ворот, на которых, по сохранившейся армейской моде, красовались красные звезды, теперь уже не пяти-, как при советской власти, а восьмиконечные, но пародирующие всё ту же красную планету Марс, названную в честь бога войны. Тут же стояли еще несколько машин: крытые грузовики, такси, большие и маленькие автобусы; при виде этой очереди старший из молчаливых, капитан, помрачнел. Ворча, он побежал в караульную будку наводить справки, а вернувшись, зло велел шоферу разворачиваться.

- Весь город съехался в эту... (такую-сякую - и так шесть неодинаковых раз) часть, - выкрикнул офицер, обращаясь то ли ко всем, то ли ни к кому.

- По крайней мере доходчиво, - заметила Фелицата Константиновна; остальная публика благоразумно промолчала.

- Пардон, мадам. Ведь до утра прождем. Нанялся я ночевать с

этими задохликами...

- Солдат спит - служба идет, - к месту вспомнил Павел Потапович.

- Молчать! Пока сплю, враг пробирается на сходки. Мой долг - быстрее сдать одних, чтобы арестовать следующих. Меня только похвалят, если я отвезу вашу банду не в комендатуру, а в полицию. Пусть вам будет хуже.

- Что в лоб, что по лбу, - вздохнул Павел Потапович, тотчас заслужив новый окрик.

Задержанным было всё равно, всё - одинаково плохо, и только Пополитов понял, что дело обойдется лишь испугом. Чтобы не выдать своей радости, он снова завел песню.

- А помните ли, - потянуло на воспоминания Павла Потаповича, - как нас целыми коллективами возили то на уборку картошки, то на овощную базу, то на стройку какого-нибудь кирпичного завода...

- Похоже, что вы тоскуете об этом, - с удивлением перебил его Глеб Глебович. - Так ведь и теперь ездят точно так же, и слава Богу, что оставили в покое нас, пенсионеров.

- Я не то хотел сказать. Так вот, когда нас возили на принудительные работы, мы все с удовольствием пели в автобусах, в электричках и, заметьте, знали все слова.

- Дурацкое занятие, между прочим, - не мог уже остановиться Глеб Глебович, только что певший вместе со всеми, - убивать время, повторяя одни и те же стишки.

- Что с вами, Глеб Глебович? - удивилась Фелицата Константиновна. - Я вас просто не узнаю: откуда столько раздражения?

- Шумел камыш, - вдруг затянул он, - деревья гнулись...

Обрадовавшись находке, попутчики разом подхватили классическую песню русских пьяниц - и иссякли после первого куплета. Они даже сконфузились от неожиданности, оттого что привыкли считать уж эту-то песню известной всем поголовно; им невдомек было, что в действительности едва ли нашелся бы один человек на тысячу или, скорее, на десятки тысяч или вообще один на средней величины город, кто просветил хотя бы относительно пятой строчки, не говоря уже - всего текста. Тем более ничего удивительного не было в том, что у наших пассажиров стерлась из памяти старая песня, молвою связанная с выпивкой: в автобусе сто седьмого маршрута собрались совершенно трезвые люди.

- Ах! - воскликнула Фелицата Константиновна. - Я забыла

прокомпостировать билет!

Пока спутники раздумывали, не шутит ли она, старушка успела достать из кармана необъятной юбки смятый билетик и щелкнуть компостером.

- В моем возрасте стыдно было бы, - объяснила она.

- Но это же служебная машина, - не придумал лучшего

Мирон.

- Прежде всего - порядочность.

Не только Фелицату Константиновну, но и безбилетных ее соседей, к их удовольствию (именно так, потому что автобус был заведомо лучше камеры), снова изрядно покатали по городу, без остановки миновав множество полицейских участков, отчего-то нелюбезных душе старшего из конвоиров. Светало, когда машина затормозила у ветхого низкого дома, в котором светились только ближние к подъезду два окна; первое было в закутке дежурного по участку, выгороженном из вестибюля стеклянной перегородкой. Через эту прозрачную стенку входящие уже из дверей видели, что сидящий за пультом сержант коротает ночь не один: еще трое полицейских (наверно, уличный наряд) сражались с ним в домино, да две девицы неявного звания, равнодушные к игре, скучали тут же, под рукой, на жестком диванчике. Сержант не поинтересовался ни самими вновь прибывшими, ни их паспортами, просто молча отобрал квитанцию у офицера конвоя, глянув на того с замеченным всеми пренебрежением, и закрыл компанию в камере. Ясно было, что придется ждать, когда проснется и позавтракает начальство - никто даже не задал сержанту вопроса. Никто также не спросил, отчего здесь так пахнет из туалета.

Три стены камеры не имели ни дверей, ни окон; четвертую же, со стороны коридора, заменяла решетка. Мебель отсутствовала начисто, и единственный туземец, заскорузлый юноша, сидел в уголочке на полу; так же пришлось устроиться и новичкам. Удобных углов хватило как раз на всех: для женщин полицейский принес все-таки стулья. Стеклянная каморка дежурного располагалась как раз напротив, и наблюдение за ее тоскливой жизнью оказалось каким никаким, а развлечением. Достоинство костяшек домино было, конечно, неразлично издали, но ход состязания прочитывался на лицах участников, а их восклицания заменяли репортаж; к этому прилагалось и музыкальное сопровождение: чем значительнее был ход, тем громче игрок ударял костяшкой по столу. Партия закончилась довольно скоро, и тотчас одна из девиц, разлепив глазки, пробормотала: "Скучно". Намек поняли с полуслова - полицейские

наряда, видимо, только ждали повода или просьбы: надев фуражки и поправив амуницию, они, трое, деловито вышли вон.

Вскоре после их ухода в участке появился гражданин с овчаркой. Пес, обнюхивая углы и обстановку, порывался предъявить претензии на территорию, подняв ножку; сержант с любопытством наблюдал за борьбой с ним хозяина. Кое-как одержав победу, тот обратился к дежурному:

- Только взгляните, господин инспектор, какую мерзость расклеивают на стенах! Но я чуть не поймал его. Так быстро, подлец, бегаёт! Молокосос!

Сержант двумя пальцами взял протянутую ему в окошко листовку.

- “Лучше протянуть руку, чем ноги”, - прочел он вслух. - Ну, это знакомый лозунг, я его уже видел. “Ни к чему обладать имуществом - его все равно отнимут”... Что ж, против этого не поспоришь. “За власть, свободную от собственности”... А вот это уже призыв к свержению.

Текст показался знакомым и Пополитову.

- Наша коллекция быстро пополняется, - сказал дежурный гражданину. - Спасибо, что вы пришли сами.

- Рад быть полезным, - осклабился тот. - Если что, то я всегда... Очень приятно было... Желаю удачи.

- Э, нет, - остановил его полицейский, подмигивая окончательно проснувшейся девушке. - Давайте-ка оформим все как следует. Вот вам бумага, ручка. Пройдите в соседнюю комнату, опишите случившееся - что это за прокламация, как она к вам попала, за кем это вы гнались. Объясните также, что вы понимаете под властью, свободной от собственности. И давайте-ка ваши документы.

- Откуда же документы? Я вот с собачкой вышел во двор, подомашнему, чуть ли не в тапочках.

- В комендантский час и без документов? Нехорошо, нехорошо. Указ есть указ, и пишется он для того, чтобы его нарушали. Вот я и обнаружил нарушение - очко в мою пользу. Командование оценит.

- Может быть, для первого раза обойдемся так, запросто?

- Без документов я не удостоверю вашу личность, и листовка, не связанная своим происхождением с определенным человеком, автоматически станет анонимной. Мы же, как известно, анонимные тексты не принимаем. Так что я могу предложить вам только одно: оставьте своего кобеля, а сами извольте сходить за паспортом или что там у вас есть.

- Как же я оставлю собаку?

- Очень просто: привяжите ее в уголке. В соседней комнате есть удобный такой барьер. Вот вы и оберните поводок вокруг балясин. Хотя, стоп. Заприте ее в камере.

Хозяин собаки побледнел, Павел Потапович тоже. Пополитов почувствовал в голове легкое вихревое движение, так что камера вдруг показалась не квадратной, а круглой, уподобившись клетке на цирковой арене, в которой клоуны заперты вместе с тигром.

Гремя ключами, сержант отпер камеру; хозяин судорожно втолкнул туда огрызнувшуюся на него овчарку, а Дарья сползла со стула на пол и протянула руку:

- Иди-ка, собаченька, сюда. Подремлем вместе.

У собаки имелись, возможно, свои планы, но теперь она, вильнув хвостом, подошла к женщине. Хозяин издал какой-то звук, и овчарка, оглянувшись и увидев его по ту сторону забора, рывкнула на него.

- Иди-ка, собаченька, ко мне.

И пальцы Дарьи зарылись в мягкую собачью шерсть. Пес лег рядом и вздохнул.

Туземец, до того сидевший словно без сознания, вдруг подал признаки жизни, потянув за рукав ближайшего к нему: Павла Потаповича.

- Фанера есть? - пробормотал он нечленораздельно.

Павел Потапович позволил себе не понять вопроса.

- Разговорчики! - окрикнул сержант. - Молчать в камере!

- Вот фраер! Деньги, спрашиваю, есть? - нетерпеливо перевел сам себя туземец, не обращая внимания на полицейского. - Давай их сюда: пошлем девку за водярой и куревом. И вы, остальные, гоните. По мордам вижу, что вас выпустят утром, а мне...

Павел Потапович поднялся, пошарил в карманах брюк и мирно попросил:

- Встань-ка, браток.

Туземец, не понимая для чего, поднялся, и Павел Потапович, не вынимая рук из карманов, с небольшой стариковской силой ударил того ногой в живот. Пополитов вскочил, но его помощи не потребовалось, потому что вскочила и собака и зарычала на туземца. Сержант за пультом расплылся в золотозубой улыбке.

- Да, не тот удар, - посоветовал Павел Потапович. - А ведь был полузащитником в команде мастеров. Правда, хорошее ремесло всегда пригодится.

Вскоре вернулся из своего рейда наряд с трофеями в виде двух бутылок. Девушки обрадованно засуетились, достав откуда-то стаканы, нож и кусок вареного мяса. За прозрачной перегородкой началась своя оригинальная жизнь, перебиваемая кое-какими интермедиями: то гражданин, выручая собаку, принес паспорт, и его засадили за барьер писать донос, то прибежала ограбленная в другом районе женщина, и дежурному пришлось связываться с чужими участками; то, когда приступали ко второй бутылке, пропала одна из девушек, и ее несомненно нашли во дворе спящей на заднем сиденье разбитого в аварии автомобиля. Незадачливый туземец, поскулив (“То мент метелил, то этот фраер - ни за что”), снова ушел в свое небытие, и о нем забыли; неопытных заключенных волновали сейчас лишь собственные неловкие позы, от которых ныли спины и ноги, да усиливающаяся вонь, к которой они не могли притерпеться и которая, видимо, не присуща была участку, оттого что и полицейские водили носами. Сержант не поленился сходить, посмотреть в чем дело.

- Туалет испорчен, - со злостью объявил он, вернувшись. - Терпите до изолятора.

Терпеть пришлось не до изолятора, но долго. Начальник участка пришел чем-то недовольный и отчитал дежурного за случайный окурочок на крыльце; вдохнув же местного крепкого воздуха, он и вовсе потерял голову:

- У вас что, труп в помещении? Старая расчлененка? Я же запретил таскать сюда вещдоки!

- Никак нет, господин лейтенант, - удалось вставить сержанту.

- Не никак нет, а как раз да!

- Сортир засорился.

- У тебя столько арестантов, что не хватило двух унитазов?

Но арестантов было наперечет. Начальник и не посмотрел на них, а поспешил запереться в своем кабинете на втором этаже. Прошло не менее часа, прежде чем он начал вызывать к себе задержанных. Пополитов порывался пойти первым, но не мог объяснить свое нетерпение, и ему пришлось уступить женщинам. Сержант (уже другой, из дневной смены) пришел за ним, когда те еще не вернулись - сидели взаперти и зря портили бумагу, описывая свою жизнь.

- Фамилия, - бесцветной скороговоркой потребовал начальник. - Имя, отчество.

Пополитов назвался.

- Род занятий? Живее! Клещами из тебя тащить?

- Господин начальник, наберите, пожалуйста, коммутатор Казенного Дома.

- Это еще зачем?

- Добавочный: сорок - двадцать восемь. Майора Пидержанова.

- Черт знает что, - вяло ругнулся лейтенант, но по телефону позвонил и довольно долго слушал монолог Пидержанова; тот рассказывал о чем-то таком, что полицейский только что обнаружил и в своем районе. Оба не знали, что предпринять.

Теперь и Пополитов отправился писать объяснение - ненужное в действительности. Вскоре все население зеленого дома у пристани собралось в просторной комнате второго этажа. Окна тут были без решеток, но выпрыгивать было ни к чему, да и вредно для дела.

Когда приехал Пидержанов, Мирона снова вызвали в кабинет после обеих женщин и даже после Глеба Глебовича. Майор, развалившись в кресле, обсасывал своего любимого петушка на палочке - это при ужасной вони, доносившейся, как показалось Мирону, с улицы, через открытое окно.

- Что за богадельня? - первым делом спросил Пидержанов, брезгливо кивнув на дверь.

- Квартира, - осторожно ответил Пополитов, не зная, чем может обернуться откровенность при полицейском лейтенанте, - та самая, в которой я хотел занять комнату. В интересах дела.

- Ну и общество вы себе выбрали! Я-то думал, что у вас там гарем. А что вы скажете об этом... аромате?

- Авария, а арестанты наделали, - предположил Пополитов, не понимая, почему к нему обращаются с таким вопросом; в этом деле он не считал себя знатоком.

- Вы или прикидываетесь дурачком, или, извините... Вот, полюбуйте, - майор подал ему лежавшую на столе газету. - Издает, между прочим, Фронт защиты неимущих. Представляете ситуацию? Пресловутые неимущие набрали штат редакции, нашли типографию, купили бумагу, распространяют тираж (это не в один день сделалось!), - и я узнаю об этом постфактум, из свежего номера газеты! Купив эту пакость у мальчишки!

Пополитов тупо посмотрел на название: "Голая правда", - говорившее ему не больше чем все прочие.

- Читайте, читайте, - торопил майор.

Газета писала не о самых понятных Мирону вещах. Тут были

заявление Фронта о своем суверенитете и требования мест в выборных органах, отмены налога с краденого и организации специального образования начиная со “Школы юного нищего”.

- “Получение статуса нищего не зависит от размера дохода субъекта”, - прочел вслух Пополитов. - Без пол-литра не разберешься.

- Но ведь была у вас возможность, - вскипел Пидержанов, - и пол-литра выпить, и бочку! Это дело, повторяю, долго делалось.

Люди, с которыми общался Мирон, вряд ли слышали о газете заранее. Кто-то другой, незнакомый, выдумывал название и мечтал о местах в Думе - не Васек же, не Лаперуз, не Райка, разве что Уклонист, но тот держался особняком, не открывенничая с нищими.

- С другой стороны, Пи... Федор Эрстович, - попробовал оправдаться Пополитов, - что толку в этом романе? Пенсия, школа - это же сказки для малолеток. Пусть себе щелкоперы строчат статейки...

- Плохо читать умеете, Мирон... как вас там дальше? Декларация сама по себе стоит, конечно, мало, даже и смешна, да вот ниже - объяснение этому чудесному запаху. Это же они устроили, черт побери, неимущие ваши! Настолько неимущие, что запросто позволили себе купить подземные коммуникации города. А я вас предупреждал, прямо называл вашего этого Жоржа-Ясное-Солнышко, но вы и пальцем не пошевелили. Вы думаете, что лишь в этом вашем жалком полицейском сортире случилась авария и что сейчас привезут пьяного сантехника, вымоют полы и вы с любимой девушкой пойдете нюхать розы? Черта лысого! Это сделано повсюду, я уж не знаю как. И эта вонючая “Голая правда” еще успокаивает нас: это, видите ли, всего лишь предупреждение, но скоро ваше дерьмо потечет куда нужно. А оно пока что всю прет из колодез! В другой раз они оставят нас купаться в нем до утра, до зимы, до безоговорочной капитуляции.

- Со мной такими планами не делились, - беспомощно пролепетал Мирон.

- Это не один человек сделал, тут большие силы втянуты, и вы должны были заметить приготовления.

Квартира уплывала от Пополитова, далекого от имущих и власть имущих и потому невиновного в случившемся. Если при нем между нищими и говорили о канализации, то лишь как о месте проживания старика Жоржа; впрочем, об активности ясновидящего Мирон предупреждал.

- Ясновидящий старик Жорж... - начал майор.

- Увольте меня, - попросил Пополитов.

Он так и не понял, согласился ли майор с его просьбой, только скоро все задержанные оказались на улице. День еще начинался, люди торопились на работу, и это никак не вязалось с обилием праздничных желтых флагов. Пополитов готов был связать украшение улиц со своим освобождением, но еще одной вещи он не мог связать ни с чем - вони. Если в полицейском участке он мог винить в ней бескультуре нижних чинов, то на свежем воздухе в любом случае полагалось бы витать более сложным запахам.

- Но еще и флаги, - пробормотал он.

- Всенародный субботник, - просто разъяснил Павел Потапович.

- Так и я должен...

Впереди их ожидало любопытное представление. На углу, у аптеки, играл уличный оркестрик (репертуар, естественно, был блатной: "Гоп со смыком" да "Широка страна моя родная"), и прохожие бросали деньги в большую жестянку из-под сельди, а поодаль, вытянувшись цепочкой вдоль тротуара, стояли немзыкальные нищие, тем же числом, каждый - с протянутой кепкой, полной монет. То хором, то порознь они гундосили:

- Возьмите копеечку, Христа ради!

Среди пешеходов находились такие, что и в самом деле без удивления прихватывали себе по монетке-другой из ближайшей шапки. Пополитов ошалело оглянулся, но не увидел ни кинооператоров, ни осветителей - кино кажется, не снимали. Кривоколенная Дарья, подумав, зачерпнула себе горсточку; пересчитав в сторонке добычу, она осталась довольна.

- Спаси вас Бог, - сказала она своим благодетелям.

Воспользовавшись перерывом в музыке, мальчик лет десяти, ожидавший в дверях аптеки, подхватил селедочную банку и, торопясь, рассыпал ее содержимое по кепкам раздающих.

"Субботник на рабочих местах", - догадался наконец Пополитов.

Транспарант над входом - черным по желтому - поздравлял сотрудников огромного проектного института с праздником спасительного труда (молодой инженер, накануне поинтересовавшийся у одного из кураторов, от чего спасает субботний труд, не от зарплаты ли, сегодня не участвовал в

субботнике, отправляясь в дорогу в места, близкие интеллектуалам и вообще любознательным). По местной трансляции передавали танго, и многие из молодежи, особенно девушки, невольно соразмеряли шаг с музыкой, а то и просто проходили по вестибюлю, пританцовывая. Ритм танго был, пожалуй, немного резв для нынешнего утра, когда никто не боялся опоздать: раз выход на субботник считался делом совершенно добровольным и главное было - явиться, то не могло быть речи о том, чтобы сотрудников журили за скромные задержки; они поэтому не только не спешили, но и нарочно урывали у государства пять или десять минут, находя в этом острый вкус и чувствуя себя героями.

На рабочих местах каждого ожидал праздничный бланк наряд-задания, на котором поверх обычных граф желтым по белому было напечатано напоминание: "В наших руках спасение Отечества"; сами же графы содержали вписанные от руки нынешние, праздничные поручения: подписать справку, составить заявку на канцтовары, прибрать в своем столе.

В вытанцовывании под мелодию "Брызги шампанского" была одна несуразность: молодые люди, поначалу взбудораженные видом грациозно двигающихся девушек, устремлялись к ним, имея в виду, вероятно, приглашение на танец, пусть и в служебном коридоре, но по мере углубления в здание успевали протрезветь, не только не слыша за дамами привычного парфюмерного шлейфа, но и начиная понимать, что находятся в весьма своеобразной атмосфере. Охота танцевать вдвоем отмирала сама собою, и молодые люди уходили в гордом одиночестве, ступая все еще в ритме несостоявшегося танца.

- Леночка, милая, да туда ли мы попали? - не выдержав, заговорил с девушкой на низменную тему один такой разлетевшийся было и даже достигший географической цели молодой человек.

- Может быть, нам объяснят на митинге? - морщась, ответила она. - У меня уже голова трещит. На улице все ж было получше.

- До митинга надо еще дожить, - мудро заметил он. - А пока я выбираю курилку!

Он рассчитал правильно: табачный дым отбивал посторонние запахи. Только нельзя же было курить весь день без перерыва. Избранное, курящее общество собиралось сегодня на лестничной клетке, на верхних этажах. Издавна местами для курения были определены администрацией туалеты, что славно помогало бороться с дурной привычкой: не всякий почувствует приятный вкус во рту, когда рядом кто-то, журча, священнодействует у писсуара; сегодня

же курить в туалете могли бы, кроме страдающих насморком, только люди, мало того что стойкие к унижению, но и очень мужественные. Обычно с лестниц курильщиков прогоняли пожарные, но сегодня первые были полны решимости дать отпор любому чину; ряды их выросли невероятно, лестничные площадки были набиты битком, и собравшимся следовало опасаться не пожарной, а строительной инспекции, то есть не огня, но обвала.

Вместе с тем нынешний разговор тут не сводился к единственной теме, не замыкался на состоянии окружающей среды.

- Нынче ночью у нас был пожар, - возбужденно рассказывал человек в толстых выпуклых очках, - и я, представьте, выбежал в одном презервативе!

- С сегодняшнего утра, - шепотом сообщал кто-то своему соседу, - наша Область называется Придуралье.

И другие:

- Знаешь, почему нас не поддерживает Запад? Правизна, левизна, фашизм - это все не то. Просто мы - злостно безъядерная зона; что же обращать на нас внимание?

- Мне по секрету сказали, что завтра выходит постановление о любви.

- Так любить или не любить? Вот в чем вопрос.

- Ах, это было тогда так же невозможно, как увидеть секретаря обкома в твидовом костюме...

- Помнишь, у Василия Белова в романе "Чего же ты хочешь"?..

- Постой, у Белова - "Всё впереди", а то - Кочетов.

- Но ведь это одно и то же!

- Стихия сексуальности должна стать единственной средой, если угодно - идиолом...

- Точно так же сделали в прошлом году: понастроили рюмочных и, не открывая их, повесили на каждой плакатик: "Водки нет".

- А я прошлым летом был в Киеве, так там было ровно наоборот: пооткрывали кафе, а на них - таблички: "Кавы немає". Все же заходишь - торгуют водкой.

- Послушайте, Осташевский, вы и вправду горели?

Всю эту отрывочную утреннюю болтовню вдруг прервал зычный голос из коридора:

- Господа субботажики! Первый отдел волнуется, почему никто не пришел за секретными документами.

- Но там дурно пахнет, - возразил кто-то. - Лично я в подвал

не спущусь. Мы не можем загасить сигареты даже на минуту.

- Обняем строго добровольно, - поддержали его.

Зычно взывавший сдался:

- Хорошо, господа, но через час собирайтесь на митинг в конференц-зале десятого этажа. Наверху воздух чище. Осташевский, Гарифулина и Нечипоренко - как всегда, в группе скандирования. Подойдете ко мне за инструкциями.

- Осташевский горел, - предупредили его.

- Но гарью не пахнет.

- Сейчас, извините, другим пахнет.

- Ну, довольно, довольно. За работу, господа.

Митинг прошел не только, на радость руководству, успешно, но и при переполненном (невидаль) зале и затынувшись, оттого что никто не хотел спускаться с этажа, по которому гуляли еще сравнительно чистые сквозняки. Закрыв митинг, тут же открыли профсоюзное собрание, до сих пор много раз срывавшееся из-за отсутствия кворума. На нем обсудили форму доски почета, установили новый порядок выявления победителей патриотического соревнования, переделали графики обеденных перерывов и сельскохозяйственных работ, выбрали ответственных по подготовке к зиме и наказали ответственных по подготовке к лету; наверно, они поработали бы еще много столь же полезных вещей, если бы где-то внизу не засвиристели пожарные сигналы.

Мгновенно сделалась паника. Кидаться из окон было высоко, лестница вниз вела узенькая, да никто и не знал, куда бежать (выше - некуда, вниз - нельзя, потому что оттуда-то и шла опасность), но бежали, застревая в первой же двери.

- На третий! На третий! - крикнул из середины зала самый сообразительный. - Оттуда уже можно прыгать.

- Прыгай сам, - ответил сдавленный женский голос.

Разлетелось стекло в двери. Кто-то порезался и звал врача - в тон ему позвали пожарного. Сработал новый сигнал - выше, ближе. Из-за пробки в дверях до сих пор удалось выбраться на лестницу лишь двум-трем десяткам человек; всего их было пять сотен. Получалось, что большинству выйти не удастся.

Кто-то трезвый обратил внимание на отсутствие дыма; впрочем, окна зала выходили только на одну сторону.

Внизу раздались сирены пожарных машин, и почти одновременно включились сигналы тревоги в высотном здании напротив. Многие бросились к окнам посмотреть - но и там вроде бы не горело. Подъехавшие красные автомобили разворачивались к бою,

и разведчики в блестящих касках помчались брать штурмом вход; противник, однако, позорно бежал - на посту не оказалось ни одного вахтера (хотя, быть может, пожарные и не разглядели тех сквозь запотевшие стекла противогозлов).

- Наверху люди! - прогремел рупор командирского автобуса, и разведчики поспешили спасать.

Долго молчавший после утренних танго репродуктор, вдруг включившись, одарил публику обрывком последних известий: "...центре города колонна нищих. Трансля..."

- Всем частям отбой! - ни с того, ни с сего нервно распорядился командир из своего автобуса. - Тревога в здании СУДа. По машинам! Ближе нас к этому очагу никого нет. Отечество в опасности! Все - на СУД!

Разбилось еще одно стекло, но дверной проем не стал от этого шире. Однотонно голосила придавленная женщина. И в эту минуту кто-то понял, что датчики срабатывают не от дыма, а просто от зловония.

- Остановитесь! - истошно завопил он. - Я знаю!

27

Именно на этот день наметил Гоголев сообщить Вавочке о своем намерении оставить школу - только об этом, не больше, - и вот теперь замысел погибал из-за необъяснимого атмосферного явления, заключавшегося в том, что в одном месте сгустились все миазмы города. В этот день, сразу понял Иван Сергеевич, нельзя было заводить значительных разговоров, оттого что впоследствии их содержание непременно стало бы в сознании собеседника связываться с обстановкой, в какой было произнесено, а значит - с отвратительным запахом. Например (он живо представил себе будущий диалог каких-нибудь нынешних любовников): он, задумчиво: "Помнишь день, когда я сказал тебе о своей любви?" - Она, ласкаясь: "Да, милый, тогда страшно воняло".

В другой раз Гоголеву было бы все равно, поговорить с Валентиной Валентиновной днем раньше или позже, но теперь, в летние каникулы, встречи их стали редки: целый месяц Вавочки вообще не было в городе, а по приезде ей, свободной от службы, непросто стало выдумывать предлоги для долгих отлучек из дома. В эту субботу предлог нашелся, и они встречались, но могло так случиться, что совсем не сумели бы побыть наедине. В школе все лето работал городской скаутский лагерь, и теперь, до начала

учебного года, хотя скауты и не ушли еще, надо было убрать накопившийся мусор и вымыть классы. Чтобы собрать на эту операцию учителей, директриса сама обзванивала их, находя отпускников в самых отдаленных уголках Области - кого на даче, кого на курорте.

Дети работали, как и следовало ожидать, из рук вон плохо; еще бы: убирать для себя и убирать за собой - разные вещи. Сегодня они убирали словно бы для других - для школьников (хотя многие скауты должны были прийти осенью именно в эту школу), но Иван Сергеевич сомневался, что они больше старались бы, работая тут и перед открытием лагеря, если бы знали, какой отдых их ждет: игры на голом асфальте, встречи с ветеранами чего-то или с чьими-то современниками, глупейшие рапорты и занятия по строевой подготовке. Сегодня скауты помогали взрослым лишь потому, что не находили себе другого занятия, но все, на что они годились, - это таскать носилки, которые можно было принести или не принести, но невозможно было принести плохо.

Повозившись с полчаса, Вавочка объявила перекур, пригласив Ивана Сергеевича на свежeweымытую ею скамейку. Он сумрачно наблюдал, как она достает из карманов куртки сигареты, зеркальце, губную помаду, зажигалку.

- Вокруг столько биологического газа, - предупредил он, - что чиркни зажигалкой - и вполне возможен взрыв. Какая, кстати, прекрасная возможность шантажа: взять в руку спички и позвонить президенту, потребовать чего-нибудь неслыханного, полцарства!

Два мальчика подошли с пустыми носилками.

- Валентина Валентиновна, можно обратиться к Ивану Сергеевичу? - дурачась, спросил меньший из них.

- Обращайся.

- Иван Сергеевич, а Ганичев воздух испортил!

Второй замахнулся на него, тот отскочил в сторону, и они принялись с хохотом гоняться друг за другом.

Мимо школы с огнями и сиренами промчались пожарные машины.

- Кто-то все же закурил, - предположила Вавочка. - Из искры возгорелось пламя.

“Накаркали,” - подумал Иван Сергеевич, имея в виду официальную прессу, выступающую как раз под этим, “Из искры возгорится...”, девизом, и перенесся мыслями к своей газете, для которой вопрос о девизе был большим местом: Гоголев не мог придумать ничего подходящего, попросту не зная, что ему нужно -

призыв или эпиграф. Все, что он с натугой изобрел, были несерьезные слова Хихона: “Нищанство всеильно, потому что оно верно”, - но это или почти это уже было сказано однажды по поводу совершенно другого учения, и вдобавок даже и та формула уже была вторична; в оригинале она выглядела так: “Этого не может быть, потому что не может быть никогда”. Последнее годилось для газеты курьезов, а не новостей, и опять-таки это был эпиграф.

- Мы шутим, - продолжала Валентина Валентиновна, - но если дух будет крепчать с прежней скоростью, то мы к вечеру погибнем. Не устроить ли нашим скаутам поход в лес с ночевкой?

- Этим кончится, - рассеянно отозвался Иван Сергеевич, - но не мы ими командуем. Я бы потерпел еще немного, чтобы дожидаться разъяснений.

- Даже если это не будет усиливаться, а останется в нынешней силе навсегда, то представь себе, Ваня, что народ притерпится, а это так, Ваня, народ смирится и будет считать такую атмосферу нормой.

- Лет через семьдесят найдется кто-нибудь, кто разъяснит, как люди были глухи. Но скажи-ка мне лучше, голубушка, что такое девиз газеты, - этакая идея фикс привязалась с утра. Ты, как член Движения, должна это знать. Прежде, например, все до единой газеты, включая стенные, призывали пролетариев всех стран соединяться (заметь, не соединиться окончательно, а только соединяться, соединяться, совокупляться без конца). Девиз отражал цели правящей партии, и это было понятно. А нынешний - “Из искры...” - никаких целей ни отражать, ни выражать не может, это ведь, по сути, эпиграф. Боже мой, сколько раз ученики выбирали его для сочинений!

- А что бы ты предложил?

- В том-то и дело, что я не знаю, что нужно, что можно...

- Ах, - махнула рукой Вавочка, - охота тебе в такую погоду забивать голову всякой ерундой. Тот девиз или этот - какая разница? Дождись осени - и тебе все разъяснят на Задушевных Беседах.

- Насчет такой погоды ты, кажется, попала в самую точку: новые ароматы особенно хороши для приятной болтовни о зефире.

Они расхохотались.

“Но как же мне не везет с Вавочкой, - огорченно подумал он. - Вечно природа подстраивает каверзы самого низменного толка: то я заявлюсь на ее урок нагишом, то где-то прорвет канализацию”.

Срочно требовалось посоветоваться с кем-нибудь толковым - и подходящего не нашлось не только рядом, но и вообще среди знакомых. Пожалуй, только новый чудака, взявшийся выпускать газету, сказал бы путное, но Савва Кузьмич при знакомстве сам зачем-то сделал так, что к тому нельзя стало обратиться ни с приказом, ни с просьбой. Новичок тогда плел что-то жалкое насчет то ли искупления, то ли покаяния, и Савва Кузьмич подумал с неприязнью: "Хочешь отмыться красивой жертвой - твое дело. Вот и иди, проси, Христа ради, милостыню в трущобах, у пролетариев," - и не только не положил ни гроша жалованья за кресло в редакции, но и не дал (а тот не просил) разрешения побираться в хорошем месте, то есть не поставил его в положение человека, обязанного своим достатком ему, Хихону. Теперь же не было даже понятно, кто кому должен.

Чудака, Ван Гоголь, оказался старательным работником, был образован и пока не злоупотреблял своею независимостью, так что Савва Кузьмич корил себя за недалекость. Хотя с газетным делом Ван Гоголь, разумеется, знаком не был, но первый блин вышел, кажется, блином, и Савва Кузьмич хотел использовать момент, чтобы исправить ошибку - навязать этому бессребреннику гонорар и премию; но только, как бы там ни было, Ван Гоголь, сделав дело, повел себя, как вольный художник: пропал, не сказавшись; Савва Кузьмич решил, что тот запил.

Возможно, что и Ван Гоголь, всего-навсего школьный учитель, не помог бы, даже определенно не помог бы, но всегда хорошо при важной работе иметь под рукой всех помощников. Работа предстояла необычная и непростая: встреча с президентом. Успокаивая себя и всех причастных и посвященных, Савва Кузьмич говорил, что президент Области ничуть не страшнее прежнего председателя облисполкома, но, с другой стороны, в его власти было казнить или миловать в самом прямом смысле слова; да и титул сам по себе действовал заораживающе.

Приглашение Савва Кузьмич получил незамедлительно, после первой же акции. Привычнее было бы, если б власти начали запугивать, делать пакости, применили бы силу или, напротив, сделали бы вид, что ничего особенного не произошло. Но результаты хихоновского предприятия оказались слишком впечатляющими: не только весь столичный город был парализован и в конце концов опустел, но и некоторые правительственные подвалы с архивами

залило нечистотами - и власти признали свой проигрыш.

Когда в редакции прозвенел телефонный звонок, Ван Гоголя уже и след простыл. У аппарата случайно оказалась машинистка, у которой хватило сообразительности не только записать сообщение, но и поинтересоваться номером телефона звонившего; потом Савве Кузьмичу пришлось не раз перезваниваться с президентской администрацией, уточняя условия.

В последний день Савва Кузьмич вдруг понял, что не готов к встрече. Сосредоточившись было на определенных вещах - на своих не то просьбах, не то требованиях, - он упустил из виду, что разговор нужно будет начать с общих вопросов, с теории, да, быть может, ею и ограничиться для первого раза. Без нее все дело могло показаться затеей кучки мошенников; подкрепленное же мудрым учением, оно приобретало вид народного движения за справедливость. К тому же полезно было бы внушить президенту, что тому нечего опасаться за свою власть: в трудах основоположника нищенства прямо говорилось, что вопрос власти - это вопрос собственности, значит, и посягать на первую традиционно неимущие не могут по своей природе. Правда, в другом месте Фридрих Ницши говорил нечто совершенно противоположное, а именно : “Нищие не претендуют на собственность - тем легче им захватить власть”. В этом противоречии следовало разобраться, чтобы в беседе с противником одно подчеркнуть, о другом умолчать... и при этом не запутаться самому. Совсем не лишне было бы перечитать все первоисточники, да уже не хватало времени. Также и взять с собою к президенту вместо Биксы надо было бы самого Фридриха, но тот давно стал недосягаем для властей и последователей, сбежав на Большую Территорию, к нелюбимым демократам.

С утра Савва Кузьмич и Бикса корпели над “Кратким курсом нищенства”; консультировал и руководил ими Уклонист. Читать все подряд было уже некогда, приходилось пробегать глазами отдельные куски, те ли, что надо, - никто не знал; билет же на экзамене мог выпасть любой. Тем более они спешили, что если о месте встречи Савва Кузьмич догадывался, то назначенный час знал весьма приблизительно, не имея пока на руках ни письменного приглашения, ни пропуска.

Из соображений безопасности Савва Кузьмич не сообщил людям президента своего адреса, и пропуск обещали прислать в редакцию “Голой правды”; оттуда его должен был привезти рассыльный.

- Бесплезно все это, - вздохнул Савва Кузьмич, бросая

книгу. - Чем больше учишь, тем меньше знаешь. Да и нельзя говорить президенту очень многих вещей из учения. Вот, например, Фридрих утверждал, что нищие - избранный народ. Помилуй Бог, кто же спорит? Скоро в нищие будем избирать всенародно и только достойнейших. Да и то сказать - несчастный и талантливый народ. А скажи это президенту - обидится до смерти: как же он-то не в числе избранных?

- Ну, нищим-то мы его всегда сделаем, - успокоил Бикса. - А с твоим Фридрихом все равно без пол-литра не разберешься. Надо бы просто выписать главные лозунги на бумажку - вдруг удастся подсмотреть? Фридрих, вообще, паразит: заварил кашу - и в кусты. Мог бы и подождать, пока дело наладится; теперь сам как сыр в масле катается, а мы - расхлебывай.

- Что ж ты-то не уехал?

- Уехал бы, - живо отозвался Бикса, - глазом не моргнув, уехал бы, кабы пустили да кабы знать, что смогу устроиться. Кто меня там ждет? Ни работы, ни хаты... Здесь я - нищий, а там - никто.

Между тем, пора было готовиться к выходу. Биксе оставалось лишь повязать галстук, хозяин же дома щеголял еще в спортивных брюках и фланелевой рубашке; собираясь переодеться, он отослал всех прочь из комнаты:

- Сходите-ка, распорядитесь, пусть Варвара Петровна даст нам перекусить.

Открыв гардероб, Савва Кузьмич призадумался: сегодня нужно было выглядеть достойно и вместе с тем скрыть, что ему, нищему, по карману любая роскошь. Будь его воля, он надел бы джинсы, но это означало бы попросту срыв переговоров. Легчайшая пиджачная пара, рожденная в Южной Африке, тоже не годилась, оттого что за версту было видно, каких бешеных денег она стоила. Пришлось снять с вешалки простой серый костюм местного пошива, в котором Хихон выглядел человеком толпы; чтобы сгладить это впечатление, он позволил себе надеть дорогие мокасины и французский галстук. В таком виде Савва Кузьмич, с бутылкой коньяка в руке, сошел вниз.

Стол на террасе был накрыт незатейливо: сыр, ветчина, печенье пирожки с яблоками. Бикса, развалившись на стуле, жадно пил нарзан.

- Воду не хлещи, - остановил его Савва Кузьмич, - потеть будешь. Лучше примем по маленькой на дорожку и за успех дела. Все ж не каждый день доводится встречаться с самим президентом.

- Слушай, - осенило Биксу, - как-никак в первый раз в дом

идем: хорошо ли - с пустыми руками? Не взять ли бутылку?

- Он старик, - смеясь сказал Уклонист, - вряд ли ему можно пить.

- Будто Хихон у нас молодой. Он, как Черчилль: тот до ста лет дожил, а сигары прикуривал одну от другой и армянский коньячок попивал. Говорят, Сталин ящиками слал ему. Не знаю, правда, кто из них раньше помер. Если наш, то, наверно, Черчилля то и подкосило, что посылки перестали приходить. Знаете, если привыкнешь к одному сорту...

- Если к денатурату, - сказал Уклонист, - то от коньяка вполне может стошнить.

Уклонист попырвался проводить делегацию до станции, но Савва Кузьмич запретил:

- Мало ли кто придет в это время. Нет уж, сиди на посту, - и, оборачиваясь к Биксе, передал ему пластиковый пакет: - Неси. Там сапожная щетка. Не то, пока выйдем, на чертей будем похожи.

И в самом деле, в поселке сносили частные усадьбы, ставя на их месте многоэтажные городские коробки, и машины разносили со строек по улицам песок, известку и глину, растирая их колесами в пудру; в сухую погоду дороги были мягкими от пыли.

Перестройка поселка была предметом постоянного раздражения Саввы Кузьмича - потому уже, что когда-нибудь могла затронуть и его дом. Но и на чужую беду он смотрел хозяйским глазом.

- Подумай, - говорил он сейчас Биксе, - что делают эти паршивцы. Жили себе люди в добротных домах, большими семьями - и на всех комнат хватало, и было кому хозяйство вести, и дети были при бабушках, и за самими бабками был призор. А в хозяйстве - и сад, и огород, зелень, яблочки, свиньи, куры, картошечка. Можно, значит, было в магазин не ходить, а если на рынок, то затем лишь, чтобы продавать излишки. И овощи, между прочим, прекрасно сохранялись до следующего лета. А теперь все это разорили, добро пошло под бульдозер, и на этих костях строят вот такие ящики. Сколько в каждом жителей? А ведь каждый из них - клиент овощной базы, то есть питается уже из магазина и на рынок ходит не продавать, а покупать. Видишь, надо и овощехранилище строить, куда на каждый мешок картошки, что съедали раньше, придется заложить два, оттого что половина сгниет. Надо и детские сады построить. Но как же - городские удобства в доме! А ведь всех дел было бы - за десятую долю тех же денег провести сейчас в поселок канализацию и горячую воду, и разговор окончен, и можно считать,

что эти средства вложены не в жилье, а в сельское хозяйство. Какой бы толк вышел!

- Сыты были бы, это точно, - поддакнул Бикса. - Вот скоро у тебя сила будет (тьфу, чтоб не сглазить) - и начинай новую программу.

- С моими силами контроль над пригородами не установить. Здесь если и есть нищие, то дикие. Да и погоди-ка загадывать, ты ведь не напрасно сплевывал: неизвестно, чем кончится встреча. Может, поговорим да разойдемся, а?

- Оно бы и к лучшему, - вздохнул Бикса. - Чего тебе не хватает?

Старик не ответил.

Кого послали гонцом, было неизвестно, но Савва Кузьмич сразу узнал свою желтую сумку на плече у сошедшего с электрички молодого человека, похожего на цыгана; кажется, они уже виделись.

- Не я ли сам принимал тебя на работу? - припомнил Савва Кузьмич.

- Было дело, - усмехнулся цыган, протягивая сумку хозяину; тот нетерпеливо рванул застежку, ища пакет.

- Надо же, как они подгадали, - изумился Хихон, прочтя письмо. - Если б мы с тобой, Бикса, не оделись загодя, то сейчас сбегать домой не успели б. А так даже небольшой запасец есть. Да и посыльный не сплеховал. Тебя, молодой человек, как кличут?

- Федя-Петя, - сокрушенно ответил посыльный.

- Что, не по душе имечко? Ну, уж как окрестили, никуда не денешься. Лучше скажи-ка, что нового в городе.

- Все клянут наш Фронт почем зря: им, мол, поручили хозяйство, а они его мигом погубили.

С дальнейшими перемещениями в пространстве вышел конфуз. На запертой за ненадобностью билетной кассе обнаружилась наспех нацарапанная записочка: "Будучи в связи с производством ремонтных работ движение отменяется до 14 часов". Часы над головой не показывали пока что и одиннадцати. Савва Кузьмич безнадежно оглянулся на пристанционный пятачок - нигде не было и признаков такси; если быть точным, то единственным свидетельством существования автомобильного транспорта тут служил лишь облупленный указатель остановки автобуса.

- Пойдем на шоссе, - предложил Бикса. - Щсточка-то с собой, так что не страшно.

- Далеко ль отсюда вы живете? - с надеждой узнать секретный адрес спросил Пополитов. - Не то вы бы отдохнули

покуда, а я бы нашел тачку да подогнал к воротам.

- Заманчиво, но замысловато, - оценил Савва Кузьмич. - Лучше действовать самому, иначе замучаешься ждать.

- Самому, - передразнил Бикса. - Самому машину пора иметь. Небось, если сейчас опоздаем, постыдишься сказать президенту, что всего-навсего не сумел поймать попутку. Ты с ним вроде как на равных хочешь разговаривать, только он-то прикатит на "линкольне", а ты - пешком с посошком.

- Но я же нищий, ты забыл? Мне надо прощать чудачества.

- Простит он, как же. Он только и ждет... А ты губы развесил, на успех надеешься.

- Надеюсь.

- Отпраздновать надо будет.

- Э, загад не бывает богат.

- Ты же надеешься?

- Сегодня ничего не образуется. Сегодня будут одни слова; только раз он мне их даст, то и держать придется мне. Больше того, как я эти слова ни держи, он всегда сможет взять их обратно. Лучше потерпеть, когда дело до того дойдет, что назад уже не поворотить. Тогда и гульнем, но тихо, чтобы никого не раздражить. И Федю-Петю пригласим: мы теперь с ним повязаны, он наш соучастник.

На обочине шоссе нищие простояли не меньше четверти часа, напрасно протягивая руки навстречу всякой легковой машине.

- Тянуть- то руки нам привычно, - невесело улыбнулся Савва Кузьмич.

- Трех не возьмут, - сказал Пополитов и, опасаясь невыгодного для себя решения, поспешил добавить: - Да и двоих побоятся.

Делать было нечего, пришлось поступиться принципами и просить помощи и у автобусов, и даже у грузовых машин, и вскоре они уже карабкались в крытый брезентом военный грузовик.

- Вот и армия начинает помогать Фронту, - заметил Савва Кузьмич, усаживаясь на пристроенную поперек кузова доску.

- Хорошо сидим, - сказал Бикса. - Я было приготовился ехать, сидя на полу, на каких-нибудь пыльных мешках.

Он еще не знал, какую сумму сдерет с них солдатик.

Денег после каникул не осталось ни гроша - как всегда, но с той небольшой разницей, что если прежде приходилось мучительно

считать дни до первой полочки, то теперь считать было нечего, положение упростилось до абсолютной прозрачности: денег нет - и не будет. В сердцах Иван Сергеевич, новоиспеченный безработный, сказал сам себе: “Хоть иди побираться”, - позабыв, что именно это он и задумал некоторое время назад. Теперь выходило, что и побираться он вроде бы отказался, согласившись в этом с предводителем, председателем (он долго выбирал титул), инквизитором или инспектором нищих и только на черный день оговорив себе разрешение просить в нехлебных местах, например в булочных. Хотелось, по советскому обычаю, жаловаться сразу во все инстанции, и время от времени Иван Сергеевич сурово напоминал себе, что решился на испытание ради благородной идеи и, значит, обязан нести свой крест не ропща. Расслабляясь по вечерам, он все-таки возмущался тем, что опрометчиво всунул голову в клещи: “От зарплаты отказался, милостыню просить, слава Богу, нельзя, так я еще должен задаром, на пресловутых общественных началах, тянуть эту идиотскую газету! Возможно, конечно, что старик Инструктор на радостях разорится на гонорар. Интересно, сколько платят журналистам? Сочинители, за свои нетленные книги, и те получают мизер. Недаром же кто-то написал, что жить на гонорары могут только умершие писатели. Что же говорить о газетчиках?”

К счастью, Иван Сергеевич умел не только рассуждать, но иногда и действовать; поэтому предстоящая встреча с Вавочкой не повергла его в сколько-нибудь длительное отчаяние; немного поразмыслив, он отнес в скупку настольные часы (будто бы каминные, но советского производства, предназначенные для людей, не выдавших каминов). Смолоду они стоили тридцать пять рублей, а теперь он выручил триста и не мог понять, удачную ли сделку совершил.

В последний момент оказалось, что Вавочка может уделить Ивану Сергеевичу всего полчаса-час; выходило, что он напрасно волновался из-за дороговизны развлечений. Свидание было назначено у Музея прошедшего времени, в одном из самых безлюдных мест города. О прошедшем времени теперь никто не хотел вспоминать, оттого что настоящее было не лучше, и, стало быть, сюда приходили не по доброй воле, а только с экскурсиями, в рабочее, конечно, время, взамен Задушевных Бесед о политике либо уроков в школе; кроме того, с недавних пор матери, в воспитательных целях, стали водить сюда малышей - припугнуть, на всякий случай, новейшим экспонатом, ужасным памятником величайшему преступнику всех времен. Памятник этот был куплен

недавно в курортном городке Дубулты в недружественной Латвии; его, в разобранном не то в распиленном виде, случайно нашли там в бесхозном сарае. В молодости он стоял в разбитом позади городской церкви сквере и представлял собою огромный, в треть церковного здания, угловатый кусок мрачного металла. Шкафообразный Ленин стоял, широко расставив ноги и повернув голову прочь от ненавистного храма; всякий зритель при первом взгляде на него чувствовал в спине холод. “Какое уж тут тяжелоозвонкое скаканье, - подумал учитель литературы при знакомстве с чудом света, - когда не на его топот, а на одно шевеление плеч Кавказ отзывается землетрясениями! Впрочем, что ни говори, а это - гениальная карикатура.” В отличие от прочих монументов вождя, которые все были для Ивана Сергеевича пустым местом (в случае чего он даже не заметил бы подмены), этот заставлял на себя смотреть и запоминаться. Вообще, умение смотреть мимо дурных статуй было, вероятно, врожденным качеством Гоголева, ибо еще в своем советском детстве он имел несчастье постоянно путать натыканные перед каждым детским садом гипсовые фигуры мальчиков Володи и Павлика (соответственно Ульянова и Морозова). Здесь, на новом месте, монумент стоял на вершине холма, и бывшие большевики гордились, что стоит он над городом; вместе с тем, окруженный высоченными старыми домами, он, повторяя судьбу киевского Владимира (не Ленина), даже зимою, сквозь голые ветки, не был виден из города - ниоткуда издали.

Иван Сергеевич присел на скамеечку подле вождя, взглянул снизу на глыбу и съежился, не в силах сам себе описать впечатление. Чтобы отвлечься, он стал гадать, как перевозили этого гиганта, и, занятый столь интересными мыслями, пропустил приближение Валентины Валентиновны, хотя и ждал случая лишний раз полюбоваться из отдаления ее свободной, как у балерин, походкой. Иван Сергеевич восторженно, когда она уже опускалась рядом с ним на скамью. То ли оттого, что он взглянул мельком да искоса, то ли из-за пышных рукавов закрытого платья, ее фигура казалась полноватой - теплее и аппетитнее обычного; но он знал, что стоит дотронуться - до руки хотя бы, до острого локтя - и это впечатление полноты заменится другим - худобы и слабости, и ему стало жаль Вавочку.

- Ну и место я выбрала, - неуверенно сказала Валентина Валентиновна. - Край света.

- Зато мало вероятности встретить знакомых. Больше, все же, чем у меня дома.

- Ах, не до того. Послушай, что ты наделал? И в секрете от меня, я узнала последней! Прихожу в школу - и мне преподносят сюрприз... Что произошло, почему ты уволился?

- Это и мне кажется странным, - признался Иван Сергеевич. - Нет, не в смысле внезапности, а потому, что я до сих пор не уверен, правильно ли поступил.

Ничего более связного он не мог выдать из себя - не говорить же любимой женщине о своем намерении жить подаянием.

- Мне было стыдно своего благополучия, - наконец составил он фразу.

- Какое, к черту, благополучие? - воскликнула Вавочка. - Ты же нищий.

- Вот-вот! Зачем же нищему ходить на службу? Если мне положено за грехи терпеть лишения и голодать, я стану голодать.

- Послушать, так тебе место в скиту.

- Но я думал и об этом! - обрадованно вскричал Гоголев, вспоминая свой сон и смущаясь, непонятно почему для Вавочки. - Я серьезно думал о монастыре...

- О женском, - попала в точку она.

- ... и о том, чтобы пойти по миру. На мне - вина, пойми: я во всем поддерживаю желтых, во вред невинным. Эта история со Смирновой...

- Лучше мягкий шанкр, чем мягкий характер, - фыркнула Вавочка.

- Всякую вину следует искупать.

- Не хватало мне навязчивых идей! - схватила она за голову.

- Но если уж навязались, - обиженно отозвался Иван Сергеевич и вдруг оживился: - Слушай, это идея!

- Что именно?

- Навязчивая идея - это идея. Пойми одно: я должен отдать долг. И если моя вольная жизнь бессовестна, значит, я по справедливости должен лишиться и воли, и свободы. Я бы выбрал монастырь, но это может быть и пещера, и тюрьма, и больница, сумасшедший дом, наконец.

- Милый мой, - почти заплакала она, - но с таким настроением - какая тюрьма? Как раз только желтый дом и под стать. Знал бы ты, сколько там таких!

Из боковой двери вышла экскурсия - старшеклассники во главе с тучной учительницей; экскурсовод, юноша в очках, выделялся из группы только своею указкой, которой пользовался как

тросточкой.

- А в нашей школе, совершенно случайно, нет сегодня экскурсии? - забеспокоился Иван Сергеевич.

- К сожалению, - ядовито и печально ответила Валентина Валентиновна.

Два школьника осторожно, затененные Лениным, подобрались к скамейке и попросили закурить. Вавочка тотчас молча полезла в сумочку.

- Ого, штатовские! - хором выдохнули мальчики.

- Берите, не стесняйтесь, - сказала Вавочка, закуривая и сама.

- Это дарские.

- Кто это дарит такие? - спросил один из ребят, худой подросток с птичьей головой на безобразно длинной шее и с пытливым взглядом полуприкрытых голыми веками глаз. - Вы кто будете, если не секрет?

- Порт... - начала было Вавочка, помня урок Пасхи.

- Я - редактор газеты, - перебив ее, скромно представился

Гоголев.

Валентина Валентиновна поперхнулась дымом и уронила сумочку.

- "Голая правда", - ответил редактор на следующий вопрос мальчика.

- Но такой нет! - воскликнули школьники вполне искренне; вряд ли им попался где-нибудь единственный номер нового издания.

- Была просто "Правда", московская.

- Но ее больше нет, - пожалала плечами Валентина Валентиновна. - Больше нигде нет "Правды", не найдете.

- И тем не менее, - не вставая, топнул ногой Иван Сергеевич, - она вышла. Пробный номер, экстренный выпуск, но вышел же. И очень вовремя.

- Что же ты не показал, не дал почитать?

- Постеснялся дурного качества. Декларации, манифесты, прочие акты самоутверждения - это не газета. Вот следующим номером я похвастаюсь: у него уже будет свое лицо. В конце концов читатель должен узнавать свой печатный орган с первого взгляда.

- Так же, как пока узнает непечатный, - вставил птицеголовый мальчик.

- Придется мне отвести вас, дорогие юноши, пред светлые очи вашей классной дамы, - с ледяной улыбкой сказал Иван Сергеевич, простирая руку в сторону экскурсионной группы, скрытой сейчас ленинской штаниной. - Правда, раньше она сама

обнаружит вас, как бы вы ни прикрывались воротниками.

- Она близорука, - покачал головой ученик, - а очки не носит, чтобы не причинить вреда своей бесподобной красоте.

- Хотя, - неожиданно сник учитель, - хотя, признаться, я и сам тоскую по вольготным временам, когда народ расцветчивал свою речь всеми цветами радуги.

- При детях... - предостерегла Валентина Валентиновна.

- Итак, о сумасшедшем доме.

- Какая связь? - не поняла она. - То газета, то твои новые странности. Подозреваю, что и газета - такая же странность. Мы говорили о правде и неправде.

- Все дело в позиции. Любая газета - не "Правда". "Голая" - отражает интересы беднейших слоев, голых и босых. Поэтому, например, самой читаемой рубрикой окажется светская хроника, которая будет освещать частную жизнь избранных нищих.

- Прелестно! - захлопала в ладоши Вавочка, роняя туфлю, которую раскачивала на кончике пальца. - Вот уж действительно дурдом. Похоже, ты нашел то, что искал.

- Нет, ты не поняла. Ты хочешь сказать, что жизнь нищих состоит из одних проблем? Не больше, чем у всех нас. Но о проблемах я непременно буду писать - в передовицах. Оказалось, что нет ничего легче, чем сочинять передовицы: для этого надо только знать программу руководства и писать о ней что попало, не боясь соврать, потому что любая программа и есть самая большая ложь.

- Это уже трезво. Но нищие! - не могла успокоиться Вавочка. - Отчего бы им не читать другие газеты? Любая рубрика одинаково интересна для всех. Ну, что может быть особенно нищенского в спорте? Или... Не в искусстве же!

- Не забудь, что все гении умирали в нищете. Ну а нам, во-первых, можно описывать концерты уличных музыкантов, незаслуженно обойденных вниманием прессы. Во-вторых, у меня непременно будет литературная страница. Один известный поэт, в стране Советов прозябавший, согласился выступить в труднейшем жанре: он написал венок советов. Это, если помнишь, особый цикл, когда конец одного совета одновременно является началом следующего.

- А спорт? - спросила Вавочка, заливаясь смехом.

- Не только будем помещать репортажи, но и учредим призы для крупнейших состязаний. Виды же спорта... Какой спорт может быть у нищих? Конечно, это не гольф, не скачки, не лаун-теннис. Но есть бег слепых, бокс одноруких, фехтование на костылях.

- Какой кошмар!

- Последнее - жестокая вещь, но калеки должны чувствовать себя полноценными людьми. Кстати, есть и типично нищенские соревнования - бег на километр с кепкой в протянутой руке. Само собой разумеется, что из этой шапки, полной медяков, ничего нельзя просыпать.

- Послушайте, папаша, - вмешался птицеголовый мальчик. - Ваш сатирический орган будет иметь большой успех. Возьмите-ка меня распространителем, а? Сколько вы платите?

- Как все.

- Это не ответ, - пренебрежительно бросил второй ученик, торопливо докуривая сигарету: экскурсия направлялась к выходу, и надо было догонять. - Где вас найти?

- Купите первый номер - там и телефон, и адрес, - коротко ответил Иван Сергеевич и, подождав, пока курильщики догонят своих товарищей, порадовался: - Вот и нашелся еще один покупатель.

Теперь Валентина Валентиновна решительно потребовала объяснений; она не знала, что больше потрясло ее - бегство на новое поприще или фанатизм Ивана Сергеевича. Понимая, что он не хочет толком рассказать о газете, она взялась за другое:

- Ты раздваиваешься, и мне не понять - ты идешь по миру или уходишь от мира?

- А есть разница? - засмеялся он. - Но раздвоение личности - не это ли нужный диагноз? Я ведь и в самом деле хочу, как ты сказала, уйти от мира. Всего я не могу тебе сказать, не спрашивай пока, но - повторяюсь - у меня груз на душе. Ты права: мое место в скиту.

- Уйдешь в скит - как же твоя "Голая правда"?

- Я ее брошу, едва окажусь в недосыгаемости, - не раздумывая, ответил Гоголев.

- Тебя преследуют?

- Нет. Пристают. Это уже поднадоело. Поэтому я и ишу место, где не нужно раздваиваться. Это вырвалось у меня случайно, но, пожалуй, и в самом деле ничего лучшего, чем психиатрическая больница, тут не придумать. Заодно и подлечиться не мешает.

- Хорошо, - подавленно сказала Валентина Валентиновна. - Беда в том, что я, кажется, смогу помочь тебе, ведь мой муж, Дима - психиатр. Он спрячет тебя.

- Естественней было бы, если бы это ты прятала меня - от него. В шкафу или под кроватью. И потом, он до смерти залечит

меня - из ревности.

- Если бы он о чем-то догадывался, то давно залечил бы меня.

- Я умру там от одиночества, - нашел он последний довод.

- Ты же хотел одиночества! И потом, я часто бываю в больнице: я всегда интересовалась работой Дмитрия Валентиновича.

- Так ты ему еще и сестра!

Теперь Валентина Валентиновна поняла, что Гоголеву не обойтись без ее помощи.

30

Военная машина довезла их до почтамта. О лучшем нечего было и мечтать: отсюда до здания бывшего обкома партии, где ныне размещалась Дума, оставался всего квартал.

Довольно ловко для своих семидесяти спрыгнув из кузова, Савва Кузьмич встряхнулся по-собачьи всем телом и, попросив Пополитова взглянуть сзади, все ли у него в порядке с костюмом после перевозки в грузовике, протянул руку за щеткой. Прохожие с удивлением смотрели на старика, принявшегося чистить свою обувь посреди тротуара, но ему было не до публики.

На Ритуальную площадь они вышли солидным прогулочным шагом. Уродливое, с приделанными как попало многочисленными колоннами, пилястрами, башенками, шпилями и даже кариатидами (какая-то из них символизировала сгинувшую партию), здание открылось во всей красе. Перед входом блуждали молодые люди из Службы Безопасности, а у тротуара сверкали черными боками подержанные “линкольны”, закупленные недавно для высших членов СУДа и оттого любовно прозванные в народе членовозами.

- Надо, надо обзавестись машинами, - со вздохом вспомнил давешний разговор Савва Кузьмич. - Явились, как ходоки к Ильичу.

- Вот и встреча может выйти подобающая, - сказал Пополитов.

- Не каркай, - одернул его Савва Кузьмич. - Отстань-ка шагов на пять да поглядывай за прохожими. Дойдешь с нами до подъезда, но по лестнице не поднимайся, а, как только мы войдем в двери, отправляйся в бистро “Директива” и жди там. Да не напивайся.

Приближаясь ко входу, Савва Кузьмич приосанился, втянув живот, и зашагал молодой настороженной походкой, невольно виляя задом, - в расчете на тайных фотографов и кинохроникеров. Пополитов, с удивлением глядевший вслед, не знал, что этой

подтянутости хватило только до парадных дверей; по пустым коридорам гостей повели два немых здоровяка - не перед ними же было хвастаться брюшным прессом. И совсем грех был бы ему не расслабиться немного в зале, назначенном для встречи, оттого что и президент был дряхл, и свита давно потеряла желание поддерживать форму; даже и с распушенным животом Савва Кузьмич выглядел на их фоне молодцом и не собирался стараться зря.

После долгого трясения рук, придуманного, казалось, для того лишь, чтобы не дать упасть на пол немощному правителю, участники встречи уселись за стол, накрытый к письму: с бумагой, шариковыми ручками и бутылочками сока. Президент начал с того, что лишний раз выразил удовлетворение существованием Фронта защиты неимущих как организации, помогающей населению перенести тяготы войны с правительством. Он заверил, что военные действия будут еще продолжаться неопределенное время, тем более что народ не может ответить ударом на удар и потешные игры во взаимопомощь дадут ему хоть какое-то утешение. Руководитель Фронта в свою очередь сказал, что ему несказанно приятно встретить понимание со стороны президента Области, тем более что бедняков одною взаимопомощью не накормить и придется прибегнуть к доплатам из бюджета.

- Простите, - возразил президент, - но если бы у Фронта не было собственных средств - и немалых, - он бы не пустился в бессмысленную авантюру с покупкой городских коммуникаций. И, кстати, что за беда приключилась с канализацией, стоило вам получить ее в пользование? Да еще сразу в трех городах? Я думаю, что дело тут в низкой квалификации вашего персонала. Вред, причиненный аварией, нельзя переоценить. Знаете, тут все провоняло - мне кажется, что не выветрилось и до сих пор. А наши канцелярии и архивы! Теперь же невозможно пользоваться бумагами!

- Я очень рад, - вежливо улыбнулся Савва Кузьмич, - что аромат услышан даже в столь высоких кругах. Допускаю, что он мог не понравиться, ну что ж: на войне, как на войне. Теперь вы представляете, к чему, в условиях боевых действий, может привести притеснение новых владельцев коммуникаций? Опыт у них, как вы совершенно справедливо изволили выразиться, невелик, и никто не знает, правильно ли они поведут себя в чрезвычайном положении. Сейчас они вернулись к созидательному труду, но, если им придется вновь отвлекаться на борьбу за свои права, беды не миновать.

- Но результаты ужасны! За рубежом, особенно в Москве, пресса захлебывается от восторга. Смотрите, что они себе позволяют:

“Коммунистическая столица Вольной Области плавает в собственном говне!”

- Эти журналисты! Они, как всегда, преувеличивают: до плавания еще далеко, хотя то, что было, может повториться с удесятеренной силой. Более того: вся система может выйти из строя мгновенно и необратимо. Тут нужен глаз да глаз, а это денег стоит. Но затраты оправдают себя, потому что, если со мной что-нибудь случится, один Бог знает, как это отзовется на столь чуткой системе. Мне кажется, что ваша сторона заинтересована и в переговорах с нами, и в моей личной безопасности.

- Но это шантаж! - слабо воскликнул президент.

- Что вы! - оскорбился Савва Кузьмич. - Шантаж - это в мирное время, а сейчас мы ведем законные боевые действия.

- С нищими я не воюю: нищие - не народ.

- А народ нищ.

- Прекрасно. Значит, мы выигрываем войну. Еще немного - и восторжествуют добрые старые принципы.

- Теперь для вас единственный выход - поступиться ими. Мы не требуем невозможного - только финансирования социальных программ, нескольких мест в парламенте... Вы имели возможность ознакомиться с нашими предложениями.

- Даже если я соглашусь с вами в каких-то частностях, - покачал головой президент, - все равно Движение не уступит ни метра, ни грамма, ни капли.

- У них тоже развито обоняние, - рассмеялся Савва Кузьмич.

- Да и наши колонны на улицах в субботу, я уверен, видели все.

Президент, прикрыв глаза, откинулся в кресле. Воспользовавшись секундной паузой, Бикса подтолкнул локтем своего патрона, указывая на бутылочки: его мучили жажда и подозрение, что в сосудах с иностранными этикетками может содержаться нечто повкуснее обычного сока. Никто не притрагивался к питью, и он не решался начать первым. Савва Кузьмич махнул рукой: никакая неловкость уже не могла испортить дела.

Нынешнее донесение должно было стоять подороже прежних, оттого что наконец касалось высшего у нищих лица. До сих пор, кроме самого первого, случайного раза, Пополитову не

удавалось ни видеть Первого Инструктора, ни знать о его действиях; он даже так и не порадовал Казенный Дом адресом той явочной квартиры, где нанимался на работу и куда, несомненно, часто навещался Хихон. Зато теперь он мог назвать поселок, в котором тот жил. Эта новость, впрочем, оказалась единственной в донесении, потому что о встрече с президентом известно было и так, а из дорожных, в кузове грузовика, разговоров Пополитов не почерпнул ничего: они вертелись вокруг давних воспоминаний - охотничьих, фронтовых, банных.

Свидание с Пидержановым (на этот раз - в его кабинете) вышло недолгим: тот торопился и не стал выведывать подробности; пробежав глазами бумажку, он тотчас поднялся, и Мирон, опасаясь преждевременного ухода, поспешил попросить о своем:

- На чайшко бы...

- Что такое? - отшатнулся майор.

- На чайшко, говорю, хотелось бы вас позвать, а то что же мы всё по казенным домам собираемся? Нет, сюда я всегда рад, да и всей душой, но я имел в виду бистро и бары.

- Хотите, в следующий раз в парке встретимся, в беседке над прудом? Или в японском садике, с гейшами?

- Таких шуток я не понимаю, это вы уж своим девушкам назначайте на скамейке, при луне, а я мечтаю пригласить вас к себе домой, как говорится - на рюмку чаю.

- Вы что, квартиру наконец получили? - обрадовался Пидержанов. - Поздравляю. Вы не представляете, как я рад за вас. Невероятно, как вы переносили все эти скитания по чужим углам. Зато теперь вдвойне приятно будет осесть в собственном доме и устраивать его по своему вкусу.

- Виноват, Пи... Федор Эрастович, - с трудом остановил его Пополитов.

- Слушайте, что это вы все попискиваете, обращаясь ко мне?

- Не знаю, вам послышалось, наверно, но я только хотел сказать, что вы неправильно меня поняли, оттого что без вашей помощи мне не то что квартиры, как вы выразились, но и комнаты в коммуналке аварийного дома не видать, как своих ушей. Если бы вы позаботились о верном работнике... Как-нибудь на досуге...

- ...то вы бы напоили меня чаем на своей кухне? Что ж, меня вдохновляет такая перспектива. Не забудьте поставить в вазу букет из леденцов на палочках. Но если говорить серьезно, то я бы на вашем месте на Пидержанова надеялся, а сам не плошал: кто знает, как повернется дело? Чаше ходите к этим бюрократам, надоедайте:

глядишь - и повезет.

- Но у меня, Пи... Федор Эрастович, руки опускаются, как только вспоминаю, что и в эту ночь нужно снова спать в чужом доме. Я СПИДом боюсь заболеть от уныния.

- Каждому, голубчик, по его труду, - засмеялся Пидержанов.
- Но не волнуйтесь, Служба Безопасности Движения не забывает своих помощников. Наберитесь терпения.

Пополитов не знал, как понять его слова: как предупреждение о служебном несоответствии или как намек на поощрение; в конце концов, Мирон хотя и трудился в меру сил, но допустил, с точки зрения Пидержанова, явный промах, заранее не разузнав и вовремя не поставив того в известность о предстоящем визите старосты нищих к президенту страны. Предупреждение было бы настоящей катастрофой, и, вспомнив совет майора на него надеяться, но и не плошать самому, Мирон надумал немедленно узнать в Исполнительном собрании о своем деле.

Еще полчаса назад у него были иные намерения: он подумывал о том, чтобы навестить Райку, обманным путем пристроенную им в женский корпус заводского общежития, но от одной мысли о приближении в неурочный час к родному заводу у него испортилось настроение; придумывая себе отговорки и оправдания, он решил, что днем все равно не застанет девушку на месте, а если и застанет, то не получит от нее никаких пряников, и теперь с радостью ухватился за мысль о посещении городской канцелярии.

На этот раз он пренебрег столовой.

Судя по скопившейся очереди, нужный Пополитову чиновник (Сорокин с цифровой подписью) был в своем кабинете, но секретарь запропастилась куда-то, и справиться о деле было не у кого. Примостившись на свободном стуле, в уголочке, Мирон тотчас задремал. Неизвестно, сколько прошло времени, только этот нечаянный сон взбудрил его, проснулся же Пополитов от щелчка дверного замка; разлепив глаза, он увидел, как запыхавшаяся девушка, вырвавшись из кабинета, устраивается в секретарском креслице. Мирон помнил здесь другую секретаршу и на эту, от нечего делать, уставился сейчас совершенно неприличным образом. Тем более пристальным было его внимание, что он не мог сразу решить для себя, хороша или уродлива эта барышня. Она была высока, но не длиннонога, овал лица скорее следовало бы назвать прямоугольником, но распущенные черные волосы возмещали ей эти недостатки. Кто-нибудь нашел бы в ее облике пикантность, но

Мирону было неведомо это понятие. Все же через минуту усиленного наблюдения он понял, что встретил единственную, предназначенную ему судьбой девушку, и люто возревновал ее к чиновнику Сорокину.

Теперь Пополитову уже не хотелось скорейшего продвижения очереди. Он пересел ближе к секретарскому месту, тем более что так удобней было заговорить о деле, ради которого сюда пришел, и вдруг как раз об этом расхотелось не только говорить, но и думать, оттого что воображение принялось рисовать ему одну за другою непристойные сцены: он представлял девушку с ее начальником в разных позах, сменяющихся, как в ускоренном кино, и себя, врывающегося на самом интересном месте в кабинет, ослепленного удивительным пейзажем и не знающего, что надо тотчас предпринять. Дальнейшее развитие событий не поддавалось прогнозу: прогнав мерзкого любовника, непрошенный защитник вполне мог схлопотать затрещину от якобы потерпевшей особы, а, наоборот, попытавшись помочь мужчине, - пострадать от него же; третий выход - тихо удалиться со словами "Простите, джентльмены" - не был ему известен.

После того, что, очевидно, произошло в кабинете, Мирону было странно просить девушку разыскать папку с его делом. Она, однако, не нашла в этом ничего особенного - встала и принесла, и все у нее было в порядке; она вошла в роль с завидной быстротою: стоило ей сесть за свой причудливо изогнутый стол, как исчезли и нечаянная прядка на лбу, и излишний румянец, и некоторая ошалелость взгляда. На Пополитова она поглядела строго и свысока, словно с верхней ступеньки не положения, а возраста. Мирон весело подумал, что этот-то материнский взгляд ее и выдал.

Найдя по номеру нужную папку, девушка, чтобы не ошибиться, учинила допрос:

- Фамилия?

Он назвал фамилию.

- Имя?

- А ваше?

- Таня. Но это я вас спрашиваю!

- Федя-Петя.

- Но здесь - Мирон?

- Для кого как, - неопределенно проговорил Пополитов, стараясь подольше задержать свою белозубую улыбку. - Для вас - Федя-Петя, как дома.

- Ну, если как дома... - не удержалась от улыбки и она. - Род

занятий?

- Для вашего шефа или как дома? Вообще-то - нищий.

Она рассмеялась, давно оценив его одежду, в которой не нашлось бы ни одной здешней, купленной по государственной цене, ниточки, и не скрыла зависти:

- Мне бы стать такой нищей!

- Это очень просто, - оживился он. - Пойдемте просить милостыню вместе, я помогу.

- Куда же, на улицу?

- Сначала сюда, в кабинет, просить, чтобы меня прописали в давно облюбованной комнате, в доме, идущем на снос. А потом - на улицу, на бульвар Последнего Переворота, к валютному магазину. Договорились?

Таня принимала его игру. Не торопясь прерывать беседу, она сделала ненужное: развязав тесемочки, поинтересовалась содержимым папки, и Мирон напрягся, вытягивая шею, чтобы подсмотреть, не появилась ли там записочка от Пидержанова.

- Дом и вправду сносят, - удивилась она.

- И что же? Когда-то это еще будет. И потом, Танюша, я уже говорил вашему шефу, что готов жить там и после сноса.

- Что ж, это сильный довод, - сдалась она. - Знаете что, подождите-ка тихонечко, а я выясню обстановку. Надо ковать, пока горячо.

Снова аккуратно завязав белые тесемочки, девушка деловито понесла папку в кабинет. Люди, сидевшие в очереди, подумали, глядя ей вслед, что она, со своей осанкой, в длинном платье, с каким-то английским акцентом во внешности, выглядит слишком строго для секретарши.

32

Трое суток Васек провалялся на койке больной, а потом его выгнал на улицу голод. Найдись в доме какие-нибудь припасы, он еще погодил бы вылезать, но последний кусок черствого хлеба был съеден утром, чай кончился еще раньше, и хочешь не хочешь, а надо было выходить - не просто на закупки, а на промысел, оттого что, кроме провизии, не было еще и денег. К счастью, лившие несколько дней кряду холодные дожди иссякли (они-то и уложили Ваську в постель), и ему даже полезнее было выйти - погреться на скромном осеннем солнышке, чем кутаться в фуфайку в сыром подвале.

Подвал этот, если был бы ему сдан - из милости, а уж тем

более за деньги, - Васек давно оставил бы ради любого сухого угла, каких не счесть в большом городе, но этот, найденный, словно кошелек на тротуаре, казался ему полною его собственностью и, как любая собственность, связывал по рукам и ногам. Васек нашел его, подрядившись отнести с рынка тумбочку. Нести было не тяжело, хотя и в гору, зато неудобно: он плохо видел куда идет и, дойдя до места, стал из двух дверей тыкаться в ненужную, со ржавым висячим замком. Исправив с помощью хозяйки свою ошибку, носильщик не замедлил поинтересоваться, без задней мысли, куда это он рвался, и словоохотливая женщина объяснила, что тут когда-то покойная дворничиха хранила свой инструмент, а без нее об этой кладовке, наверно, попросту никто не знает. Старый дом был устроен так, что в этом подъезде не было других квартир, и дворничихина каморка, вероятно, числилась частью той, которую занимала обладательница тумбочки. Все это Васек смекнул довольно быстро и, не медля, простодушно заявил женщине, что раз не находится других желающих, то, так и быть, здесь поживет он, бесплатный сторож, не то в закрытом помещении сгнуты полы или заведутся крысы.

Естественно, что он сначала заглянул за дверь (снять замок оказалось пустым делом). Там Васек нашел настоящую квартиру: прямо перед собою он увидел действующий унитаз (что сразило его наповал) и лестницу вниз, под которой, в каморке с окошком под скошенным потолком, вполне мог бы уместиться матрац. Глазомер, правда, подвел Ваську: позже оказалось, что во сне ему невозможно распрямиться; к этой беде он отнесся философски, гораздо хуже была другая - сырость, которую Васек терпел, покуда являлся сюда лишь ночевать, и которая доняла его теперь, во время болезни. В это же время, в безделье, он понял смысл недавно проделанной ясновидящим стариком Жоржем работы - и ужаснулся, сообразив, что и сам, подгулетный житель, мог серьезно пострадать от потопы; спасло его то, что дом стоял высоко.

Заболел Васек, как он объяснял сам себе, от усталости. Сначала он совершенно измотался, выполняя, за плату, конечно, малопонятные поручения старика Жоржа: лазил в колодцы и вонючие трубы, рискуя отравиться дурными газами, - затем участвовал в каких-то походах и беспорядках, потом рыл бессмысленный погреб в лесу, а когда, освободившись, пошел бродить по городу и просить милостыню для себя, то попал под ливень, промок и не смог отогреться дома: не было выпивки. Не смог он дома и толком выздороветь и лишь ждал ясного дня, чтобы выйти на волю - посохнуть. Дождавшись и выйдя, он застрял на первом же

углу, заранее не придумав, куда податься в первую очередь. Просить милостыню так долго, чтобы вышел прок, он, хворый, был еще не в силах; прочие известные ему способы заработка тоже годились только для здоровых людей. Безобиднее всего показалась ему торговля очередями за водкой.

В центре города проблем со спиртным было меньше, сюда же, на старую окраину, его завозили редко и помалу, и когда это случалось, то очередь растягивалась по улице. Сегодня товар имелся, и Васек привычно прикинул: до начала витрины стоять полчаса, от конца - почти столько же, да еще останется хвостик, не считая того, что внутри магазина, итого - полтора часа. Что ж, столько времени он мог выстоять (а при меньшей очереди и невозможно было заработать). Едва он утвердился в людской цепочке, получив написанный на ладони чернилами номер, как к нему подошли трое таких же, как он, бедолаг с предложением партии в домино. Он отказался, но пошел с ними посмотреть на игру. Найдя четвертого, те присели на корточки у стены и высыпали костяшки на асфальт. Тут же из очереди придвинулась еще одна фигура, женская. Игроки вопросительно подняли головы, и молодая здоровая бабенка с усмешечкою спросила, указывая на их фишки:

- Погадать, нечто?

- Разве гадают на костях? Это уже диковинка какая-то. Ну, давай, посмотрим. Вот, ему погадай.

Указали на зрителя, на Ваську; ей все равно было кому гадать, но Васек испуганно затряс головой:

- Я вовсе без бабок.

- Жаль. Хотя, что ж, погадаю задаром, это даже хорошо для почину. Ты какой дупель?

Васек тупо уставился на гадалку. Она засмеялась, разъясняя:

- Король ты, натурально, бубновый. А в домино королей нету, в домино - дупли.

- Пятерочный, - сказал он, выбрав все же не крайнюю цифру, чтобы не зарываться.

Став на колени, гадалка перемешала костяшки и выложила из них затейливый орнамент.

- Вынь люблю, - приказала она Ваську.

Он вынул, и женщина принялась аккуратно перевертывать оставшиеся.

- Клиенты, - начала она, - хотят, чтобы все было привычно, так же, как и в картах. Так и будет. Вот тебе, к примеру, не грозит дальняя дорога. Доживай в своей халупе. Казенный интерес есть

небольшой, а не это для тебя главное. Зато появилась недавно пустышечная дама, никчемная, смущает зазря. На сердце у тебя другое, а с нею ничего не будет, сам не надейся и ей скажи. Скорее всего, ближе к сердцу придутся вот эти, четверочная и троечная, хотя и легли они далековато. А все - деньги, деньги... Денег ты, милый, перебрал руками много, и все просыпались сквозь пальцы, да еще вперемешку с мусором. Поэтому и дама тебя держит, и быть вскорости бесполезной встрече. Будут тогда пустые хлопоты, а затем интерес к золоту оставит тебя. И еще: будешь долго жить, скучно.

Игроки выжидающе посмотрели на Васька.

- Похоже на правду, - неуверенно проговорил он, думая, что теперь не помешает поинтересоваться своей судьбой у ясновидящего старика Жоржа и сравнить ответы.

- Кому еще? - предложила гадалка. - Только теперь уж позолотите ручку.

Чужие судьбы интересовали Васька мало, и он вернулся на свое место в очереди, мечтая о забрезживших в отдалении неожиданных дамах.

Впереди, в дверях магазина, постоянно возникали стычки с добровольными блюстителями порядка. При всякой очереди всегда находятся люди торопящиеся или ленивые и оттого желающие оторвать свой кусок раньше других; на этом и строил свой бизнес Васек. Большинство рвущейся вперед публики составляли здесь неряшливые типы, пьяницы, бандиты (но этих-то пропускали, не говоря ни слова), вообще - потерянные человечки, но встречались тут и холеные спекулянты, и обычные деловые люди, хотя и спешащие куда-то, но не умеющие либо не смеющие постоять за себя, отчего их и отодвигали от заветной лазейки совсем уж бесцеремонно. Одного такого, отодвинутого, и подозвал Васек, когда почти уже отстоял свое.

- Сколько взять?

- У меня талон на две.

- По пятерке сверху, - потребовал Васек. - С каждой.

Клиент вздохнул, но время было ему дороже червонца; магазинные грузчики, продавая свой товар с черного хода, брали еще больше.

Так, отстояв одну за другой две очереди, Васек заработал и на немедленный обед, и на припасы в дом; он мог бы даже и себе взять четвертинку, да из-за дурного самочувствия не видел в ней радости. Все, чего ему хотелось теперь, было: поев, прилечь где-нибудь в теплом и сухом месте.

Пока он торговал очередью, нахмурило, и вот-вот готов был полить дождь, который лучше всего было бы переждать в столовой, когда бы поблизости нашлась подходящая. Васек знал их три, но в одной подавали только чай и перловую кашу, во второй - серые пельмени без начинки, а третья была закрыта “по техническим причинам”, и голодному человеку оставалось только идти - неблизкий конец - на рынок. По дороге ему неслыханно повезло: частник продавал пирожки, жаренные на машинном масле. Заморив червячка, да еще напившись разбавленной кока-колы из автомата, Васек был бы вполне доволен судьбою, если бы не начавшийся все-таки дождик. Зонта у Васька не водилось, а плащ он не захватил, понадеявшись на проглянувшее солнце, и теперь нужно было бы где-то переждать, а не хотелось. Он прикинул, что доберется до рынка и так, не успеет промокнуть насквозь от редкой мороси, а там уже, одновременно с едой, найдется и крыша и можно будет сидеть сколько угодно, пока не высохнет пиджак, пока не перестанет сыпать с неба, пока не случится еще что-нибудь.

На последнем перед рынком перекрестке Васек заметил нововведение: дорожный знак, запрещающий въезд. Приезжие из других районов машины покорно разворачивались, а местные шоферы, хорошо знающие, где какой знак должен висеть, не обращали внимания на этот, и тогда им приходилось замечать постового, до поры прятавшегося в подворотне и густо собиравшего штрафы и взятки. Всем было известно, что такие переносные знаки выдаются на два-три дня отличившимся полицейским как поощрение, со словами: “Бери и ставь где хочешь”. Этот обычай не давал Ваську покоя: ему хотелось устроить похожую вещь для себя.

Заплатив неожиданную дань, водители могли уже располагаться где хотели, и у ворот рынка было ничуть не свободнее обычного, только некоторых торговцев непогода загнала под навесы; другие же, наоборот, считали, что, сбрызнутый водичкой, их товар только выиграет. Сидела тут и нищая с орущим младенцем. Она была укутана грязным бурым платком, обута в чудовищные бахилы и намазана серым гримом; Васек сразу и не понял, кто это, подумав, что новенькая, и поленившись взглянуться; но как раз, когда он проходил мимо, нищенка ругнулась, и Васек узнал голос Райки. Он остановился посмотреть. Две пенсионерки подошли к ней, порылись, нервничая отчего-то, в кошельках и отсыпали горсточку мелочи, сокрушенно приговаривая: “Бедное дитя: под дождем...” Как раз в этот момент младенец замолк, но Райка была начеку и молниеносным движением ловко, не запутавшись в тряпках,

ущипнула его с вывертом, вызвав новый истошный вопль.

- Он ведь живой, Рая, - укоризненно сказал издали Васек.

Она ответила спокойно, без задержки, не удивившись его появлению:

- Не свой - не жалко.

33

Привезти президентское приглашение выпало Пополитову случайно, лишь потому, что под рукой не оказалось курьера; но когда дело кончилось удачей, ему досталась полная доля именинного пирога.

Ему наскучило сидеть в полупустом бистро; пить он не смел. Никто не подсаживался к нему, да Пополитов и не пустил бы, держа места для начальства; правда, девушкам он не отказал бы, но их тут не было видно. Он дремал, когда вернулись Савва Кузьмич и Бикса.

- Ну и работка, - прохрипел Первый Инструктор, падая на стул. - Давайте-ка пить и есть. Организуй, Бикса. А позже, господа, позже надо как-то особенно отметить это событие. Вы не понимаете, что об этом дне теперь будут писать в учебниках истории, и вы не понимаете, какие я получил волю и власть и какое это будет богатство. Отметим, Бикса?

- Отметим, - согласился тот с восторженной слезой в голосе. - Пир на весь мир.

- А вот этого и не надо. Рано, - покачал головой Савва Кузьмич. - Пригласим только своих, пар пять, шесть. Вот и Федю-Петю позовем, непосредственного соучастника. Ты, Федя, не женат? Скверно. Чужих баб приводить не смей.

- Устроим и бабу, - деловито сказал Бикса. - Где соберемся - в "Гранд-Отеле"?

- Ты бы еще репортеров позвал. Надо сделать все аккуратно, по-семейному, чтобы никто чужой ничего не пронюхал. Лучше всего у меня дома, в крайнем случае - в бане.

- В бане! - возликовал Бикса. - Слышишь, Федя-Петя, - в бане!

Не понимая его волнения, Пополитов подумал: "Сколько же он не мылся, если так радуется? По мне, так лучше "Гранд-Отель". Шикарное, должно быть, место. Заперлись бы в отдельном кабинете - и дело с концом".

- Что же это за баня такая замечательная? - не мог не поинтересоваться он. - Где это?

- Да тебе и запоминать не надо где, - ласково ответил Бикса. - Мы тебя привезем, мы тебя отвезем, а твое дело - пей, гуляй. Только оденься, как положено: костюм, белая рубашка, галстук.

- Где же я галстук возьму? - воскликнул Пополитов, никогда прежде не носивший этого украшения. - Теперь и магазинов таких нет, чтоб галстуки продавать.

- Коммерческие магазины есть, - услужливо подсказал подошедший к столу официант. - Извините, что осмеливаюсь вмешаться, но на бульваре, во французской лавке, и галстуки есть неплохие, и презервативы многообразные.

“Покупать все, что Хихон с Биксой ни назовут, - подумал Пополитов, - никаких денег не хватит. Разве что поставить в счет Пидержанову? И все же без презерватива приятней”.

Далее его мысль обратилась к тем посторонним, кого запретили приводить с собой. Сказанное Хихоном слово “пара” заставило Пополитова немедленно вспомнить продолговатую секретаршу чиновника Сорокина; с этой Таней, писаной (теперь он считал так) красавицей, дело у него неожиданно пошло на лад; во всяком случае, девушка отнеслась к нему с пониманием, взялась хлопотать за него, и ему стало неприятно думать о других женщинах. И все же он не хотел бы пойти с нею на этот званый ужин (не ужин, скорее всего, только он не знал, как называется то, что будет твориться в бане). Однако, сама по себе идея о бане была на его взгляд великолепна; Мирон только мечтал бы попариться вместе с такой девушкой, но не на глазах же у этого мерзкого старика.

С Таней хотелось повести дело по старинке, неторопливо, и закончить его в Городской Думе, получив подарок от шефа в виде вождельного ключа; его как-то не тянуло вспоминать о том, что Казенному Дому более свойственно отбирать ключи от чужих квартир, нежели раздавать их.

Магазин на бульваре Последнего Переворота изрядно облегчил его карманы. Майор Пидержанов, будучи извещен о предстоящем празднестве, намек на компенсацию затрат не понял, зато клятвенно пообещал проводить Пополитова до самого места. “Нужны мне ваши проводы, как зайцу - триппер,” - зло подумал Мирон, вешая трубку.

В нужный день Пополитов был одет согласно протоколу, подстрижен, надушен и явился на вокзал со взятым напрокат у майора щегольским кейсом, в котором лежали мочалка, мыло, плавки и чистые трусы; полотенце он впопыхах забыл. Ехать нужно было по той же дороге, что и к дому Саввы Кузьмича, и довольно далеко, и

Пополитов не понимал, почему нельзя было помыться в городе, где есть прекрасные бани с номерами. По опыту он знал, что в пригородной бане будет темно, грязно и непременно кончится горячая вода; к тому же, он не представлял, где там можно устроить стол. Обычно посетители освежались принесенным с собою пивом в предбаннике, сидя рядом на скамейке, и странно было, что Савва Кузьмич, празднуя победу, предпочел такую скромную обстановку роскоши кабинета в дорогом ресторане.

В электричке Пополитов чувствовал себя крайне неуверенно из-за обещанной слежки; он то и дело напрасно вертел головой, стараясь угадать шпиков в попутчиках. В этих заботах он едва не пропустил нужную остановку, тем более что ждал большой станции с ларьками и базаром, а это была голая платформа в лесу.

Увидев на перроне Биксу, Пополитов оценил этот знак внимания со стороны высшего начальства. Тотчас, правда, выяснилось, что встречают не его одного (или даже как раз не его): тем же поездом приехали еще двое - жирный, с таким же, как у Биксы, ежиком, мужчина сановного вида и чопорная старуха с голой спиной. Бикса, суетясь, повел всех к одинокому такси, ожидавшему на обочине лесной дороги. “Ку-ку, - сказал про себя Пополитов невидимым провожатым из пидержановской команды. - Как это вы угонитесь за нами? Разве что на велосипедах”. Оглянувшись, он не увидел никаких велосипедистов.

За рулем таксомотора сидел Пидержанов.

- Привет, приятель, - по-свойски сказал шоферу Мирон.

Машина тронулась, и Пополитов, подумав, грешным делом, что искомая баня находится у Хихона во дворе, посмеялся над нелепой конспирацией (когда и всякая была бы смешна - при таком водителе) - преждевременно, потому что по знаку Биксы они свернули на грунтовую дорогу, а вернее - колею, теряющуюся в лесу, и скоро оказались перед крепким рубленным строением, почти лишенным окон и близко обнесенным штакетником. На шум машины вышел могучий бритоголовый парень в белом фартуке; больше никого не было в доме, и Бикса, велев Мирону наколоть дров, поехал встречать новую партию. “Бедный Пидор, - подумал Пополитов о своем шефе, - сегодня нищие вдоволь поездят на нем - а что толку? Я и так все рассказал бы ему; сверх этого он может разве что вызвать группу захвата. Парни залгут за деревьями, подползут к окнам и... И что? Да ничего. Увидят голых баб в раздевалке, постреляют, напустят дыму, а кончится тем, что нажрутся нашей водки и заснут до прибытия подмоги”.

Прежде чем взяться за дело, он обошел дом. В банной половине не нашлось ничего особенного, только из парилки завораживающе пахло горячим смолистым деревом, зато в просторном зале, совершенно, на его взгляд, здесь излишнем, его тихо восхитили мореные потолочные балки, кованые светильники и, конечно, камин. Мебель состояла из серванта, мягких лавок и длинного, стоящего наискосок через всю комнату стола; на вкус Пополитова, тут не хватало дивана или кресел, - вот и старухе, попутчице Мирона, пришлось дожидаться приезда хозяев, сидя на скамейке без надежды опереться спиной на что-либо. "Эти лавки хороши только для одного дела," - подумал Пополитов, не подозревая, как он близок к истине. Самому ему сейчас было не до отдыха в креслах: он хотел пораньше отделаться от поручения Биксы.

Топор лежал возле поленицы - странный, на длинной ручке, как томагавк.

Бритоголовый повар поглядывал на дровосека в распахнутое окно.

- Слушай, друг, - окликнул его Пополитов, расколов несколько поленьев, - ты что, всегда здесь работаешь?

Тот пожал плечами, отворачиваясь к плите, но немного погода все же снизошел до ответа, буркнув:

- Тебе-то что?

- Интересно же, чудак-человек. Может, тебя на один день наняли, так в другой раз и я захочу подзаработать.

- Кому ты нужен? Я здесь третий год и уступать никому не собираюсь.

- Так и скажи. А работка, вижу, не пыльная. Чье ж это хозяйство?

Повар снова задержался с ответом, словно решая, стоит ли открывать секрет, но в конце концов расщедрился:

- СУДа.

Пополитов, со слов Пидержанова знавший, что Фронт и Движение будто бы не жалуют друг друга, был так озадачен ответом, что не знал, как теперь продолжить разговор, и снова взялся за свой томагавк.

Дров оказалось немало, и, пока он колол, пидержановское такси успело подъехать еще несколько раз. Когда Пополитов, выполнив урок, вернулся в баню, он нашел общество в сборе. Здесь были мужчины в строгих костюмах и весьма разнообразно одетые дамы. Из сколько-нибудь знакомых, кроме Хихона и Биксы, нашелся

один только Уклонист; как ни приглядывался Мирон к женщинам, он так и не разобрал, кто с кем пришел, пока не сели за стол; только спутницу Хихона он определил сразу - жгучую молодую брюнетку. "У старика губа не дура," - усмехнулся он.

Стол был уже накрыт. Пополитов готов был встретить здесь некоторые излишества: если уж простая "малина" не удивлялась дорогим продуктам, то на таком приеме странно было бы не устроить выставку деликатесов. И все же, посмотрев на расставленные закуски, Мирон ощутил легкую тошноту: он понял, что не только не видел, но больше и не увидит подобной скатерти-самобранки - ни самой скатерти, туго накрахмаленной, ни яств на необыкновенном фарфоре. Собравшиеся были, очевидно, сыты - стояли вокруг стола, словно не собираясь садиться, как в фойе театра. Не зная, куда приткнуться, Мирон задержался в дверях, но тут из дальнего угла его окликнул и поманил Бикса, стоявший в обществе двух женщин. Представляя ту, что помоложе (все ж около тридцати и с подержанным лицом), Бикса сказал, посмеиваясь:

- Постарайся, Федя-Петя, чтобы наша Нина не скучала. Девушке неловко одной.

- За мной дело не станет, - бодро заверил Пополитов, без стеснения глядя на свою партнершу и зачем-то выискивая ее изъяны; последних, впрочем, он не успел обнаружить, потому что как раз в это время Савва Кузьмич потребовал внимания. Когда все, мгновенно прекратив собственные речи, подобострастно обернулись к нему, Хихон продолжил:

- Дамы и господа! Прошу занять места. Говорят, вредно обедать перед баней, но нас здесь собрал знаменательный случай, и ему надо отдать должное прежде всего прочего.

Бритый повар, выстрелив пробкой, разлил по бокалам "Вольное шаманское".

- Дамы и господа! - повторил Хихон; его слушали стоя. - Мы собрались здесь потому, что ничего не произошло. Ничего не произошло ни с присутствующими, ни с их близкими, ни с тем множеством людей, которыми мы руководим: с нашим народом. Мы бросили вызов силе, и ответ мог оказаться самым резким, но брошенное нами было аккуратно проглочено, потому что сила нашлась и у нас. Мы долго, упорно и тайно работали, и, как любили говорить, вернее, о чем мечтали большевики в старом добром Союзе - и я в том числе, - количество перешло в качество. Мы скопили капитал - это количество. Создав Фронт, мы перестали быть ненормалами, получив статус общественного движения, - это

качество! Уже можно было заказывать банкет. Но мы были слабы. Пришла пора пустить в ход свой капитал, и мы скупили жизненно важные для столицы системы - это количество. И распорядились, на пробу, ими по-своему, дав понять, что течение жизни в Вольной Области зависит только от нас. Вот оно, желанное новое качество! Оставалось только запротоколировать достигнутое преимущество, и, честно скажу, тут я поволновался. Я ждал даже военных операций, но ничего не произошло. На днях мы с заместителем были приняты президентом страны. Формально именно этот случай мы и празднуем сегодня, хотя это было обычное рабочее совещание. Возможно, президент не понял всей серьезности нашего соглашения, но, как бы там ни было, его подпись стоит перед обязательством выделить деньги на наши социальные программы. Более того, отныне на выборах в парламент мы будем выдвигать своих кандидатов. Самое смешное, что президент посочувствовал нам, сказав, что за наших кандидатов будут голосовать одни нищие. Давайте, посочувствуем президенту, не ведающему, что он управляет страной нищих. Давайте выпьем за нашу победу!

“Нищий, а как складно излагает, - восхитился Мирон, с непривычки с трудом справляясь с пузырьками “Шаманского”. - Пидержанов, небось, с удовольствием слушает под окошком. Ну, с ним ясно, но Хихон! Зачем нищим все это: выборы, перевыборы?.. Настоящим нищим, хотя бы нашей Дарье, дай лишнюю десятку - ну, сотню, - и это предел счастья. У Хихона же денег, видно, целый вагон; чего же ему еще надо? Власть - это лишние хлопоты. Стоп! Вот у кого я со временем попрошу квартиру. Это фантастика: Мирон Пополитов - ответственный съемщик!”

- Еще по бокалу, - потребовал Савва Кузьмич.

- Мой гост, - поспешно выкрикнул Бикса. - Лично я не понимаю, что и зачем делается, в смысле дальней политики. Но все, что делается, все - к лучшему, это народная мудрость, так ведь? А предводитель и организатор всех наших побед, гениальный тик-так и стратег - Хихон. Верю ему как учителю. Но что вы хихикаете? Я верно сказал, а главное - от души. Предлагаю поднять бокалы за нашего Савву Кузьмича, только и всего. Будьте здоровы, Савва Кузьмич!

Подруга Хихона, прежде, чем выпить, поцеловала его в губы. Это была голубоглазая девушка, от природы, видимо, не брюнетка, но выкрашенная в предельно черный цвет, что в сочетании с резкой горбинкой носа и чрезмерным румянцем на скулах должно было, наверно, создавать цыганский или испанский колорит. “Экая ворона,

- подумал Пополитов. - Явно не из нашей стаи. Как ее угораздило?"

Он еще не справился со своим шипучим бокалом, а вокруг уже суетились, собираясь в парилку.

- Ну что, дорогие тетеньки, вместе идем, вместе? - повторял чей-то хриплый голос.

Черная ворона, до сих пор не раскрывавшая клюва, удивила Пополитова властным распоряжением:

- Мужчины поначалу идут одни. Им есть о чем поговорить без нас. Да там и тесно для трезвой компании. А мы пока побалуемся "Шаманским", оставьте нам это невинное дамское удовольствие.

- Как раз винное, - поправила старуха с голой спиной.

С того дня, когда пришлось войти в общество нищих, Пополитов относился к ним как к ущербным, не таким, как он сам, людям; не задумываясь об этом, он, кажется, ждал, что они и в бане должны выглядеть иначе - грязнее или корявее, что ли, и сейчас у него совсем не к слову, среди других соображений, родилась нечаянная фраза: "Нищий - он и в бане нищий". Излишне говорить, что она не подтвердилась опытом: в предбаннике Миرونу открылось, что все они жирноваты и дряблы, как свойственно в России многим немолодым чиновникам, и что он один сложен неплохо и достаточно мускулист (бритого повара тут, разумеется, не было).

В финской бане Пополитов не парился еще в своей жизни (а только в русской, с березовым веничком) и теперь шагнул в душистую камеру с опаской. Изюм всей школьной физики он, пожалуй, только то и усвоил, что вода кипит при ста градусах; здесь же перевалило за сто двадцать, и непонятно было, как уберечься от ожогов. С Мироном, однако, ничего плохого не произошло, тем более что он, вежливо пропустив других вперед, нашел потом свободное место лишь на нижней полке.

Сидя на горячих досках, мужчины упорно молчали, и Пополитов решил, что так полагается по некоему ритуалу. Прошло очень много времени, прежде чем Савва Кузьмич нарушил молчание, сообщив важную новость:

- Славно пот потек.

Ему отозвались наперебой:

- Вот уж холодненькой окатиться...

- Жаль, баня не на речке стоит или, как я в Эстонии видел, у родника. Они там вкопали в землю бочку, а в нее родниковая вода льется. Температура четыре градуса. Каково это - из парилки туда бултыхнуться!

- Что там вода - нас ждет пиво.

- Да из тебя еще “Шаманское” не вышло. Погоди смешивать.
- Выходит уже: ручьями льет.
- Но скажите, Хихон, какие “Брызги шаманского”, какие золотые россыпи вы пообещаете народу перед выборами?
- Разве трудно придумать, что пообещать? - засмеялся Савва Кузьмич.

- Никто не поверит нищему. Знаете, как говорят в Одессе: если ты такой умный, почему ты не богатый? Зачем избирательно голосовать за людей, которые и себя-то еще не обеспечили - как же они озолотят других? Никто же не знает, что мы все имеем средства.

- Такие неудобные вещи надобно обходить. Главное, предупреждая трудные вопросы, надо приступить к выполнению некоторых своих старых обещаний: добиться пенсии нищим по выслуге лет и оплаты дней болезни. Достаточно для первого раза или нет?

Для первого раза, подумал Пополитов, ему достаточно париться; он все еще слегка паниковал, думая, что чайник здесь можно вскипятить, не разводя огня. Пока, правда, ничего страшного не произошло, только тело покрылось, как росой, бусинками пота; разглядывая их на плечах, он увидел, как босая нога сидящего выше протянулась к нему, чтобы упереться в шею, и посторонился. Нога все же достала сильным, но мягким из-за босоты толчком. “В тесноте да не в обиде”, - сказал себе Пополитов. Посмотрев вверх и узнав в хозяине ноги Уклониста, он готовно улыбнулся, чтобы показать, что понимает такие ребяческие шутки; но тот глядел исподлобья. Пожав плечами и отвернувшись, Пополитов снова получил незаметный соседям толчок и теперь спросил недовольным взглядом в чем дело. Уклонист, как мог, наклонился к нему и с присвистом зашептал на ухо:

- Как ты сюда примазался?

Мирон предпочел не оправдываться:

- Не думай, что я протырился без билета. Хихон позвал. Я возил его к президенту, а вот тебя там что-то не видел.

- Откуда Нинку знаешь?

- Бикса лучше меня расскажет. Обернись.

- Я уже Бориса выслушал.

- Кто такой?

- Борис? Здешний повар и охранник. Что-то ты стал специалистом по чужим бабам.

- Ничьих баб не бывает.

- Тебе уже накостиляли за это.

- Верно, тут за мной должок, я еще не рассчитался, - забывшись, повысил голос Мирон; он снова, сочувствуя, вспомнил о Пидержанове и его парнях, томящихся за деревьями.

- С кем это ты собираешься рассчитываться? - мгновенно насторожился кто-то на верхней полке.

- Общие знакомые нашлись, - пробормотал Пополитов. - Вспоминаем.

- Федя-Петя у нас недавно, - напомнил Савва Кузьмич. - Молодой еще.

- Молодой, да ранний, - не унимался Уклонист. - Куда ни глянешь, всюду он.

- Гляди поменьше. Я его всюду посылаю, я его и сюда пригласил. Не представил, правда, вас друг другу, как принято в лучших домах, да без этого уж обойдетесь. Но, мужики, что-то я нагрелся - пойду, макнусь.

Савва Кузьмич, кряхтя, стал сползать к выходу. За ним поднялся и Пополитов, ждавший okazji, чтобы не стать первым и единственным беглецом.

“Макнуться” было некуда; Савва Кузьмич подразумевал под этим не пруд и не бочку, а всего лишь холодный душ. Пополитов подумал, что ледяная вода обожжет его, разогретого; но нет, освежиться было просто приятно; он не мог только понять, почему старик после душа возвращается обратно в духовку; сам он не был способен на такой подвиг.

- Ты особенно теперь не наряжайся, - посоветовал на прощание Савва Кузьмич. - После парилки у нас - по-простому.

Сказано это было к месту: Пополитову была противна одна мысль о галстукe.

В предбаннике развалился в плетеном кресле-качалке Борис. После слов Уклониста Пополитов не очень хотел бы оставаться с тем наедине, и первым, трусливым его побуждением было, сделав вид, что ошибся дверью, вернуться в парилку, а потом выйти уже вместе со всеми; но это было бы совершенно против его правил. Он мужественно принялся вытираться. Когда он взялся за белье, Борис нехотя проговорил:

- Наденьте плавки. После парилки у нас не одеваются.

Представив себе, как он появляется перед разряженными женщинами в трусах, Пополитов недоверчиво хмыкнул. С другой стороны, Бикса и в самом деле зачем-то велел взять с собою означенный предмет.

- Там все бабы в прикиде, - слабо возразил он. - Да еще я

выхожу первым.

- Плевать вам на баб, - спокойно сказал Борис.

Пополитов пожалел, что выбрал неудачную оказию: недолгий попутчик бросил его на произвол судьбы, а тянуть время было бессмысленно: никто не собирался выходить следом.

Плавки он все же натянул.

- Форма одежды - летняя, парадная, - удовлетворенно заметил повар. - Главное, не сомневайтесь: вы же в баню приехали, не в ресторан.

Пополитов решил.

Войдя в зал, он увидел, что женщины вовсе не скучают, а и пьют (вовсе не “Шаманское”), и закусывают с воодушевлением. Заметив его, черная спутница Хихона насмешливо предупредила подруг:

- Мужчина!

На столе поблескивали на солнце бутылки с самыми разными этикетками, но как раз нужного сорта, кажется, не было вовсе - это Пополитов разглядел, еще не сев на место. Сзади неслышно подошел Борис и наклонился к самому уху:

- Пивка?

Не найдя слов, Пополитов всплеснул руками. Повар протянул запотевшую кружку.

- Ты что, хочешь отделаться пивом? - громко, чтобы слышали все, спросила Нина.

- Пусть догонит нас!

- Штрафную! Штрафную! - весело кричала каждая.

Не отрываясь от кружки, Пополитов затряс головой и поднял вверх два пальца свободной руки. Тотчас рядом оказался Борис со второй порцией. Только покончив и с ней, Мирон перевел дух и сумел выговорить:

- Теперь командуйте.

Ему пришлось принять на себя всю тяжесть первого удара. За ним ухаживали со всех сторон, подкладывая закуску, наливая водку, содовую и соки, и он одному только воспротивился - не стал пить в одиночку, хотя бы и штрафной бокал; сошлись на том, что изрядно налили и Нине. Старуха с голой спиной - Катя, как она, теряя чопорность, представилась общему пока кавалеру, - тоже плеснула себе под шумок. Попытку Пополитова сказать тост пресекли, напомнив, что торжественная часть давно закончена и сейчас, как и на всяком, по знаменательному случаю, собрании, начинается художественная; так повелось еще при первых большевиках -

успокаивать измученную речами вождей публику сборным (с бору по сосенке) концертом. Катя, как только упомянули о двух частях, тотчас придумала, что вторую станут выступлениями самодеятельности.

Найденное Катей трудное слово возбудило немолодых женщин, на время детства которых приходился разгул обозначенного этим титулом явления; тогда, если уж великий кумир считал, что даже управлять государством могут кухарки, то как бы само собою разумелось, что заменить или превзойти каких-то там несчастных артистов им, кухаркам, подавно не составит труда. Так оно и вышло, именно труда это и не составляло: презрев изнурительную работу над каждым жестом, словом или нотой, резвые самодеятельники выходили на сцену, лишь на часок оставляя свои обычные орудия - серпы и молоты. Успех бывал неминуем, оттого что публику составляли только те, с кем они повседневно ковали и жали. Этому увлечению требовались, однако, особые условия, прежде всего - темнота вождя; над свежей его могилой загудела новая музыка, и по прошествии лет одни только старики - жнецы и молотобойцы - тосковали, вспоминая свою жизнь в искусстве, неведомую молодым.

Не теряя времени, Катя принялась выяснять возможности женщин; на взгляд Пополитова, ни одна ни на что не годилась, но у Кати был свой взгляд.

Мужчины и в самом деле явились к столу в плавках, не стесняясь своих неспортивных телес. Только Савва Кузьмич, менее любого из них похожий на Аполлона, надел алый, шитый золотом халат; появившись тут посторонний, ему сразу стало бы ясно, кто правит бал. Женщины зашептались, разглядывая шитье, и вдруг, спохватившись, бросились в парную, устроив веселую свалку в дверях. Со спины это выглядело забавно, и вдогонку им лениво полетело несколько уместных шуток.

Обнеся пивом, повар занялся шашлыками.

В том, как мужчины провели за столом свое холостяцкое время, не нашлось ничего особенного, как и в их речах, обычных для всякой пьянки. Обошлось даже без анекдотов, которых попросту никто не знал. Тем не менее возвращение распаренных женщин показалось преждевременным: что-то осталось недосказанным, а что-то - недопитым, и уже не находилось возможности срочно завершить начатое, оттого что все внимание прочно переключилось на дамские костюмы, более, конечно, разнообразные, чем у мужчин: с верхом и без (у Нины), закрытые и весьма условные. Мужчины теперь больше смотрели, чем говорили, отвлекаясь на мимолетные пока

поглаживания, похлопывания и объятия. Нетерпеливые шалости были прерваны Катей, некстати объявившей о своей выдумке.

- Но музыки нет, - нерешительно возразил ей Савва Кузьмич.
- Найдись здесь баян - и я бы тряхнул стариной. А так, всухую, чем вас развлечь?

- Все тем же.

- Интересное предложение. Для такого концерта надо еще созреть. Давайте-ка попьем, поедим, пока водка не остыла, попаримся еще чуток, а там видно будет.

- Горько, - закричали вдруг с дальнего конца стола. Савва Кузьмич с готовностью привлек к себе Катю и застыл в долгом поцелуе.

- Смотри-ка, не разучился, - ухмыльнулась она, с укоризной посмотрев на своего мужа ли, партнера ли (Пополитов, с которым они вместе приехали, выразился бы точнее: попутчика); тот, пока они распространялись о самодеятельности, усадил себе на колени другую женщину и кормил ее с ложечки, одновременно исследуя строение купальника.

- Мы расслабились раньше времени, - поднимая рюмку, сказал Савва Кузьмич. - Не забывайте о причине нашего собрания. Мы выиграли этап, но не думайте, что дальше все пойдет как по маслу. Я тоже прыгал от восторга, позабыв, что с победой нищих не прекращается объявленная народу война. Силы противника свежи, и, несмотря ни на какие договоры, могут начаться решительные действия.

- Мы, - прервал его Бикса, - уже не способны следить за извилинами твоего доклада. Прения и голосование также откладываются до отрезвления депутатов. До частичного отрезвления. А силы противника - пусть они в гробу перевернутся после моего тоста.

Муж, партнер, попутчик Кати оставил на время свои упражнения; и в самом деле, рано было отвлекаться на пустое, коли успели шашлыки. Пирушка закрутилась с новой силой: пили вовсе уже беспорядочно, никто больше не пытался завладеть общим вниманием, и поднялся гвалт. Пополитова более беседы заинтересовало убранство соседки, Нины (тут он немного позавидовал сидящим напротив), и от этого стыл его шашлык. Теперь Мирону начала чудиться во всем ее облике некая приятная продолговатость, подчеркнутая прямыми линиями распущенных по плечам волос, и ему трудно стало понять, как же ей, несмотря на запрет Хихона, удалось пробраться ради него в эту замечательную

баню. Для конспирации он продолжал называть ее Ниной, и это претило ему. Собравшись после шашлыка выяснить отношения, перейти на “ты” и раскрыть псевдонимы, он был застигнут врасплох Катей, мимоходом тронувшей его за плечо:

- Бабам пока не до парилки. Давай, что ли, ты проводи меня, Федя-Петя. Не париться же в одиночку.

Озадаченный, он не посмел послушаться.

На сей раз Пополитов рискнул забраться на верхнюю полку, думая, что старая женщина остережется последовать за ним; стало быть, образуется позиция, при которой ей, если сидеть удобно, мало что будет видно. Катя все же заняла место рядом, и он, вынужденный скрючиться, подтянув колени к груди, не мог, к тому же, не сожалеть о том, что оставил щедрый застольный пейзаж ради наблюдения полупустыни.

- Ты в хихоновых игрищах раньше не участвовал? - спросила она.

- Я здесь случайно, - признался Мирон. - Сопровождал Хихона, когда тот встречался с президентом, вот и влип в историю.

- То-то, я смотрю, ты весь на пружинах, как сыщик. Расслабься, успокойся, и вот мой тебе совет: если хочешь удержаться возле Кузьмича (а ты хочешь), не выступай сегодня слишком нахально. Он любит, когда знают место. Пусть он веселится, а мы возьмем свое после.

Нахалом Пополитов себя не считал и плохо понял, что имела в виду Катя; переспросить же поленился, да и не успел бы, потому что Катя поцеловала его куда захотела, и в эту минуту в парилку ввалилась целая компания: трое мужчин и та, которую он окрестил про себя черною вороною; последняя была б очень хороша, когда бы великолепные части, из которых ее собрали, не оказались разных размеров; вблизи, впрочем, это не бросалось в глаза.

Чтобы не смотреть ни на кого, Пополитов пересел на нижнюю полку, подальше от греха.

На этот раз он дождался, вышел со всеми. Как он и подозревал, костюмы после этого антракта стали еще скромнее (или богаче, в зависимости от точки зрения); с некоторым удивлением Пополитов признал, что это ему по вкусу. К счастью, он не умел долго думать об одном предмете, да ему и не дали бы: Катя торопилась показать свою программу.

Первой на площадку возле камина вышла Нина. Бросив свою еду, Пополитов впился в нее взглядом, потому что видел - Таню. Свободно облокотившись о каминную полку, Нина, неожиданно

зардевшись и нервно застучав каблучками, запела детскую песенку. Он слушал плохо, думая одновременно и о том, что надобно напомнить ей о своем деле (о комнате), и о фасонах женского бритья.

Вдруг запнувшись, Нина заявила, что не помнит слов.

- Танец маленьких лебедей, - не делая паузы, объявила Катя.

Одним, самым худым лебедем была она сама, еще двое выглядели, как добрые кобылки; четвертым вышел мужчина. Судорожно сцепившись крест-накрест руками, они вдруг дернулись и зашлепали ногами по паркету, широко разводя колени, как задумал когда-то Петипа, и сами себе аккомпанируя дурными голосами:

- Трам-пам-пам-пам-пам-та-ри-ра, трам-пам-пам-пам-пам-та-ри-ра, трам-па-ри-ра-там...

- Ну вот, - сказал Пополитов вернувшейся на свое место Нине, - а еще уверяли, что из блядей не сделаешь лебедей.

Нина сидела подле, и Пополитов понял, что долго не выдержит этого балета вкупе с таким соседством. Он попробовал обнять ее - девушка не воспротивилась, но Мирон вовремя сообразил, что пока больше никто не интересуется своими дамами и, значит, стоит подождать какого-нибудь знака или примера. До него дошло, о чем предупреждала Катя.

Но и пробный его жест не прошел незамеченным. Лебеди уплыли, черная ворона с острыми грудками запела цыганский, конечно же, романс, а Пополитова поманил к себе повар. "Уклонист накаркал все-таки," - трезво подумал Мирон, с неудовольствием оставляя место в первом ряду партера.

Борис прикрыл за ним кухонную дверь и, протягивая фужер коньяка, сказал учтиво:

- Пожалуйста, посошок на дорожку. Вот, икорочкой закусайте.

Коньяк был и в его бокале, но на доньшке.

- Какую дорожку? - не понял Пополитов; он решил, что провожает ненужного больше повара. - Эй, да там частушки поют. Приоткрой дверь: слов не разобрать.

- Дальнюю дорожку, дальнюю, которая - скатертью, - ласково ответил Борис. - С пиковым интересом.

- С черной вороной, что ли, пиковой? Да там же Хи-хон!

Он все же выпил, похвалил и закусил услужливо поданным ломтиком лимона, а затем и бутербродом.

- Ну вот, - сказал повар, - попили, покушали на халяву - пора и честь знать.

- Там - самый разгар, - не согласился Пополитов.

- Ну и что ж? У нас, у поваров, закон: всякому овощу - свое время. Так что надевайте штанишки - и гуд бай, через черный ход.

- Да ты... да я... да знаешь, кто меня пригласил? Собственноручно сам Хихон!

- Гордитесь этим, сэр.

Обиженный, Пополитов рванулся в зал, но Борис, легко приподняв за локотки, вернул его, сучившего ногами, на место. Тут Мирон заметил сложенные на стуле свои вещи.

- Согласно инструкции, - усмехнулся Борис, - вам придется или проснуться далеко отсюда, не сознавая, разумеется, где вы находитесь, и, возможно, даже забыв, где находились, или уйти по-английски: не прощаясь с хозяевами. Да вы не огорчайтесь: кто знает, может быть, потеряете больше, ежели останетесь.

Было самое время Пидержанову пойти на приступ, но, когда через минуту Мирон, чрезмерно одетый, спускался с крыльца, окрест не оказалось ни души (он искал в укромных местах).

В кейсе что-то подозрительно перекатывалось; открыв его, Мирон увидел две банки датского пива.

34

Третьего дня Пополитову пришло замечательное письмо, только он не знал об этом. Конверт, доставленный из Исполнительного собрания в заводское общежитие, теперь дожидался адресата на его работе; работал же тот, как известно, через трое суток на четвертые. Как раз на четвертые после прибытия письмо и должно было попасть ему в руки; пока же наступал исход третьих, а до утра, до рабочего дня, надо было еще дожить.

Каждый на его месте извелся бы ждать, когда бы заранее знал чего.

В эту ночь Пополитову и в самом деле спалось беспокойно, но совсем по другой причине. Обычно он плохо спал после крепкой выпивки из-за опасения (чаще всего - напрасного), что не проспит и от него будет нести перегаром. Сегодня же ему не спалось из-за перенесенного унижения. Что-то, видимо, стряслось необратимое в его жизни, если дурные случаи стали повторяться. В порядке вещей было бы, если б его вообще не пригласили на тайный банкет (и не должны были приглашать) или если бы Хихон заранее указал своему работнику место, соответствующее его положению (да работник и сам знал его), но он оказался выставленным, тайком от хозяев, обыкновенным тупым вышибалой: это был уже плевок в душу.

Обиднее всего было собственное бессилие: сопротивляться Борису он мог с тем же успехом, что трамваю. Только подняв большой шум, он бы остался, почти наверняка, но что-то подсказывало Пополитову, что тогда над ним посмеялись бы исподтишка и нищенская его карьера, вместе со всеми надеждами на приз от Пидержанова окончилась бы тотчас; к тому же и момент не подходил для скандала - Борис выбрал его точно. Еще и потому не стал шуметь Пополитов, что выгнали его из-за женщины (второй случай за короткое время!), причем снова - из-за случайной; теперь он думал, что не огорчился бы, оставшись без пары.

Впрочем, он все равно восстал бы, не будь так пьян: выпив, Мирон добрел.

Хмель понес его от бани не домой, а шляться где попало - пьяное его обыкновение. Служба была превыше всего, и Пополитов первым делом обследовал кусты, где мог найтись его строгий начальник, но тот либо слишком уж хорошо замаскировался, либо отбыл на своем поддельном такси, понадеявшись на добросовестность внедренного агента; во всяком случае, последнему пришлось идти на станцию пешком, не исповедавшись. Где-то прозевав развилку, он, спустя долгое время вышел на совершенно другую, незнакомую станцию; это не имело бы значения, оттого что и отсюда шли те же поезда, если бы таким образом не пропал последний шанс найти переодетого майора. Эта станция была крупнее, платформу обступили и рыночек, и ларьки, и питейные палатки, так что любого другого, бредущего с обидой в сердце куда глаза глядят, как раз в эти палатки и занесло бы - добавить, по русскому обыкновению, к уже принятому; только Пополитову этого не требовалось, он и так чувствовал себя покладистым добряком. Тихо и мирно он сел в электричку, и хотя за время пути доброта начала потихоньку проходить, как если бы за ее счет и совершилось движение, ее все же хватило и на пешую дорогу по городу. Будь это не так, он непременно вязался бы в какую-нибудь историю, чтобы разрядиться, но сейчас поиски справедливости вели его только к шефу.

В Казенный Дом он позвонил прямо с вокзала.

- Он на линии, - ответил мужской голос.

Ничего не поняв и машинально повесив трубку, Пополитов тотчас пожалел, что не спросил, на какой такой линии мог оказаться майор. "Ах, да! - только спустя несколько минут наконец догадался он. - Пидержанов ведь таксист!"

Вообразив извилистую, как на карте, линию, Пополитов

обреченно побрел вдоль нее домой; она сразу увела его в сторону от остановки транспорта, зато на маршрут, кратчайший для пешего. Перед ним открылась довольно уютная, обсаженная высокими тополями улица, лишь в самом своем начале опошленная бетонным забором: как и возле Центрального вокзала, тут располагалась тюрьма (видимо, из-за удобства закатывать арестантские вагоны сразу во двор); эту называли Большой. В забор, в дальнем конце его, врос симпатичный домик из красного кирпича с белой отделкой; на двери интеллигентно поблескивала начищенная медная дощечка с надписью “Отдел найма”. Впервые за много месяцев обратив на нее внимание, Пополитов задумался, не зайти ли. В нынешнем его состоянии он и зашел, и нанялся бы на приличный срок, когда бы вовремя не вспомнил, что некому будет завтра подменить его на службе.

Некоторое время, возбужденный медной табличкой, он читал другие попутные вывески. Ближайшей к тюрьме натурально прижилась контора “Все виды правовых услуг”, но в следующем доме предприимчивый нахал, не чуждый языкового озорства, открыл другую - “Все виды левых услуг”, замечательно смотревшуюся в таком соседстве. Внимательный трезвый наблюдатель (не Пополитов) заметил бы у второй - бесспорно, младшей - большее оживление. Не подумав сравнивать ту и другую, Мирон попросту поддался воспитанному еще в Советском Союзе, еще в детском доме, стадному чувству и уже повернул к учреждению, полагая, что тамошний товар на что-нибудь да пригодится, но некстати разглядел еще одну вывеску - трактира. Там тоже было отнюдь не безлюдно, и стадное чувство несколько не было посрамлено. Он решил зайти, оттого что израсходовал часть доброты.

К великому своему изумлению, Пополитов проснулся потом в собственной постели.

Как водится в таких случаях, нещадно болела голова. Он знал, что нужно делать, и уже было направился к Павлу Потаповичу, который обычно выручал его своим зельем, но его остановило смутное воспоминание; он заглянул в кейс - там было пусто. “Нет, это уже фантастика какая-то была бы”, - сказал он себе и все же поплелся на кухню проверить холодильник. Открыв его, Мирон не сдержал радостного возгласа: на его полке лежали две банки датского пива. “Сервис у них, что ни говори, потрясающий”, - благодарно подумал он о нищих.

После пива у него разыгрался аппетит, и, только лишившись в одночасье трехдневной нормы брынзы и сала, он стал несомненно

готов к службе. Готовность, равно как и самую службу, можно понимать по-разному; на сей раз Пополитов исходил из того, что, надев форму и засунув в кобуру наган, он становится хотя бы наполовину солдатом, а в жизни того, помимо ньютоновских, важен еще и такой закон природы: солдат спит - служба идет. Короче, когда прошел поток рабочих, Мирона неудержимо потянуло ко сну. Не отходя далеко от кабины, он через окошко заглянул в комнату караула.

Начальник смены, приятный своею нездоровой пухлостью мужичок, баловался чайком. Он предложил и Пополитову.

- Я же в кабине, - отказался тот, переходя без лишних церемоний к делу: - Слушай, Семеныч, не посидишь ли за меня часок? Сил нет, как спать хочется.

- Пятерка, - без задержки оценил услугу Семеныч.

- Последи, чтоб не будили.

Рыночная система взаимной выручки действовала тут безотказно. За деньги, в убыток, можно было освободиться от дежурства; за деньги же, в прибыль себе, можно было в запретное время выпустить в город затосковавшего в неволе рабочего; требовалось соблюдать лишь единственное условие - избегать свидетелей.

Начальник караула не только честно отработал пять рублей, но и от щедрот своих подарил Мирону лишних четверть часа; по правде говоря, ему все равно было, где сидеть - в караулке или в будке над турникетами, тем более - в первой половине дня, когда рабочие еще без особенного неудовольствия навивали колочки на проволоку и штамповали ведра. Он просидел бы еще, да вспомнил о письме.

- Вставай, орел, - потряс он за плечо разоспавшегося Пополитова. - Я забыл тебе сказать: тут приходил какой-то паренек из общежития, Александр, велел письмо передать.

- Кто это мне письма стал писать? - тупо удивился Мирон, плохо соображая со сна.

- Дома, значит, не ночуешь по трое суток? - не упустил возможности подтрунить Семеныч. - Все по бабам?

- В деревню ездил, к тетке, - на всякий случай сказал Пополитов.

- К тетке, к тетке, я и говорю - по теткам, - захохотал начальник, доставая из нагрудного кармана гимнастерки конверт. - Вот, измялось маленько.

Как собака кость, Пополитов понес письмо к себе в кабину,

чтобы прочесть без соглядатаев. Там он обнаружил, что это и не частное письмо вовсе, а официальное, от властей, уведомление о выделении ему той самой комнаты, из которой его однажды так несправедливо выбросили. Приложением к этому была записочка от Тани с нежным поздравлением. То и другое он прочел без особого воодушевления. “Раньше надо было решать, - презрительно подумал он. - Тоже мне подарок - комната в коммуналке, да еще в доме, который вот-вот пойдет под бульдозер. Нет уж, теперь история с нищими заканчивается, и Пидор должен сдерживать слово. Будет мне квартира, будет! Пополитов - ответственный съемщик! Каково? А эти нашли, кому совать подачку”. Под конец Мирон так распалился в мыслях, что ему потребовался ощутимый выход, и он запел на мотив песенки из “Трех поросят”:

- Нам не нужен дом на слом! Дом на слом! Дом на слом!

С другой стороны, что ни говори, а он так и так становился законным хозяином жилища, и если раньше сравнивал лишь одну мечту с другою, то теперь мог выбирать между синицей в руках и журавлем в небе - хотя ему и мнилось, что в руках был как раз журавль.

За устными сравнениями пернатых часы протекли незаметно. Очнувшись от звонка, обозначившего начало обеденного перерыва, он открыл турникеты, сразу приведя в движение десятки похожих один на другого людей; каждый из них мог оказаться злоумышленником, выносящим с завода казенное добро. “Да вот он”, - обрадовался Пополитов, перекрывая проход; нарушитель едва не прошел незамеченным в плотной группе, но его выдало блеснувшее в случайном прогале новенькое ведро.

- Что выносим? - брезгливо спросил Пополитов.

- Да вот опилки набрал, - смиренно ответил рабочий, предъявляя ношу. - Я ж деревенский, из Вострякова, у меня хозяйство. Свиной завел. Вот и нужны опилки - пол посыпать. Здесь-то они точно никому не понадобятся. Дозволь уж...

- Не положено, - угрюмо сказал охранник, вспоминая вчерашнюю буженину.

- Их все равно сжигают. Дерьма-то...

- Сказано тебе: не положено.

- Не нести же их назад. Пока прохожу туда-сюда, обед кончится. Разреши на этот раз.

- Сыпь в урну, - велел Пополитов.

Сделав расстроенное лицо, рабочий высыпал опилки в урну и, сгорбленный, прошествовал с пустым ведром на улицу.

Что-то Пополитов сделал здесь не так, но ему не до того было, чтобы разбираться в мелочах. Главное заключалось в том, что все выходило не так споро и складно, как хотелось; вот и нынешнее письмо зря провалялось на заводе, да еще терялись нынешние сутки, оттого что дежурство начисто исключало возможность немедленного разговора с Пидержановым.

Разговор состоялся только во второй половине следующего дня.

- Только не у меня и не “Под колпаком”, - сказал майор по телефону. - Почему, почему - будете еще капризничать. Столик наш занят коллегами, вот почему. Ну, и другие причины.

Другими причинами было то, что накануне майор без видимого повода напился в одиночку до неприличия и теперь мечтал о пиве; как назло, с утра ему не удавалось отлучиться.

- Знаете бар “У сексота”? - продолжал он. - Господи, можно подумать, что вы родились в Пномпене. Точно напротив главного входа в универмаг “Молот” войдете под арку, во двор, сразу направо - и в подвал. Там полно вывесок, не заплутаете. Скажете швейцару, что у вас встреча со мной.

“Вот и этого потянуло на баб”, - печально подумал Пополитов, для которого диковинное слово сексот имело общий корень только с сексом. Ожидая чего-то разудалого, он потом, на месте, был разочарован старомодностью интерьера. В вестибюле его встретило знакомое чучело медведя, почти такое же, как и в нищенской “малине”, только не плешивое. Зал с окрашенными зеленой масляной краской стенами украшала бронзовая женская статуя, а столики стояли каждый в особом загончике, образованном барьером высотой по пояс, с бархатными зелеными перильцами по верху. Никакой звуковой аппаратуры не видно было по углам, и в зале стоял только здоровый мужской галдеж.

Швейцар с золотыми галунами на потертом кителе проводил Пополитова в дальний темный угол. Тотчас на столе появились и кружка пива, и тарелка черных соленых сухарей.

Майор пришел следом и начал с воспоминаний.

- Когда-то здесь подавали раков, - сказал он, глотая слюну, - на огромнейших блюдах. Знаете, молодой человек, сколько воспоминаний юности, да что там - отрочества связано у меня с этим местом? Еще школьником я с одноклассниками заглядывал сюда - думаете, зачем? Посмотреть на людей, живущих другой жизнью. Пива я тогда не любил, пил через силу. Но мне интересны были те, кто проводит досуг не с женщинами (о чем я только мечтал), а за

выпивкой. Пусть и за кружкой пива - тогда я не видел разницы. Быть всегдаем этого зала (тогда он назывался "Пивной зал № 4") представлялось мне последним градусом падения. На самом деле - рядом же расположены филфак и библиотека - зал был любимым местом студентов; но, приходя сюда, мы с приятелями считали, что заглядываем на самое дно общества.

- Да у нас везде дно, - вздохнул Пополитов, вспоминая о своем обреченном доме.

- А вы делаете успехи: вот уже и обобщать начинаете. Придется поменять вам уголовную статью на политическую.

- Теперь-то вы полюбили пиво?

- Напиток богов.

- Вроде бы не сочетается с леденцами, - съязвил Пополитов.

- Хочу объять необъятное. Пока что приходится чередовать. Раков-то нету. Даже и в вашей избушке на курьих ножках, готов биться об заклад, не угощали. Приходится, как видите, довольствоваться сухарями. Тот еще заменитель... Пардон, не за столом будь сказано, на безрыбье и сам станешь раком. Ну, хватит. Рассказывайте-ка поскорее, что там было.

- Закуски - самые разные...

- Я не о столе спрашиваю. О раках не для того было упомянуто.

- Что было? Бардак был. Да там, в доносе, написано. Коротко: Хихон праздновал не то братание с президентом, не то победу над ним. Финская баня, водка, бабы.

- И вам перепало?

- Не успел разойтись, как выставили. Я думал, вы там где-нибудь окопались, - поискал, искал да ушел.

- С девицей?

- Какая же девица уйдет с такого карнавала? - искренне удивился Пополитов. - Да и некуда мне с девицей податься, сами знаете.

- Так-таки некуда? А в развалину возле пароходства? По Казенному Дому ходят слухи, что судебные исполнители теперь уже не выкинут на улицу вашу кровать вместе с ее содержимым.

- Лучше распустите слухи, что я справляю новоселье в новой отдельной квартире, вами же, кстати, обещанной. Этот-то дом идет на снос! Только из-за чьего-то идиотского разгильдяйства нам еще не отключили воду и отопление.

- Успокойтесь, успокойтесь. Что ни говори, а на улице вы теперь не останетесь.

- Но вы же, Пи... Федор Эростович, обещали помочь с квартирой, если я хорошо послужу. Для вашей конторы это плевое дело. С нищими все стало ясно; мне там, наверно, больше делать нечего, так что... Не можете же вы сказать, что я отлынивал от службы.

- Стоп, стоп, - умоляюще протянул руки Пидержанов. - Вас сегодня не остановишь. Во-первых, я ничего не обещал. Если хотите, можем прослушать запись нашей беседы. Я сочувствовал вам, выслушивал ваши жалобы на судьбу - это да. Конечно, попади вы в безвыходное положение, я и без обещаний помог бы, но вы, кажется, и сами неплохо устроились. Танечка мне подробно все рассказала. И потом, с чего вы взяли, что операция закончена? Все главное - впереди, с нищими нам еще работать и работать, тем более что вы там стали особой, приближенной к императору.

- К какому еще императору? За вами не поспеешь.

- Виноват. Надо щадить вашу необразованность. Я имел в виду Хихона Первого. Вам следует закрепить свое положение подле него.

- Да сколько же можно?

- Пока не забудется ваш дебош в электричке, - сухо ответил майор. А потом - до пенсии. Вы-то ведь еще помните подробности? Ну, и у полиции память не короче. К тому же, если вы порвете с нищими, они моментально заподозрят, что вы шпионили.

- И что же, мне принять эту подачку? Комнату в коммуналке? Мне ее бросили, как кость собаке. И, стойте, откуда вы знаете про комнату? Отчего вы сказали - Танечка?

- Где, по-вашему, должен жить нищий? - не отвечая ему, в свою очередь резонно спросил Пидержанов.

- Дом на слом! - вдруг расхохотавшись, запел Пополитов. - Дом на слом! Дом на слом!

- Ну что, Ваня, давай, попишу, - дружелюбно предложил сосед по палате.

Отказывать ему, а тем более - ссориться не имело особого смысла, оттого что Иван Сергеевич, несомненно, проиграл бы в рукопашной, но и согласиться было совершенно невозможно, так как на жаргоне, знакомом обоим с детства (а они выглядели ровесниками), "пописать" означало полоснуть по лицу лезвием. В послевоенные годы такие приемы никого не удивляли, но

позабылись теперь, так что Гоголев не сразу взял в толк, о чем идет речь (не помогать же ему в письме собрался сосед), но, увидев раскрытую бритву, моментально вспомнил и дворовый язык, и то, о чем когда-то судачили хозяйки на общей кухне, - и похолодел. Деться ему было некуда: дверь запиралась снаружи, кнопка звонка находилась за спиной противника, а кричать в комнате с мягкими стенами не имело смысла. Славик - так звали его немолодого соседа - для начала минут пять водил своей опасной игрушкой перед самым носом Ивана Сергеевича, а потом неожиданно отступился, став до конца дня обыкновенным добрым малым, каким и отрекомендовал его врач.

Тот же выпад Славик повторил и на следующее утро, да так и привык резвиться.

Ивану Сергеевичу ничего не оставалось, как обратиться во время обхода к врачу - к Диме Димуруну как к знакомому - не с жалобой как бы (нельзя же было при Славике), а с просьбой об улучшении условий. При поступлении в больницу было оговорено, что ему предоставят отдельную палату и вообще отнесутся, как к гостю; как и следовало ожидать, палата досталась с соседом, да и та - в буйном отделении. Правда, и в этом нашлись свои плюсы - мягкие стены, например, несколько приглушающие звуки, издаваемые санитарями, больными и телевизором.

Славик не понравился Гоголеву с первого взгляда; от такого можно было ожидать чего угодно, и Иван Сергеевич забеспокоился, не посягнет ли сосед на его невинность; он заснул, держа руку на звонке, и спал плохо, но эта ночь прошла без приключений. Утром выяснилось, что бояться надо совсем другого.

Во второй день он опять вынес сеанс фехтования, а, дотерпев до темноты, заснул спокойно, отчего-то уверенный, что если на него не покусились прошлой ночью, то не стоит волноваться и впредь. Вдобавок он справедливо рассудил, что Славiku нет интереса полосовать спящего человека - с таким же удовольствием можно резать и чучело, - а непременно захочется предварительно поиздеваться и унижить страхом.

На третье утро Иван Сергеевич получил возможность спокойно умыться, а когда настала пора ответить на вопрос, не пописать ли его, в палату вошел санитар. Гоголев быстро оглянулся на Славика - в руках у того уже ничего не было. "Псих, а ловкий, - удивился Иван Сергеевич. - Не такой уж он дурак".

В этот день врач наконец-то вместо обхода принимал больных у себя в кабинете.

- Дмитрий Валентинович! - прямо с порога воззвал Гоголев.
- На обходе я не сумел сказать обиняками, но, послушайте, я еле остался жив. Мой сосед - бандит. У него опасная бритва, и он грозит по фене. Кто знает, что на него найдет? Это же секунда: чик - и готово.

- Что за "чик"?

- Бритва, какой бреют парикмахеры.

- Откуда она у него? - изумился Димулин. - Впрочем, отнимем, не беспокойтесь. Сию секунду и отнимем. Других жалоб нет?

- Жалуюсь на сон: так сплю, что могу не заметить, как перережут горло.

- Ну, ступайте и не думайте о плохом.

Вместо вызванного к врачу Славика в палату зашли два санитары и произвели тщательный обыск.

- Мы, Иван Сергеевич, без ордера, - ухмыльнулся один из них, - так что вы уж не выдайте начальству.

- Настучу непременно, - радостно, предвкушая избавление, засмеялся он. - Так на моем месте поступил бы каждый.

- Клиника вас не забудет.

Поиски оказались безуспешными, хотя смотрели, по его настоянию, даже и в вещах Ивана Сергеевича.

- С собой понес, - предположил Гоголев.

- Вот мы его в кабинете и пощупаем.

Возможно, санитары и щупали подозреваемого, только по возвращении от врача тот, веселясь, немедленно взялся за свое изверское занятие.

Только ночью возможно было отдохнуть от кошмара. Время до отбоя тянулось мучительно, тем более что хуже всего были не сами фехтовальные пассы Славика, а ожидание их. Когда наконец погас свет, Иван Сергеевич, вытянувшись под одеялом, огорченно подумал, что скоро заснет, не насладившись безопасностью; он мечтал о бессоннице. Будь в его распоряжении ночь, он смог бы подумать без помех о своем будущем - для того, кажется, он и шел в сумасшедший дом. Успев убедиться в том, что превращение в нищего - невозможная для него глупость, Иван Сергеевич еще не нашел для себя честного выхода. Вещи, между которыми до сего дня ему приходилось выбирать - служба в школе и нищенство, - для него были как бы двумя полушариями Земли; наличие в сфере третьего было явным абсурдом - разве что оно нашлось бы на другой планете или на спутнике - и никоим образом не было связано с его тайной

жизнью среди сумасшедших.

Больнице не находилось места в будущем Ивана Сергеевича, а в настоящем она стала небезопасна, и он намеревался не далее, как утром, уйти восвояси. Он смаковал предполагаемую картину тайного почему-то ухода, проигрывая его со всеми подробностями и сожалел лишь о том, что дорога коротка и проста и репетиция не может надолго занять воображение. Больничные ворота охранялись, но рядом с ними в ограде зияла известная каждому дыра, через которую больные обычно бегали за вином. Тут же останавливался троллейбус, ходивший почти до самого гоголевского дома. Решившись, Иван Сергеевич уже недоумевал, почему не уехал на нем раньше (дверь палаты по его просьбе не закрывали) - никто не чинил бы препятствий. Никто не чинил препятствий, попросту не встретился ни в коридорах, ни во дворе, ни на улице, словно безрадостная погода заперла людей в их убежищах. Ждать троллейбуса пришлось долго, и мало-помалу на остановке все-таки собрался кое-какой посторонний народ, четыре или пять человек, а в последний момент подошли десятка полтора военных моряков во главе с прапорщиком в серой армейской шинели, сразу создав толпу. При посадке вышло, конечно, так, что весь военно-морской десант оказался впереди деликатного Ивана Сергеевича, то ли уступившего дорогу, то ли грубо оттесненного; словом, подниматься пришлось уже в битком набитую машину, не видя, куда поставить ногу. Особых проблем не было бы, если б не его багаж в виде белой обувной коробки: мало того, что он сам вынужден был повиснуть на одной лишь руке, но и для коробки требовалось найти место изрядное, оттого что ее склеили словно бы вовсе и не для обуви, не для сапог, а для всей, от живота, ноги. В действительности внутри не было ни отрезанной конечности, ни протеза, а плотно лежали несколько пар черных мужских туфель на микропоре. С такой тяжелой неудобной кладью Иван Сергеевич долго не провисел бы на своей лиане и, так как двери еще не закрылись, выпал бы на тротуар, не вырвись у него: "Мужички, пособите же", - вызванное раздражением от вида безразличных одинаковых затылков. Моряки, живо откликнувшись, приняли его ношу и самому помогли утвердиться на ступеньке.

На первой остановке прапорщик, комичный в своем сером вязаном шлеме с тесным окошком для лица, выбежал с передней площадки, а его команда - с задней, все как один обутые в неприлично новые полуботинки. Иван Сергеевич, вынужденный, выпуская их, ждать на панели, по возвращении в опустевший салон нашел там свою пустую коробку и разбросанную повсюду старую

обувь, весьма разнообразную: кеды, туристские ботинки, дамские сапожки на венском каблукке, рваные кроссовки. Оглядев с тоской это богатство, он присел на свободное место и начал примерять одну пару за другой (не мог же он ходить по городу босым), - но ничто не пришлось ему впору. Он попробовал даже и сапожки на каблукке (носил же их матрос), но и те оказались тесноваты. Чтобы совладать с собою, Иван Сергеевич зажмурил ненадолго глаза, а потом, осторожно поднимая веки, увидел стоящего над кроватью Славика с пустыми руками.

- Что, сосед, напишем? - неоригинально предложил Славик, презрев предисловие, и потянулся за бритвой, небрежно брошенной на его кровать.

- Надоели вы мне, Славик, со своей писаниной, - зевая, отмахнулся Иван Сергеевич и свесился с койки посмотреть, куда задевались его тапочки.

- Напрасно вы так. А я-то к нему со всей душой... Живы же, вот и скажите спасибо, а не грубите. Сами-то, без меня, может быть, тоже дольше не проживете; никто ведь не знает, как там дальше пойдет: вдруг достигнем коммунизма в каком-нибудь овраге, а солдатики так халтурно присыплют землицей, что недостреленные смогут дышать и вылезут. Вот мечта-то... Так что, давайте, писану я по щечке и успокоюсь - живите потом самостоятельно, как хочется.

- Не повторяйте острот, Славик. Я уже слышал это от вас.

Накануне Иван Сергеевич скандалил с ним, шумел со страху и нынче, сам не зная почему, вдруг выказал вежливое безразличие. Точно так же он только что вел себя в троллейбусе, зная, что запоздалой бранью ничего не добьется; спокойствие, правда, тоже не помогло. Теперь у него осталась одна лишь отдушина - беседа с врачом.

- Ну что, любезный Иван Сергеевич, не помирились ли вы со своим несчастным брадобреем? - спросил Димурич, когда они уединились в кабинете. - Вот мой добрый совет: убедите его, что вы уже побрились. Пора, мол, сделать компресс или освежиться одеколоном. Право, мне было б жаль, если б вы несколько не успокоили этого больного человека. Для него много значит ваше присутствие.

- В том и беда.

- Я о другом: вы нужны ему...

- В виде трупа, - буркнул Гоголев.

- Эка вы сбиваетесь всякий раз на цыганщину! Уверю вас, сосед совершенно безопасен для окружающих: тотчас после вашего

заявления санитары обыскали его и, вы сами присутствовали, всю палату, но ничего не нашли, никаких ни бритв, ни иголок.

- После чего, вернувшись в палату, он немедленно принялся за свое.

- За неимением выбора здесь большинство, только отвернись, сразу берется за свое, - залился смехом врач.

- В конце концов он изуродует меня, если не хуже.

- Видите ли, кризисные положения чаще и лучше всего разряжаются сами собою. Надо только надеяться на доброту ближнего, на благородство и человечность. Кстати, знаете историю о человечности Владимира Ильича? Примерный в этом смысле был человек.

- Я не собираю анекдотов.

- А напрасно. Но тогда слушайте. Дело было в ссылке, в Шушенском. Сидит себе Ленин на крыльце и бреется. Зеркальце на перилах пристроил, лицо утреннему солнышку подставил. Шел мимо мальчик-подпасок, остановился и глядит на эту идиллическую картину. Ильич покосился на него, но бриться не перестал и говорит так ласково: "Ступай, мальчик, ступай."

Тут доктор выдержал небольшую паузу и энергично завершил:

- А ведь мог бы и резануть!

- Ах, причем здесь это, - всплеснул руками Иван Сергеевич. - У человека жизнь на волоске, а вы шутки шутите. Да и шутка ваша, заметьте, - на ту же тему.

- Но бритвы-то никакой нет.

- Чем же он тогда машет перед самым моим лицом? Она, ко всему, острая, как собака: вчера он задел занавеску, так на ней теперь резаная рана в полметра, ровнехонькая, такую столовым ножом не сделаешь, можете убедиться.

- А кроме Славика вам никто не угрожает?

- Больше вроде бы некому.

- Как же некому? - горячо возразил доктор. - И санитары у нас - ребята молодые, озорники, и, знаете, случается, что посторонние пробираются в больницу - не родные, допустим, не близкие, а непременно старые какие-нибудь враги. Эти, по злобе, где угодно - под землей - достанут.

- Да нет у меня мании преследования, - тяжело вздохнул Иван Сергеевич.

- А я говорю - есть, - упрямо сказал Димулин.

- Жаль, вы глазков в дверях не понаделали. Вот бы всё и

увидели, как в немом кино.

- Но бритвы-то никакой нет.

- А я говорю - есть, - упрямо сказал Гоголев.

- Давайте, я вам таблетки пропишу.

- Надо говорить: пропишу.

- Вы словесник, вам виднее. Задай вы мне сейчас диктант, я бы уж точно схватил двойку. У нас говорили - "пару". Но лекарство и вам не помешает.

- Хорошо, только не заставляйте меня разжевывать всякую горечь, а тем более - не сыпьте порошки насильно. Лучше, как только Славик перережет мне горло, так пусть санитар и покидает таблетки прямо в пищевод, в трубочку, она хорошо будет видна. Иначе зря добро переведете.

- Договорились, - кивнул врач. - Пожалуй, вы правы: только юмор может скрасить здешнее бытие. Хотя вы сами пожелали укрыться у нас и мы принимаем вас как гостя, все ж мы не всеильны, а больница, увы, не отель "Хилтон", особенно в смысле публики. Как, кстати, остальные аборигены - не раздражают вас? Как-никак, сумасшедшие, а? С ними трудно ладить.

- Вы же только что спрашивали нечто подобное. Но я отвечу. Лажу я с ними хорошо - с той натяжкой говорю, что я не разговариваю с ними подолгу. Вы же лучше меня знаете здешний круг общения. На прогулке у нас всегда тихо, всяк пребывает в себе, а вечерами никого не оторвать от телевизора. Но не знаю, как вы относитесь к своим пациентам, а, на мой взгляд, среди них встречаются интересные и достойнейшие люди. При желании с ними всегда найдется, о чем поговорить.

- Давно вы это поняли?

- Людей сразу видно. Вот Славик проявился в один день, я долго не присматривался.

- Как он ведет себя на прогулках? - поинтересовался Димури.

- Прекрасно. Он не сумасшедший, чтобы хулиганить при свидетелях. Но и не любитель покидать палату.

- Надо бы как-нибудь подышать свежим воздухом вместе с вами.

То ли из-за того, что испортилась погода, то ли из-за большой занятости, врач Димури выбрался на прогулку со своими подопечными не сразу; за это время ничего, кроме прибытия нового больного, не произошло в скорбном доме, и только сюжет со Славиком, созрев, готов был вот-вот разрешиться.

Новенький оказался неожиданно мелким сумасшедшим - в глазах Ивана Сергеевича, имевшего о психически больных самое превратное мнение (как, впрочем, и все мы). Знанием о них наш учитель был обязан лишь классическим произведениям да современным анекдотам - потому-то и ожидал попасть здесь в общество Бонапартов. К его удивлению, императоры в доме не кишели, более того - публика подобралась такая же, как и в обычном пансионате; каждый отдыхающий отличался, правда, какими-нибудь странностями, но без этого не обходится нигде, и даже не по себе бывает, если вдруг встретится человек совсем без оных. Вместе с тем любое, самое большое число странностей, собранных в одной личности, не поднимает ее на императорский уровень, и Ивану Сергеевичу не только не попался ни один Наполеон, но и вообще не бросились в глаза случаи самозванства до появления нынешнего новичка, который оказался птицей настолько низкого полета, что не только не замахнулся на корону, но насмешил больных, представившись ответственным съемщиком. "Хотя бы водопроводчиком назвался", - сардонически подумал при знакомстве Иван Сергеевич. На первый взгляд этот съемщик казался вполне здоровым человеком до тех пор, пока при нем не касались хотя бы только окрестностей жилищной темы. Иван Сергеевич решил, что склонность к помешательству была у того наследственной: трудно поверить, что психически нормальные родители способны наречь свое чадо Федей-Петей. Насколько новичок в самом деле был болен, узнать не хватило времени, но только всем имевшим память он запомнился надолго.

Началось с того, что Федя-Петя пришел в гости к Ивану Сергеевичу как раз в тот момент, когда Славiku вздумалось поиграть с бритвой; тот едва успел спрятать руку за спину, когда безо всякого стука явился гость. Спокойных больных запирали только на ночь; дверь же этой палаты и вовсе оставалась открытой круглые сутки, но тут редко кто заглядывал друг к другу; жильцы если и выходили из своих комнат, то лишь к телевизору. Один лишь Федя-Петя сразу стал ходить по всему зданию, по-хозяйски оглядывая каждое помещение, словно проверял, как содержится его собственность. Видимо, только с этим он заглянул и к Гоголеву со Славиком; Иван Сергеевич, правда, приглашал его, когда они сошлись в саду, но сделал это небрежно, по-русски, не назвав ни адреса, ни часа.

- Ты тоже новенький, - уверенно заявил Федя-Петя Славiku; за двое суток они не встретились даже на прогулке. - Надолго?

- На пять.

Федя-Петя присвистнул.

- Где-то я тебя видел, - задумался он. - Не в баре ли “Под колпаком”?

- Мы везде под колпаком.

- Впрочем, мне ли не знать своих жильцов? Здесь и будешь ночевать?

- Где ж еще?

- Это дело поправимое: я скоро налажу обмен жилплощади, - важно пообещал Федя-Петя. - Для начала обменяю свою комнату на две на разных этажах. У меня жилье высшей категории: окна без решеток и расположены низко, так что за вид из окна вполне можно накинуть. Вдобавок - паркет.

- Ты, видно, хороший жулик. Но хоромы твои посмотрю, от этого меня не убудет. Мне-то, собственно, все равно, где жить, лишь бы не разъехаться с этим чайником, - кивнул Славик на Ивана Сергеевича.

- Учтем и это. Ну, по рукам.

Не готовый к рукопожатию, Славик стал поспешно переключать за спиной бритву из одной руки в другую - и, неловкий, уронил ее. Сделав вид, что ничего не произошло, он даже не сразу нагнулся поднять и был ошарашен выговором Федя-Петя:

- Как же ты, не спросясь, открыл на моей жилплощади парикмахерскую? Этак у меня все жильцы разбегутся. Представь, человека спрашивают, где он живет, а он ничего другого выговорить не умеет, кроме как: рядом с цирюльником! А ты посмел... Нет, ты, видно, просто забыл, что без ведома ответственного съемщика запрещено открывать вредные производства. Тройным одеколоном будет нести... Так вот почему ты не хочешь разъезжаться с этим чудачком: ты его тайно брешь!

- Ближе к правде, - усмехнулся Иван Сергеевич.

- Тебя не спросили, - огрызнулся на Федю-Петю Славик. - Иди, играй в свои игрушки, да не заигрывайся; смотри, как бы самого не побили.

- Ходи к таким на огонек, - уже из дверей проговорил недовольный Федя-Петя. - Но я еще выведу кое-кого на чистую воду.

Последнее ему, наверно, не стоило говорить.

Старый больничный сад расположился над рекой, отделенный от нее обрывом и высокой чугунной решеткой. Сквозь

прутья город был виден, как на ладони, особенно в этот предзимний день, когда воздух очистился после дождя. Скучные фигуры в глухо застегнутых пальто бродили между облетевшими деревьями, почти не разговаривая друг с другом; посторонний мог решить, что они заняты серьезным делом - ищут, например, грибы или желуди. Санитар в форменной фуражке и начищенных сапогах и впрямь ворошил скользкие листья резиновой дубинкой. И еще одному человеку пришла в голову мысль о грибах - Ивану Сергеевичу Гоголеву, большому любителю осенних вылазок. Только вряд ли в настоящем лесу его порадовало бы такое скопление народа.

Дикие чащи казались вполне достижимыми во времени и в пространстве: Иван Сергеевич уже твердо решил покинуть убежище и жить дома нормальной жизнью, не вполне представляя себе, как должна выглядеть эта норма для безработного. Собственное положение виделось ему по меньшей мере нелепым: вернуться в школу в течение учебного года было невозможно, лагеря военнопленных его, самое малое, не прельщали, а жить на подаяние он не смог бы, потому что люди Хихона, быстро разобравшись что к чему, вернули бы его в "Голую правду". Посоветоваться было не с кем, никто из знакомых не знал одновременно об обеих его ипостасях, и даже для Вавочки он лишь приподнял штору за уголок; да и не было здесь никакой Вавочки - возможно, она и приходила в больницу к законному супругу, даже определенно приходила, но ни разу не удосужилась заглянуть в отделение, где содержался бывший ее коллега. Если она опасалась скомпрометировать себя посещением мужских палат, то ведь оставался еще и этот сад, где они вместе могли бы искать грибы, пора которых прошла.

Вместо грибов Иван Сергеевич увидел на мокрых листьях ботинки и, сразу не спохватившись, столкнулся с человеком.

- Простите, замечтался, - подняв наконец взгляд, смущенно пробормотал он вальяжному старику.

- Взаимно, - улыбнулся тот. - Обстановка, знаете, располагает: тишина, покой, последнее солнышко пригрело. Теперь, пожалуй, не сыщешь второго такого безмятежного места. Идеально для работы. Жаль, на прогулку не выйдешь с карандашом и бумагой: присесть негде. Но это-то мелочь, а главное то, что тут любая ересь сходит с рук.

- Вы что ж, по собственному желанию здесь отдыхаете? - не без ехидства спросил Иван Сергеевич.

- Увы, сам я вовремя не додумался. Но власти выручили.

- Власти? - с сомнением переспросил Гоголев, на всякий

случай добавляя: - Да здравствует Движение спасителей Отечества!

- Полноте. Как говорят в армии: “Вольно!” Мы же в дурдоме.

- Вот я и веду себя, как сумасшедший.

- Вас зовут, кажется.

И впрямь с террасы старого господского дома, где размещалась регистратура, его окликал Дмитрий Валентинович Димурин.

- Видите, я послушался, - сказал врач, протягивая для пожатия руку. - Все недосуг, а ведь какая благодать в парке.

- Будет еще лучше, когда психи разойдутся по палатам.

- Тот, с кем вы минуту назад беседовали, вовсе не псих, как вы изволили изящно выразиться. Но позвольте мне сохранить свои врачебные тайны, лучше уж вы раскройте свои. Жалуетесь на что-нибудь?

- По-прежнему - только на соседа. Никак не пойму, почему вы не отселите от меня этого уголовника. Эти дни в его обществе стоили мне, наверно, года жизни.

- Возможностей не было, дорогой Иван Сергеевич. Вот убудут от нас трое выздоровевших, и я с удовольствием займусь перемещениями. Тоже, знаете, непростой пасьянс. То есть теперь-то уж все продумано, остается дать команду. Честно говоря, ваше здоровье меня беспокоит, и я сам заинтересован понаблюдать за ним, исключив влияние злосчастного Славика.

- Мне же, признаться, поднадоело у вас. Я думал вовсе уйти от мира, а тут если спорят, то о том же, смотрят те же, что и везде, передачи по телевизору, и к этому добавляется еще сознание полной своей ненужности либо беспомощности.

- Валюша справлялась о вас, - вспомнил Димурин. - Хотела поведать, но я попросил повременить, пока вы так возбуждены этим мифом с бритвами.

- Все больше убеждаюсь, что излишне злоупотребляю вашим гостеприимством.

- Не торопитесь. Поглядите, какая прекрасная погода. Там, за забором, не найдется времени наслаждаться ею. Под ногами, правда, каша, но ведь высохнет скоро. Давайте вернемся к этому разговору через недельку. Подумайте как следует. А сейчас погуляйте немного сами, а я с больными поговорю.

Едва доктор оставил его, к Ивану Сергеевичу подошел дожидавшийся в сторонке Федя-Петя.

- Смотрите, какой вид из окна, - сказал юноша, обводя рукой вокруг. - Вы не представляете, как высоко это ценится при обмене.

- Как, довольны своим домом? - вежливо полюбопытствовал Иван Сергеевич.

Тот горячо ответил, пристраиваясь идти рядом:

- Очень, очень. Только бы еще кресло-качалку раздобыть.

- Разве в городе хуже нынче жить?

- Которые нищие - живут неплохо, а остальные нищают. С жильем и вовсе беда.

- Все комнату сдаешь? - раздался за их спинами простуженный голос.

Вздвогнув, Иван Сергеевич обернулся к Славiku.

- Даже и вы не усидели в помещении, - сказал он после паузы.

- Брил бы уж в своем углу, - подхватил Федя-Петя. - Теперь волосы разлетятся по всему саду.

- Нельзя, чтобы люди ходили заросшими, - включился в его игру Славик. - Я делаю их красивыми.

- По какому же праву? - заволновался Федя-Петя. - Ты только их уродуешь. Да еще в моем доме! Отберите у него бритву!

Иван Сергеевич увидел, как насторожился, услышав последнее слово, уже порядочно отошедший врач.

- Что ж ты голосом определяешь! - с непонятным отчаянием воскликнул Славик.

- Оставьте, Славик, - мягко сказал Иван Сергеевич. - Дело-то простое - потом как-нибудь постепенно договоритесь.

- Журавли, что ли? - спросил Федя-Петя, вглядываясь, запрокинув голову, в чистое небо. - Не поздно ль для них?

Никто больше не успел посмотреть вверх, так и не узнав, вправду ли там летели птицы, потому что в ту же секунду, как Федя-Петя открыл свою голую журавлиную шею, Славик, широко размахнувшись, сладострастно ударил по ней лезвием.

- Бритва! - завопил Иван Сергеевич, боясь, что его не услышат за хрипом несчастного юноши.

- Бритва? - изумился врач Дмитрий Валентинович, срываясь с места.

- Ах! - выдохнул санитар, с разбега обрушивая свою дубинку.

И заголосили сумасшедшие, бросаясь врассыпную: кто - в корпус, кто - на деревья, кто безуспешно - на прутья ограды.

Дальнейшие паника, суета и неразбериха были естественны для такого происшествия, и если Иван Сергеевич забыл кое-какие подробности этого дня, то при желании мог бы безошибочно восстановить их силою не памяти, но воображения. Он четко помнил

только то, что в первый момент не испытал ни страха, ни ярости и сумел даже - запоздало - схватить Славика за руку; бороться им было бы смешно из-за неравенства сил, но цепкости Ивана Сергеевича хватило все же до вмешательства санитаров. Потом он ушел, стараясь не смотреть на поверженных Федю-Петю и Славика, и, забившись в угол в своей палате, долго плакал, не тревожимый никем.

Дмитрий Валентинович пришел к нему лишь после дежурства, когда мог бы уже наслаждаться домашним уютом в обществе любимой жены. Более других виноватый, оттого что не поверил своему гостю и даже привычно поставил соразмерный мнимым фантазиям того диагноз, он не знал, как обойтись с Иваном Сергеевичем, и, не раздумывая, согласился, едва тот заговорил о выписке.

Так и получилось, что ясным холодным утром перед Иваном Сергеевичем раскрылись ворота психиатрической лечебницы - и он вышел в мир, от которого успел отвыкнуть.

Встречные люди думали чуждые ему мысли, спеша по делам, не имеющим отношения к быту последнего его пристанища, и он смотрел на них, как турист в экзотической стране смотрит на голых аборигенов. Всё выглядело странно, все было ему внове в городе, и ощущение нереальности не покидало Ивана Сергеевича до тех пор, пока он, выйдя почему-то на Ритуальную площадь, что было ему вовсе не по пути, не увидел, как на крыше правительственного здания рабочие устанавливают огромные желтые буквы не читанной еще надписи:

- Наши нищие - самые нищие в мире!

О новых книгах

М.Кравцова

Личное о "Личном" Евгении Волковой

Порой особую ценность книги осознаешь не только во время чтения, но и в момент, когда с ней нужно расставаться. И если появляется настойчивое желание удержать ее у себя, значит есть необходимость возвращаться в тем или иным главам, строчкам, словам. Именно это произошло со мной, когда я прочитала "Личное" Евгении Волковой. Название говорит само за себя. Для меня за словом *личное* стоит что-то заповедное, сакральное, не допускающее фальши и наигранности. В книге вроде бы нет сюжета, потока событий, удерживающих внимание читателя. Но... есть сокровенное.

"Монолог в виде диалога" - так, может быть, парадоксально, я определила бы форму повествования.

Писательница не просто размышляет. Ее рассуждения, внутренние диалоги невольно вовлекают и читателя в этот необычный разговор. Необычный потому, что он ведется одновременно и с автором, и с самим собой.

Волкова очень осторожно приоткрывает дверь в долгий лабиринт... лабиринт - ибо в ее мыслях о Боге, о человеческих отношениях, страданиях и радостях жизни нет ничего однозначного, прямолинейного. Невольно включаешься в беседу с самим собой.

А я? Что думаю я о святых мучениках, об употреблении слов вне их подлинного смысла, о блаженных минутах, о похвале и о тех случаях, когда она звучит как обвинение? Конечно, и до знакомства с Волковой я знала про словесную фальшь, но так глубоко проанализировать ее сумела лишь с помощью автора "Личного".

Размышления и откровения человека совестливого, интеллигентного и интеллектуального дают толчок развитию собственных взглядов, пусть и отличных в чем-то от мнений и принципов автора-собеседника и невольного оппонента.

"Личное" Евгении Волковой достраивает мое собственное.

Леонид Зац

ВРЕМЯ...

(отрывки из книги)

Время - одна из самых таинственных сущностей нашего мира. Его свойства интересны всем, от физиков до поэтов. Без учёта времени нельзя организовать быт, поставить научный эксперимент, составить план каких-либо действий.

В каком-то смысле время подобно электричеству: многие его свойства хорошо известны, но никто не знает, что это такое. Согласно одной гипотезе время - это особый вид энергии, действие которой наиболее наглядно проявляется во вращающихся системах.

Ключ к познанию времени дал Альберт Эйнштейн своей теорией относительности, но там речь идёт о больших скоростях движения, соизмеримых со скоростью света. А в обычной жизни мы всё-таки подспудно пользуемся ньютоновой моделью мира, предполагающей наличие значительных масс и малых скоростей.

Философы давно сформулировали, что одно из главных свойств времени - его необратимость. Мы также знаем, что час равен часу, а год - году. Вот только в детстве и юности часы и особенно годы ужасно длинные, а, чем старше ты становишься, тем короче становятся годы, тем быстрее они пролетают, а в какой-то момент начинают просто-таки мелькать с пугающей быстротой.

Вот незаметно промелькнул ещё один год, год с того момента, как я начал писать эту книгу. Но “промелькнул” он для меня, а ты за этот год стал старше более, чем вдвое.

Летом мама привозила тебя в Москву, и ты несколько месяцев жил на даче, где активно общался со всякой живностью, начиная от кур, и кончая собаками и козами. Ты сильно вырос, повзрослел, у тебя теперь полный рот зубов. Недавно тебя постригли наголо, и теперь на твоей красивой головёшке начал отрастать

смешной “ёжик” жёстких волос. Твои первые волосы, которые состригли, были мягкие и совершенно светлые, с каким-то необыкновенным платиновым отливом, а сейчас появились более тёмные и, как мне кажется, они продолжают темнеть. Прядь твоих первых волос бабушка Женя теперь носит в медальоне.

Как-то вечером ты оказался у телевизора во время передачи “Спокойной ночи, малыши”. Показывали кусочки из мультсериала “Ну, погоди!”. Надо было видеть, как внимательно ты смотрел и как активно переживал за Зайца! Одного взгляда на тебя в это время было достаточно, чтобы понять, что с интеллектом у этого ребёнка всё в порядке.

А под самый Новый год, 28 декабря, ты с мамой снова улетел в Милан, где папа вас совсем заждался.

По прибытии в Милан ты, насколько мне известно, стал вести светскую жизнь. Каждый вечер либо ты в гостях, либо у тебя гости. А на днях ты был на симфоническом концерте (кстати, правильно надо говорить “в симфоническом концерте”), где на тебя сильное впечатление произвела музыка Дворжака. Как мне рассказал по телефону папа, сначала ты слушал очень внимательно, но, когда вступили литавры, ты буквально пришёл в экстаз и требовал продолжения, когда они умолкли. И папе пришлось срочно вместе с тобой удалиться из зала.

Когда я начинал писать эту книгу, я думал, что она получится страниц на триста, и напишу я её за несколько месяцев. Но вот прошёл год, а я написал всего сорок страниц. При таких темпах мне хватит работы лет на шесть-семь. Плохо это или хорошо? Я думаю, не очень плохо. Во-первых, потому что за это время ты подрастёшь и скоро сможешь начать её читать. А, во-вторых, ... Во-вторых, существует наблюдение: стоит опубликовать книгу воспоминаний, и автор умирает. Последний пример тому - замечательный писатель Юрий Маркович Нагибин. Он умер буквально через несколько дней после выхода в печати его дневников. Может быть, это суеверие - одна из главных причин того, что книги воспоминаний обычно авторы завещают опубликовать после их смерти. У меня, правда, есть лазейка, и заключается она в том, что моя книга, как я уже сказал в самом начале, не предназначена для печати. Я пишу её только для тебя.

А время бежит и бежит, всё ускоряя и ускоряя свой бег. С возрастом это чувствуешь и без эйнштейновых премудростей.

Когда-то, ещё во времена Лермонтова, в среде студентов Московского университета была популярна песенка:

Коперник весь свой век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье.
Дурак, он лучше бы напился -
Тогда бы не было сомненья.

* * *

Когда говорить не о чём, говорят о погоде. Кроме того есть ещё несколько традиционных тем для пустословия, одна из них о вере в чудеса.

Воспитание - в широком смысле этого слова - и содержание образования моего поколения в СССР, казалось бы, однозначно должны были подвести меня к отрицательному ответу на вопрос "Верите ли Вы в чудеса?" Именно так - отрицательно - я и отвечал в тех редких случаях, когда мне его задавали. Но с возрастом становисься, всё-таки менее категоричным. Сейчас на этот вопрос я бы ответил так: если под чудом понимать осуществление события, вероятность которого ничтожно мала, то верю. Более того, в моей жизни такое не раз случалось. Иногда, правда, я узнавал об этом только задним числом.

Например, вчера, 13 января, исполнилось сорок пять лет со дня позорнейшей, трагической акции советской власти, так называемого дела врачей, когда цвет отечественной медицины, выдающиеся врачи-евреи были обвинены в антигосударственном заговоре. Причём это должно было стать лишь прелюдией к массовой депортации двух миллионов евреев в восточные районы страны, мало пригодные для жизни. Депортация была назначена на 10 апреля 1953 года. Но 5 марта умер Сталин. Врачи были реабилитированы. Депортация не состоялась. Разве это не чудо?!

А самое первое чудо в моей жизни случилось в эвакуации. Когда мама со мной оказалась в Самарканде, она там встретила всех своих родственников и главное - свою маму, мою бабушку Фаню, с которыми с начала войны никакой связи не было.

Все они эвакуировались из Одессы одним из последних пароходов, если я не ошибаюсь, в Новороссийск. Во время этого морского перехода был немецкий авианалёт, в результате которого часть транспортов с беженцами была потоплена.

Я до сих пор помню, как останавливались глаза бабушки Фани и её сестёр при воспоминаниях об этом кошмаре, свидетелями и возможными жертвами которого они были.

Из Новороссийска они также совершенно случайно оказались в Самарканде, где мы и встретились.

Для моей мамы и меня это имело одно последствие - жизнь, потому что одни мы бы там вряд ли выжили.

* * *

Папа был тяжело ранен и попал в госпиталь в Сибирь. К сожалению, я точно не помню, какой именно город это был, Омск или Томск. Будучи в госпитале, он не знал, где мы, что с нами. Маме удалось по переписке выяснить, где он находится. Потом была целая эпопея по переводу его из сибирского госпиталя в Самарканд. В результате удалось спасти ему не только жизнь, но и ногу, которую собирались ампутировать. Правда, для этого ему потребовалось сделать двенадцать операций.

* * *

Когда папа пошёл на поправку, но ещё не мог вставать, мама, идя к нему в госпиталь, стала брать с собой и меня. Это бывало по выходным, мы приходили днём. Внутри никого не пускали, но папина палата была на первом этаже, и меня передавали через окно. Ждал меня не только папа, но и все, кто находился с ним в одной палате, человек двадцать. Папа был единственный, у кого там была семья и к кому вообще приходили, тем более с маленьким ребёнком. Все со мной играли, разговаривали, наверняка думая о своих детях.

Однажды, когда я был в палате, развозили обед. Папе как лежачему тоже подвезли. Помню, там была аппетитная яичница-глазунья. Папа предложил её мне. Мне очень хотелось, но я стал ему объяснять: “Нет, папа, это тебе, ты должен поправиться, а мне привезут ещё”. Всем окружающим это очень понравилось, и они потом долго вспоминали мою фразу “мне привезут ещё”. Думаю, здесь было не только умиление моей детской рассудительностью, но и изрядная доля грустной иронии: кормили-то очень скудно.

* * *

В Самарканд приехал мамин брат Фима. Он был моложе мамы на несколько лет и, как я понимаю, сбежал на фронт мальчишкой. Был контужен, в результате чего перестал слышать одним ухом, и его демобилизовали. Фима был очень красив и, как показала дальнейшая жизнь, незаурядно умён. В Самарканде у него появилась девушка Люба, которую все уже считали его невестой. Иногда, идя к Любе, Фима брал с собой и меня. Я любил эти походы,

потому что Люба была очень приветливая, весёлая, всегда играла со мной и обязательно чем-нибудь угощала.

Однажды мы с мамой пришли к папе в госпиталь. Меня, как обычно передали через окно в палату, где раненые стали расспрашивать о последних новостях. Я сделал подробное сообщение примерно такого содержания: наши войска взяли три населённых пункта, и баба в очереди взяла булки - для меня это были события одного ряда. Оценив по достоинству мой рассказ, меня спросили, что ещё хорошего произошло. Я сказал, что мы с Фимой были в гостях у Любы. Фиму все знали, он часто туда заходил. Разумеется, упоминание о Любе вызвало у солдат-фронтовиков повышенный интерес. Меня стали осторожно расспрашивать, что мы там делали. Я с удовольствием рассказал: “Сначала мы пили чай, а потом Фима обнимал и целовал Любу”. Можешь себе представить, каким дружным смехом встретили Фиму, когда мы вместе с ним пришли в госпиталь в следующий раз.

* * *

Муж бабушкиной сестры Поли, работал на предприятии, где шили тулупы для красноармейцев. Он занимал там какую-то административную должность. Однажды, незадолго перед нашим отъездом в Москву у него дома по случаю какого-то праздника (кажется, это была годовщина Октябрьской революции) собрались его сослуживцы. Были там и мы с мамой. Я оказался в центре внимания, поскольку весь вечер развлекал гостей стихами и песнями. В конце вечера к маме подошёл один из гостей и, протягивая ей клочок бумаги, попросил придти на следующий день со мной по указанному на нём адресу. Он был так настойчив, что мама была вынуждена согласиться.

Когда мы пришли, нас встретил наш новый знакомый. Он попросил маму подождать, а меня повёл с собой. В комнате, в которую он меня привёл, с меня сняли мерку, и мы вернулись к маме. Он назвал день и час, когда мы должны придти снова, по-прежнему ничего не объясняя.

Когда мы пришли в назначенный день, нам вынесли сшитый точно на меня тулупчик из овчины, такие теперь называют дублёнками. Мама была в полном смущении и замешательстве. Хотя тулупчик был сшит из клочков, явных отходов производства, но стоит он должен был очень дорого. Мама стала объяснять, что у неё нет таких денег, на что ей торжественно и твёрдо было заявлено, что никаких денег и не надо, это благодарность за моё выступление.

Так я получил свой первый гонорар. Мне было три с половиной года.

А тулупчик меня очень сильно выручил во время пути из Самарканда в Москву и в первую зиму в Москве.

* * *

Когда мне было пять лет, папа купил мне педальную машину. Купил он её на рынке, и была она явно самодельной, но разве в этом дело? Машина

тёмно-красного цвета с рулём и “бибикалкой” в виде груши - по тем временам это была неслыханная роскошь. Наверно, даже настоящий автомобиль вряд ли мог тогда произвести большее впечатление, чем эта педальная машина. Одна беда - кататься на ней было негде. Ни по двору, ни даже по переулку ездить на ней было невозможно: асфальта нигде не было, а уходить далеко от дома, туда, где был асфальт, папе было тяжело. Ведь он передвигался на костылях. За всё лето я всего несколько раз покатался на машине, в том числе, один раз в Сокольниках, куда мы пришли с папой и мамой.

Сказать, что я был рад машине, - ничего не сказать. Я был в неописуемом восторге. Но запомнился мне не этот восторг, а нечто совсем другое.

Запомнилась та всеобщая, неистовая зависть, которую совершенно естественно вызвала машина во дворе и вызывала на улице, когда я на ней выезжал. Мне и хотелось на ней кататься, и в то же время я был как бы под бременем вины из-за того, что у меня есть эта машина, а у других - нет, причём бремя это было настолько сильным, что, казалось вот-вот раздавит меня. Помню, как я, сидя в машине, боялся поднять глаза, чтобы не встретиться с завистливыми взглядами ребят. (Но вот что любопытно: я что-то не могу припомнить, чтобы

кто-нибудь ещё из ребят комплексовал вроде меня, когда у них появлялись, например, велосипеды или другие шикарные вещи. Впрочем, это, как говорится, так, информация к размышлению.)

А в Сокольниках случилось вот что. Папа с мамой сели на скамейку, а я стал кататься вокруг клумбы. В какой-то момент я решил проехать по большому кругу и потерял родителей из вида. Стояли сумерки, народу было много, а родителей я не видел. Это продолжалось несколько минут, но я до сих пор помню ужас, который меня охватил.

Я сейчас подумал вот о чём. В отличие от большинства моих знакомых я никогда не хотел иметь автомобиль. Может быть, если вспомнить Фрейда, причина в той самой педальной машине.

А кончилась эпопея с педальной машиной довольно грустно. На зиму её поставили в сарай. Как-то уже в конце зимы, когда очередной раз пошли в сарай, чтобы набрать угля, увидели, что крыша проломлена, а машины нет, её украли. Потом даже говорили, кто из соседей это сделал.

Один из древних греческих философов предсказал себе довольно нео-бычную смерть. Он сказал, что умрёт оттого, что пролетающий орёл бросит ему на голову черепаху. Поразительно, но именно при таких обстоятельствах он и умер (надо полагать, если бы этого не случилось, то вряд ли кто-нибудь вспомнил о его предсказании). А фокус заключался вот в чём. Проводя много времени в размышлениях на берегу моря, он не раз наблюдал, как орлы, схватив черепах, бросают их о скалы, чтобы разбить панцирь. А так как он был лысым, то не без основания предположил, что когда-нибудь какой-нибудь орёл сможет принять его блестящий череп за камень, что и случилось. Этот пример любители приводить авторы учебников философии в качестве иллюстрации к постулату о том, что случайность есть проявление необходимости.

Я думаю, вполне закономерно, что моя педальная машина, предмет всеобщей зависти, не могла сохраниться в сарае без присмотра.

А, впрочем, не стоит обобщать, а тем более - подмазываться к великим.

* * *

Напротив наших окон была высокая, с двухэтажный дом, земляная гора. Утром, когда открывали ставни, гора эта была единственным, что было видно из окон. Из-за неё же в комнате даже днём было темно.

Но однажды я проснулся и не мог понять, что произошло. В комнате было необычно светло. Я посмотрел в окно, и удивление моё превратилось в изумление: горы не было. Её срыли за одну ночь. В течение следующих нес-кольких дней место, где стояла гора, огородили забором, а вскоре сюда под конвоем привезли пленных немцев.

Помню, какую это вызвало реакцию. Война только-только кончилась. Не было практически ни одной семьи, которую бы она не затронула. И вдруг живые немцы. Вот они, рядом.

Призыв "Смерть фашистским оккупантам!", ставший за годы войны таким привычным и таким естественным, казалось, был готов найти совершенно конкретный отклик. Даже мы со Славиком, самые маленькие и самые смиренные во дворе, заготовили изрядное

количество камней, чтобы бросать в немцев, убивших его папу и ранивших моего.

Однако агрессия как-то незаметно уступила место любопытству. Все обступили забор и стали рассматривать немцев, как зверей в зоопарке. Ко всеобщему удивлению, а, возможно, и разочарованию, немцы оказались какие-то совсем не страшные, не воинственные. Все они были маленького роста, какие-то растерянные, на лицах многих из них блуждали извиняющиеся улыбки. Их привезли, чтобы строить дом. И они его строили, добросовестно и качественно, по-немецки. Через какое-то время мы уже многих из них знали по имени и подкармливали кто чем мог, в основном, - хлебом. Конвоиры смотрели на это сквозь пальцы.

А дома, подобные тому, что построили в нашем переулке немцы, можно увидеть в разных местах Москвы. Невысокие, три - пять этажей, кирпичные, штукатуренные, с легко угадываемыми элементами готики по фасадам, они, наверняка, о многом напоминают москвичам моего и более старших поколений.

* * *

Рядом с домом, который построили немцы, стоял дом, который был ещё хуже нашего. И его, к зависти жильцов всех окружающих домов, “поставили на капитальный ремонт”, а говоря проще, - снесли и на этом же месте стали строить новый. Но строили, увы, не немцы. Дом поставили деревянный, снаружи штукатуренный, в два этажа. Над вторым этажом возвышалось ещё нечто, которое я даже затрудняюсь определить, мансарды - не мансарды, а так, какие-то скворечники. Заселили в этот дом тех же людей, что жили в старом, снесённом. Вот только стройка эта продолжалась более четырёх лет, и люди, ожидавшие её окончания, жили здесь же, в своих сараях, жили на земляных полах с детьми и больными стариками. А зимы тогда стояли суровые. Как правило, два - три месяца держались морозы 20-25 градусов. О том же, чтобы снять на время какое-то жильё (как тогда говорили, “угол”), не могло быть и речи: у людей просто не было на это денег.

* * *

За нашими сараями был поросший травой пустырь, спускавшийся довольно-таки крутым косогором к железной дороге. Этот пустырь был излюбленным местом наших игр. Любили туда заходить и

взрослые. Наша соседка по квартире тётя Марфуша научила меня различать росшие там травы. Так я узнал лебеду, подорожник, одуванчик, клевер, конский щавель, крапиву, незабудки, ромашки. Но однажды там произошёл случай, который до сих пор я не могу назвать иначе, как страшный.

Как я уже сказал, пустырь спускался к железной дороге крутым косогором. Между железнодорожной насыпью и косогором проходила так называемая дренажная канава, представляющая собой неглубокий канал прямоугольного сечения, в котором всегда есть вода.

Дренажная канава была той чертой, к которой нам, детям, было категорически запрещено приближаться. Максимумом дозволенного была верхняя кромка косогора.

Но, разумеется, мы этих запретов не придерживались, и одним из любимых занятий у нас было перепрыгивать через дренажную канаву, конечно, когда поблизости нет взрослых. Правда, надо отдать должное, по ближайшему к канаве пути поезда проходили очень редко (а вообще путей в этом месте было довольно много, как, впрочем, и сейчас).

И вот однажды мы со Славиком, подойдя к кромке косогора, не узнали его. Вместо поросшего травой естественного склона была правильно спланированная песчаная плоскость, спускавшаяся к дренажной канаве. Песок был очень ровный и рыхлый.

Мы, конечно, немедленно съехали по этому песку, как суворовские

чудо-богатыри по склонам Альп, и оказались на краю канавы. Не успев насладиться новой забавой, мы вдруг услышали страшный рёв и грохот. Посмотрев по направлению, откуда это всё доносилось, мы оба обомлели от ужаса. По первой колее шёл паровоз с планировщиком, представляющим собой огромный, укрепленный на паровозе сбоку металлический щит, который, собственно говоря, и формировал откос, а заодно - чистил дренажную канаву.

Очевидно, машинист заметил нас в последний момент. Я до сих пор помню, как он в ужасе по пояс высунулся из кабины.

Оцепенение наше длилось какое-то мгновение. Мы оба немедленно стали карабкаться вверх по склону. И раньше это не составило бы для нас особого труда, мы это проделывали многократно. Но теперь склон состоял из рыхлого песка, который предательски осыпался под ногами. Нам надо было преодолеть всего несколько метров, и мы ползли на четвереньках. А в запасе у нас были секунды.

Наконец, мне удалось нащупать какую-то травинку. До сих

пор помню, как я с ней разговаривал: “Травочка, миленькая, не обрывайся”. И она не оборвалась. В это же время Славику тоже удалось как-то закрепиться, и в последний момент я его поддержал.

Потом я бы не удивился, если бы узнал, что машинист в этот момент поседел.

Было мне тогда пять лет, Славику, соответственно, - четыре года.

(В среде специалистов, занимающихся разработкой и эксплуатацией различных технических устройств, существует поговорка о том, что все инструкции по технике безопасности написаны кровью. К сожалению, слишком часто это именно так и есть.)

Второй раз в жизни я пережил нечто подобное несколько лет тому назад. Решался вопрос о том, нужна ли бабушке довольно сложная операция. Она была в кабинете у врача, а я сидел в коридоре и впервые в жизни искренне молил Бога. Не знаю, есть ли Бог, но Он услышал.

* * *

Как-то у нас в гостях были Козаковы. Тётя Катя что-то рассказывала, понизив голос. Обычно она разговаривала довольно громко и не без апломба, а на этот раз говорила тихо, какими-то намёками, иногда кося глазами в мою сторону. Из всего её рассказа я понял только то, что речь идёт о какой-то родственнице, и ещё я тогда впервые услышал поразившее меня слово “самоубийство”. Смысл этого слова, разумеется, не во всей его трагической глубине мне сразу стал понятен. Помню, в моём сознании он тогда ассоциировался с некоей торжественностью. Может быть, поэтому рассказ тёти Кати мне запомнился, но не содержательной стороной, а, так сказать, антуражем. А через много лет, когда я снова услышал эту историю, я сразу вспомнил тётю Катю, ее приглушённый голос и тревожные взгляды.

Речь шла о сестре дяди Абраши Берте Михайловне Рейнгалд. Она была пианисткой, профессором одесской консерватории, была обласкана властями, что подтверждалось её наградами и депутатством. Очевидно, она была совершенно незаурядным педагогом, во всяком случае, один из её учеников Эмиль Григорьевич Гилельс, уже будучи всемирно признанным корифеем, говорил, что Берта Михайловна была его “основным учителем, Учителем с большой буквы”. А ведь он учился и у Г.Г. Нейгауза, и у К.Н. Игумнова, и у С.Е. Фейнберга.

У Берты Михайловны в Одессе была прекрасная квартира, а в квартире стоял очень ценный рояль.

Во время войны Берта Михайловна была вынуждена экстренно эвакуироваться. В квартире осталось всё, вплоть до фотографий на стенах.

Надо тебе сказать, что одной из немногих стран, воевавших на стороне Германии, была Румыния. И в Одессе во время оккупации были, в основном, румыны.

В квартире Берты Михайловны поселился румынский офицер. Очевидно, это был культурный человек, поскольку сохранил квартиру и всё её содержимое в безупречном состоянии.

После войны, когда Берта Михайловна вернулась в Одессу, в её квартире уже жил какой-то НКВДшник. Когда она стала хлопотать о возвращении квартиры, ей дали понять, что это пустая затея. Тогда она попросила вернуть ей хотя бы рояль, на что ей было заявлено, пусть скажет спасибо, что до сих пор не поинтересовались, как это могло получиться, что живший в квартире фашистский офицер оставил нетронутыми развешенные по стенам фотографии евреев. И вообще в истории с сохранностью её квартиры много подозрительного, уж не сотрудничала ли она с оккупантами?

После двух - трёх таких разговоров Берта Михайловна выбросилась из окна.

* * *

Рядом с нашим крыльцом было крыльцо, ведущее на второй этаж. Обычно летом по вечерам там устраивали посиделки. Сидели на крыльцах и на вынесенных стульях, лузгали семечки, обменивались новостями. Телевидение ещё не вошло в быт, поэтому вечерний досуг заполняли кто как мог, сообразно своим “интеллектуальным и культурным запросам”. Помню, однажды во время такого традиционного безобидного трёпа все взрослые вдруг одновременно застыли, как во время детской игры по команде “замри”. Лица у всех вытянулись. А произошло вот что. Из работавших в квартирах репродукторов донёсся характерный звук позывных Всесоюзного радио, которые передавали только перед важнейшими правительственными сообщениями. Оказалось, умер Калинин, бывший номинальным главой государства (по-советски это называлось председатель президиума Верховного совета). Раздался общий вздох облегчения. Как потом признавались друг другу, все подумали об одном и том же: снова война.

Шел 1946-ой год.



Грета Ионкис

ЛИНДА

*Светлой памяти Ривы Иоффе
и Алисы Риве - моих бабушек*

Задумавшись над определением жанра - и в самом деле, что это я пишу: повесть, воспоминания, заметки? - неожиданно для себя самой вышла на плач, древний фольклорный жанр. "При реках вавилонских, там сидели мы и плакали". Библейский стих, псалом. Это плач Израиля. И безымянный автор "Слова о полку Игореве" широко и свободно использовал плач. Разумеется, с тех пор жанр трансформировался. Жалобы сердца сегодня изливаются иначе.

Не сразу решила я на плач. Одно дело Ярославна голосит на высоких стенах Путивля. Тут тебе и героика, тут и высокая лирика. Другое дело - бабушка плачет по любимой внучке, с которой её разлучили. Смущало несоответствие высокого жанра и будничного материала. Как бы не постиг меня конфуз гофмановского кота Мурра, чердачно-кошачья тема которого оказалась несоместима с законами трагедии и поэмы. Сказать по правде, "Бабушкины сказки" куда уместнее, нежели "Бабушкин плач". Всё понимаю, но сердце плачет, как небо над Кельном. Кому повею печаль мою?..

У меня зазвонил телефон.

- Кто говорит?

- Слон.

Оранжевый плюшевый слон с развесистыми белыми ушами, подаренный моему сыну на четырнадцатилетие одноклассницами (эдакое шутовское воплощение прозвища "Три Слона", которое в школьные годы получили за свой рост Роберт и два его неразлей-

водой друга), спустя семь лет стал любимой игрушкой его дочери. Линда засыпала в обнимку со Слоней, Слоня сопровождал нас во время прогулок, и, когда встал вопрос о переселении в Германию, ей твёрдо пообещали Слоню с собою взять непременно. Бабушка берёт свои книги, а Линда - Слоню. Без них - никуда. Но судьба распорядилась иначе: в последний момент, имея уже на руках визу, мама Линды отказалась ехать, Линда и Слоня должны были остаться... Тут жизнь и сломалась. Изменить ничего невозможно, мы разлучены, но в моей власти возвращаться в прошлое и проживать его заново, что я и делаю.

У меня и впрямь зазвонил телефон. Было это ранним солнечным утром 28 августа 1990-го. Трубка подышала, посопела, а затем решительно распорядилась: "Грета, приходи на рождение! И подарок!"

Звонила внучка. Она звала меня по имени. Так у нас повелось. Роберт тоже звал мою маму Симой. Ровно два года назад, ночью, мой двадцатилетний сын разбудил нас и в смятении объявил, что "началось". Спустя 10 минут муж и сын мчали виновницу переполоха в роддом, а через неделю тем же "Запорожцем" доставили её с новорожденной в их однокомнатную квартиру, на шестнадцатый этаж двадцатизэтажной бетонной "свечки". С этой поры, собственно, и началась их совместная самостоятельная жизнь. Вчерашние одноклассники, нынешние студенты, они смело пустились в плаванье по волнам семейной жизни, не очень-то задумываясь над ответственностью, которую на себя приняли. Бремя цепей Гименея не казалось им тяжким, поскольку его, как у нас повелось, приняли на себя и родители молодоженов.

Если лифт будет работать, то мы сегодня поздравим семейство. Впрочем, торжество состоится даже в случае неисправности лифта. Просто придется долго карабкаться, чтобы попасть в "курятник", как называет мой сын их семейное гнездо. Линда включит это слово в свой лексикон и по аналогии образует свое - "петухатник", но до "петухатника" ещё нужно дожить, а пока что человечку исполнилось два года.

Подарки давно припасены. Знаю, что ни костюмчик, ни московские туфельки её не заинтересуют. Сладости тоже не в счёт. А потому приготовлены куда более "ценные" вещи: зелёное пластмассовое ведёрко с лопаткой, грабельки и формочки для песка, книжка сказок в твёрдой глянцевой обложке с яркими картинками и лоскут блестящего черного меха "под котик". Пожалуйста, не удивляйтесь кусочку меха! У детей своя шкала ценностей.

Вспомните своё детство или, на худой конец, историю Тома Сойера! За право покрасить забор Том собрал с мальчишек великую дань. Там была бездна полезных, с детской точки зрения, вещей, среди которых меня особенно умилила дохлая крыса на веревочке и отполированный осколок тёмного стекла, через который можно было смотреть на солнце. А вы удивляетесь кусочку меха! Да он просто бесценен, в чём вы сможете сами убедиться.

Предвкушаю, как обрадуется Линда ведёрку, как помчится его всем демонстрировать: “Зёга-зёга!” Начавшая ходить и говорить рано, до года, она чётко и в основном правильно произносит слова, но её детское словечко “зёга-зёга” (ведёрко) ещё на год-полтора задержится в её словаре.

Линда растёт среди книг и сызмальства любит их рассматривать. Она не порвала ни одной. Книжка её тоже порадует. Уже год назад она с нетерпением поджидала деда с работы и, выразив свой восторг при его появлении, т.е. повалявшись на полу в прихожей, припадая к его ногам, волокла табуреточку, сколоченную и расписанную им для неё, бежала за книжкой или журналом - всё бегом! - и командовала: “Дида, сэй, акой и читай! Нет, ты встай и мами очки! Я сяю.”

Меня до сих пор поражает способность крохи отчётливо выговаривать такие сложные по звучанию слова как “часы”, “стульчик”, “очки”, “тапки”, а между тем она их произнесла в числе первых. Ей было меньше года, когда её впервые отвели к няне. Чета пожилых евреев уже вырастила своих внуков и нуждалась в приработке, чтобы тех же внуков, уже школьников, чем-то баловать. Там Линдой занималась не столько баба Миля, сколько дед Айзик. Его сердце она завоевала в первый же день, когда при виде своего отца, вышедшего на балкон перекурить, громко вскричала, всплеснув руками: “Папа куит! Папа куит!”

- Что вы знаете за свою внучку?! Вы не знаете цены этому ребёнку, - приговаривает старый “нянь”. - У этой девочки природный ум. Это же светлое дитя!

Я с ним всецело согласна. Может быть, с возрастом мы станем более наблюдательными и замечаем в своих внуках то, что в детях просмотрели, обделив в первую очередь самих себя. Я не уставала втайне восхищаться Линдой и ловила новые её словечки и выражения, иногда записывала их. По сей день хранятся у меня открытки, на которых зафиксированы её “перлы”, разумеется, с указанием дат. Таких открыток у меня семь. Ей было шесть лет, когда мы расстались.

Она не раз удивляла своим особым видением и нестандартным пониманием окружающего. Мы часто ездили с ней на нашем "Запорожце" (дети, родители невестки и няня жили на другом конце города, и наша "антилопа-гну" нас здорово выручала). Линда называла этого "пожирателя дорог" "Голубенький", имея в виду его цвет, а не сексуальную ориентацию. Высшим счастьем для неё было порулить и поклаксонить перед тем, как мы отправлялись в путь. "Деда, я буду нажимать!" - в нетерпении рвалась она к рулю. А затем мы устраивались с ней на заднем сиденьи, причём первые минуты она предпочитала ехать стоя. Каждый раз, когда мы достигали перекрёстка Лазо и улицы Искры, что от нас в двух кварталах, она кричала: "Гыба! Гыба!" - и затем устраивалась у меня на коленях. Мы долго не могли понять, что означают её выкрики, пока я не догадалась: дорожный знак - белая стрела на голубом фоне - указатель одностороннего движения был в её глазах рыбой. Увидеть силуэт рыбы в столь лаконичной форме стрелы дано, очевидно, не каждому. Я прониклась к Линде уважением. Мне тут же захотелось учить её рисованию. В своих мечтах я уже видела её художницей.

Когда-то ещё в девичестве, сидя в консерватории или концертном зале им. Чайковского, я представляла своего будущего сына (в том, что я когда-нибудь рожу сына, сомнений у меня не было) непременно дирижёром. Мои дерзкие мечты были наказаны: Роберту медведь на ухо наступил. Боюсь, что и со способностями внучки к рисованию вышла осечка, хотя в роду примеры были: моя мама неплохо рисовала, учитель сулил ей успех, но краски были дороги, и дед-прагматик определил её пятнадцати лет в чертёжницы, подрезал крылышки.

Раскопав в каком-то журнале рекомендации, якобы позволяющие путём сложения чисел даты рождения и каких-то несложных цифровых манипуляций определить тип личности человека, его свойства (сейчас такой литературы пруд пруди), я как-то "просчитала" нашу Линду. Многие клетки, говорящие о силе воли, интеллектуальном и творческом потенциале, у неё остались пустыми, и это бы меня огорчило, если бы одна из клеток, свидетельствующая о наличии у человека ангела-хранителя, не оказалась буквально забита восьмёрками. То, что Линдочка находится под покровительством, под защитой высших сил, меня успокоило, однако, уповая на них, я видела свой долг в том, чтобы быть земным помощником этих благословенных ангелов.

Несмотря на дикую занятость: заведование кафедрой, лекции, работа над книгами и статьями, какое ни есть, а домашнее

хозяйство, заботы о бедной маме, склероз которой вопреки всем принимаемым мерам зашёл настолько далеко, что она вернулась во младенчество - я перепланировала график своей жизни, - плохо ли, хорошо ли, но вся сознательная жизнь прошла по расписанию, - и на первое место поставила интересы Линды. Сын, невестка и её семья восприняли это как само собой разумеющееся. Вместе с тем некоторое время спустя я почувствовала, что моя повышенная забота о ней кажется новой родне излишней, если не вредной.

- К чему эти паровые котлеты?! Ребёнок вчера удивился, увидев цвет нормальной котлеты, не хотел есть, подавай ей белую, как у Греты!

- Ты что, с ума сошла, в мороз маршировать с коляской по два часа в парке? Что? Свежий воздух? Открой окно - вот тебе и воздух!

- К чему держать такую дорогую няню?! Лучше бы деньги в семье оставались. Наша Инга выросла в молдавских яслях и - ничего. Заговорила поздно? В три года - это не поздно. Зато сразу по-молдавски.

В душе я жалела невестку, которая, родившись в русской семье, разговаривала до школы, по уверению её близких, исключительно по-молдавски. Мне это казалось противоестественным. Много становилось понятным в её характере и поведении: она росла, видимо, не зная ни ласки, ни достаточного общения с домашними, а потому слышала и усваивала речь не столько от мамы и бабушки, сколько от чужих людей - няnek и воспитательниц-молдаванок. Отсюда её зажатость, строгость и сдержанность с дочкой, она их воспринимает как норму, ей другое отношение неведомо и кажется странным. Я ведь тоже противница всех этих "Съешь ложечку за маму! Ещё одну за папу!", но верю, что ребёнок, как всё живое, расцветает в биополе любви и добра. В семье невестки мои рассуждения, видимо, воспринимаются как блажь, профессорские причуды. Подражая своей маме, Линда угрожающе насупливала бровки и "пугала" нас с дедом: "Щас как строгну!". Делалось это, конечно же, в шутку.

- Балуете ребёнка! - басила Линда, ударяя кулачком по столу, копируя деда по матери, который с честью носил фамилию Буханов, оправдывая её почти ежедневно, что не помешало ему оказаться на проверку самым человеческим и бесхитростным из всей семьи. Буханов был груб, да и откуда взяться иному: вырос он при мачехе, т.е. на улице. Надо было видеть его выражение, когда Линда, появившись в их доме после некоторого перерыва, прошебетала: "Деда, а ты

скачал?” Подобный вопрос он услышал, похоже, впервые в жизни, а потому впал в полуобморочное состояние и в ответ лишь что-то невнятно мычал. Линда могла ошеломить хоть кого. В этой крохе жило чувство юмора, она понимала игру, охотно подхватывала её.

Лоскуту чёрного меха, подаренному на день рождения, предстояло стать важным элементом игры под кодовым названием “Мохнатик”, которая началась у нас, когда Линдочке пошёл четвертый год. О ней расскажу позже. А пока мех служил иной цели. Мне доводилось часто укладывать Линду спать и днём, и вечером. Засыпала она трудно. В ход шли песни, сказки и ... мех. Тот самый кусочек чёрного шелковистого меха, подаренный ей в день рождения. Я гладила им её спинку, худенькие плечики, ручку, голубила, успокаивала. Обниматься, целоваться, ласкаться Линда не любила и не позволяла. Зажатость унаследовала от матери. Но эти нежные прикосновения были ей приятны, и, когда я в надежде, что она уже спит, убирала руку, она сквозь дремоту спохватывалась и напоминала: “Мех!”

Наш песенный репертуар был богат и разнообразен, он включал помимо колыбельных русские народные песни, среди которых были любимые песни моей бабушки, умершей от тифа в годы эвакуации: “Вот мчится тройка почтовая” и “По диким степям Забайкалья”. Пела я ей также песни гражданской войны и военных лет, на которых выросло моё поколение, а также романсы, из которых Линда особенно полюбила “Что ты жадно глядишь на дорогу”. Строку этого романа “Вьётся алая лента игриво” она “слышала” по-своему: “Вьётся алая лента и грива”, а потому просила: “Пой “Тройку” и “Гриву”!” Или: “Пой про гриву!”

Часто напевала я ей песни моей студенческой и аспирантской молодости, запас которых был неиссякаем. Да и как могло быть иначе! В московском пединституте на одном курсе со мной учился Юлик Ким, которого теперь почтительно именуют Юлием Черсановичем. Юрий Визбор кончил наш факультет в год моего поступления, но он был частым гостем-участником капустников и концертов в нашем чудесном здании на Малой Пироговке. Тремя курсами старше была Ада Якушева, ставшая женой Визбора. “Мой друг рисует горы, далекие, как сон,” - это её песня о нём, а к ней он обращался со словами: “Милая моя, солнышко лесное! Где, в каких краях встретимся с тобою?”. Борис Вахнюк - ещё один мой однокурсник. Линда приняла его “Проводницу”:

Отчего же мне не спится, отчего бессонница?

Я влюбился в проводницу, не могу опомниться.
А у этой проводницы шелковистые ресницы.
Ты мне долго будешь снится, проводница, проводница!

Задорный ритм этой песни не всегда устраивал внучку.
- Не надо петь “Проводницу”, “Котелок”, “Цып-цып”. Это
меня возбуждает. Пой усыпляющую!

Я пометила день, когда я услышала эту просьбу. Прошло
полгода после операции по поводу врожденного порока сердца,
которую пятилетней Линде сделали в кардиологическом центре
Амосова в Киеве.

*Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит.*

Первые признаки непонятной болезни обнаружили у
Линды на четвёртом году. Миля и Айзик неожиданно для нас быстро
собрались и уехали в Израиль. Пришлось Линде идти в детский сад.
Психологических трудностей не возникло: при некоторой
застенчивости и скованности она была контактным ребёнком,
тянулась к детям. Это был русский садик, потому и языкового
барьера не было. Но детсад есть детсад: начались простуды,
инфекции. Располагался он на Ботанике, неподалеку от дома её
родителей, но Грета и туда дорожку протоптала. Я даже уступила
просьбам учителей-словесников и согласилась вести спецсеминар со
старшеклассниками. Школа с гуманитарным “уклоном” находилась
по соседству с детским садом: лишний повод зайти за внучкой.

“А у меня сегодня опять был “блех””, - сообщила Линда.
Иначе говоря, её опять рвало. Однажды случилось это на игровой
площадке во дворе детского сада. Худенькая, подвижная, ловкая, как
обезьянка, она успела вскарабкаться на самый верх металлической
лестницы в форме конуса (вы помните, все детские площадки у нас
оборудовались по одной незамысловатой схеме: грязная песочница,
где испражнялись все окрестные коты и собаки, несколько давно
некрашенных металлических турничков разной высоты и две-три
лесенки дугой, конусом и в виде шведской стенки, да ржавые
останки непонятной конструкции, эдакий абстракционистский намёк
на качели). Итак, покорив высоту, Линда сверху и вырвала на
мальчика, стоявшего внизу. К счастью, не свалилась.

Часто и внезапно жаловалась она на головные боли, на боли

в животе. Раза два довелось наблюдать, как без всяких видимых причин на неё что-то накатывало: начинала конфликтовать, входила в раж, отчитывала меня, приняв напряженную позу и как-то по-особому заведя свои большущие глаза-маслины с голубоватыми белками. Гневные филиппики она сопровождала страшными угрозами всякого рода, не употребляя при этом бранных слов по их незнанию. А кончалось все это плачем. В эти минуты я не возражала ей, не спорила и даже не перебивала. А потом старалась успокоить и не давала понять, что я помню сказанное и обижена. Но для меня это не проходило бесследно. Было ясно, что ребёнок нуждается в квалифицированной медицинской консультации.

Бабушка моей невестки, в прошлом заведующая инфекционным отделением детской больницы, несмотря на почтенный возраст ещё работавшая врачом в молдавском детском саду, наблюдала Линду и прослушивала её, когда она заболела. Она замечала шум в сердце, но связывала это с повышением температуры и считала его функциональным. А прослушать её сердечко, когда Линда была здорова, сопоставить картину прабабушке-врачу и в голову не приходило. Я же настаивала на том, чтобы Линду обследовали, поскольку в детстве у её отца обнаружили порок сердца - "незаращение овального окна", и можно было опасаться повторения этого у ребёнка. А вдруг наследственность?! Но оказавшись в рентгенкабинете республиканской больницы, при виде угрожающе поблескивающих в полумраке аппаратов Линда со страху разревелась. Мать не смогла её успокоить, и строгая врач с холодным безразличием выпроводила их.

Семья невестки решила крестить Линдочку, полагая, что этим они избавят её от недуга. Я не противилась решению, хотя понимала, что ими движет не вера, суеверие. По прошествии некоторого времени жизнь, а точнее наши планы переезда в Германию свели меня с семьей детского врача Берковича. Разумеется, я заговорила с ним о Линде, и он согласился нас принять. Он первым забил тревогу, найдя, что с сердцем не всё в порядке. Нам была предложена форма дневного стационара. Линдочке уже исполнилось четыре, она была очень разумной девочкой, не капризничала и оставалась в больнице без плача. Слоня был, конечно, при ней. Но и здесь нам не повезло. Необходимой аппаратуры в больнице не оказалось. Когда набиралась группа больных детишек, их везли в республиканскую. Группа собралась, но не было бензина. Сын оплатил бензин. Но аппарат, необходимый для диагностирования Линды, накануне сломался. Однако доктор

Беркович периодически звонил мне и настаивал на необходимости обследования. И вот по договоренности Линду вновь везут в республиканскую больницу. Было это 1 июня, в Международный день защиты детей. Вернулись они из больницы притихшие, зажимая в руке направление на операцию по поводу врожденного порока сердца (“Баталов проток”). Не больше не меньше. Вот такой подарок я получила в свой день рождения! Я не хотела верить местным эскулапам, как бы игнорируя факт, что диагноз поставил аппарат, а не выпускник кишиневского мединститута.

Соседского мальчика недавно успешно прооперировали в Ленинграде по поводу очень сложного порока сердца. Мы получили координаты этой больницы. Спустя две недели сын и невестка вылетели с Линдой в Питер. Там подтвердили диагноз и назначили операцию на сентябрь, предупредив, что она стоит 300 долларов. Линда знала о предстоящем ей испытании. Когда 28 августа мы все собрались за столом и мать невестки, завершая короткий тост, сказала: “Пусть в Ленинграде всё пройдет хорошо!”, - Линда её остановила: “Не нужно сегодня об этом говорить! Сегодня - день рождения.” Ей исполнилось пять лет.

Первого сентября, как было условлено, сын позвонил в ленинградскую больницу, чтобы определить день операции, и тут выяснилось, что за отпускной сезон её стоимость выросла в десять раз. Вот уж впрямь “потолок пошёл снижаться вороном”... Я на два дня как бы лишилась речи и рассудка и поймала себя на том, что веду себя, как некогда моя мама при известии, что Одессу закрывают по причине холеры. Сидела сиднем, не в силах подняться, вперив застывший взгляд в пространство - в никуда. Муж предложил безумный проект: “Продадим “Запорожец” и библиотеку!” Чудак-человек. Во-первых, распродажа книг - процесс длительный, во-вторых, даже если продать и нас впридачу, всё равно нужной суммы не выручить. На третий день меня осенило позвонить в Киев, в Амосовский кардиологический центр, куда когда-то я дважды ездила с сыном. Начались поиски телефона тамошнего глав.врача. Прабабушка считала эту суету излишней: “Что вы устраиваете трагедию?! В Кишинёве прекрасно прооперируют и к тому же бесплатно!”

Однако я стояла на своём. Советские генсеки, принимая решения очередного партсъезда, завершали их словами: “Цели поставлены, задачи определены”. Магия этих слов была такова, что, появившись в “Правде” в студеном январе передовица “Садам цвести!”, наши глуповцы ни на минуту не усомнились бы, что сады расцветут

в стужу. Здесь был иной случай. Цель - спасти Линду, задача - найти знающего, опытного кардиохирурга - были абсолютно ясны, то бишь определены, но уверенности в успехе затеи с Киевом - никакой. Тем не менее звоню. Впервые в жизни без тени привычной неловкости представляюсь по полной форме, назвав свою должность, ученую степень и звание. Коротко обозначаю ситуацию, суть просьбы и задаю волнующий нас вопрос, сколько будет стоить подобная операция. Слышу, как зам. главного обращается к кому-то из присутствующих в кабинете: "Звонит коллега из Кишинева. У внучки Баталов проток. Сколько берём за операцию? Как коллеге делаем бесплатно? И то верно. Что мы - не человеки?!"

А потом мне в трубку: "Привозите, коллега! Бесплатно сделаем."

- Когда можно приехать?

- Хоть завтра.

- Мы будем у вас через неделю.

- Договорились! Ждём!

Меня приняли за коллегу, а ведь я была доктором филологических, а не медицинских наук, но звание профессор ассоциировалась в общественном сознании в основном с медиками. Сработало клише, и я не стала разочаровывать киевлян, объясняя, что я не совсем тот профессор.

Сборы были недолги, но неожиданно выяснилось, что мать Линдочки ехать не может: у неё в банке запускают какую-то программу, и её присутствие при этом необходимо. Бабушка Лора отреагировала на мой призыв однозначно: "Ты что?! Как я могу ехать? У меня на носу сдача колбасного цеха. Я не могу."

И всё же рядом с Линдой в больнице была мама, Инга, Ингушечка, как называла её внучка с моей подачи. Оперировал Линду Михаил Романович Немировский, тридцатилетний хирург, вернувшийся незадолго до этого из Австралии после восьмимесячной стажировки. Не иначе, как один из Линдиных ангелов-хранителей принял его облик и помог ей. Пусть будут благословенны его добрые и умелые руки!

Операция состоялась 13 сентября. Навсегда запомнилось бледное личико, разметавшиеся черные волосы на белой простыне, широко открытые, но уже безучастные после укола глаза и скорбно сложенные губки. Она их не разомкнула, а лишь движением ресниц дала понять, что видит нас, когда её провезли на каталке мимо нас в лифт, а оттуда - в операционную. Два часа мы просидели с Ингой во дворе больницы, не обменявшись ни единым словом, лишь

поглядывая на полукруглую, сплошь стеклянную стену операционной, расположенной на третьем этаже. Стоял тихий погожий день, но меня бил озноб. Видимо, подскочило давление. Ингу пропустили в палату реанимации, где Линда должна была находиться сутки, разрешили взглянуть на девочку. Она ещё была под наркозом, спала. Врач заверил нас, что всё прошло благополучно.

Я смутно помню, как села в маршрутку, доехала до вокзала. Ноги сами принесли меня к немецкому посольству, где уже год находились “в отказе” наши документы. Вяло текущая переписка с немецкими органами вроде бы подавала слабую надежду, но никакой определенности не было. В нашей “немецкой эпопее” было нечто таинственно-мистическое. А потому известный всем выездным украинским и отчасти молдавским евреям господин Шатц (я ещё в ту пору не знала, что его имя “говорящее” и означает по-немецки “сокровище”) представлялся мне то неумолимым прокурором из “Процесса” Кафки, то римским прокуратором Понтием Пилатом, неизменно умывающим руки. И вдруг сегодня произошло чудо.

Было уже четыре часа, когда я появилась перед знакомым крылечком. Улица была непривычно пустынна. Плохо соображая после пережитого, я вчитывалась в объявление о распорядке работы, сиюсь его запомнить, чтобы прийти завтра. Вершитель еврейских судеб возник передо мной неожиданно, сам обратился ко мне (может быть, пораженный “опрокинутостью” лица) и согласился принять, вопреки всяких правил, в неурочный час. Спустя некоторое время, порывшись в бумагах, он объявил мне, что отказ снят и наши документы ещё в мае отправлены в Кёльн. У меня не было сил подняться. Всё предшествующее напряжение вдруг прорвалось неудержимыми рыданиями. Немец бросился за водой. Вид вконец растерянного Шатца был настолько несовместим с образом почти сверхчеловека, который у меня сложился, что я поспешила ретироваться, давась слезами. В эту пору я и помыслить не могла, что “благая весть” из Германии обернётся разлукой с Линдой.

Через день я увидела Линдочку. Она лежала без кровинки в лице, грустная (она почти всегда была серьёзна, моя девочка), с запёкшимися губами. Мать примостилась рядом. В палате было четыре кровати, на каждой - оперированный ребёнок и мать. Воздух спёртый. Я принесла им то, что успела сварить, но Линдочка есть ещё не хотела: отходил наркоз. Прошло ещё два дня, а в субботу на рассвете в квартире моей приятельницы, у которой мы остановились, раздался телефонный звонок. Звонила Инга: ночью в палате прорвало трубу отопления, из-за клубов пара дышать в палате стало

невозможно, переселять их некуда, поскольку свободных палат нет, полночи они провели в коридоре. Связавшись с Михаилом Романовичем, получила разрешение забрать Линду из больницы с тем, чтобы затем привезти её для снятия швов и официальной выписки. Дав подписку, мы покинули кардиологический центр и на такси добрались до улицы Якира, от которой рукой подать до Бабьего Яра.

Моя приятельница и коллега по пединституту в Комсомольске-на-Амуре жила в генеральском доме с дочерью Наташей, тоже филологом, а мужа её, генерал-майора Мирошниковца уже не было в живых. Участник и свидетель ядерных испытаний на Новой Земле, Александр Маркович рано ушёл из жизни. Человек долга и чести, он только их и смог завещать семье. Квартира была просторной и уютной, но бедность уже подкрадывалась к осиротевшему дому.

Жизнь менялась на глазах. В Киеве правили бал националисты - "руховцы". Их митинг был назначен на день нашей выписки. Опасаясь, что движение в городе перекроют и мы не сможем добраться до больницы, я обратилась за помощью к своему бывшему ректору, а ныне послу суверенной Молдовы в независимой Украине. Он откликнулся на просьбу, и снимать швы мы отправились на черной посольской "Волге". Линду, которая побаивалась предстоящей процедуры, поездка в комфортной машине несколько отвлекла. Она мужественно перенесла снятие швов, не кричала, только громко стонала, и слёзы катились по побелевшему личику. Михаил Романович знал, что у нас билеты на вечерний поезд. Дав последние рекомендации, он сердечно простился с нами. Шофёр ждал нас, и это было большим благом, т.к. ни одного такси по дороге до города так и не попало.

Перед отъездом Линдочка долго беседовала с Портосом, хозяйским скоч-терьером, весьма серьёзным и независимым псом, который к ней неожиданно расположился. Позже она будет вспоминать Портоса и ... пианино. Конечно, она видела инструмент и раньше в детском саду, но прикоснуться к клавишам ей, видимо, не приходилось, и, когда силы к ней вернулись, она с удовольствием извлекала звуки, прислушиваясь к тому, как они медленно плывут и тают, запутавшись в тяжелых шторах.

Мы ехали в Киев и возвращались домой в отдельном купе, оплатив все четыре места. На обратном пути при пересечении границы украинская таможня "качала права" и показывала оторопевшим пассажирам, кто тут хозяин. К нам они вошли без стука, но вид Линды, восседающей на горшке, к тому же "по

большим делам”, обескуражил даже их, и мы избежали “шмона”, а между тем под эксcrementами вполне могли таиться бриллианты. Разумеется, для диктатуры пролетариата. Позже мы с Линдой сочинили детективный рассказ о том, как мы везли контрабанду через границу. В нем фигурировал знакомый горшок, имевший вид круглого стульчика со спинкой, привезённый мною из Трускавца. Линда придумала ему двойное дно. Она охотно фантазировала и сама начинала верить в придуманное. Ей не было трёх лет, когда она мне однажды "выдала": "Мамы нет, папы нет, и Линды тоже нет."

- Как это Линды нет?! Я же тебя вижу.

- А это сон.

У известного испанского драматурга XVII века Кальдерона есть пьеса философско-религиозного характера “Жизнь есть сон”. Видимо, дети и поэты воспринимают мир одинаково. Может быть, они правы? Кстати, в период депрессии, в которую я впала на втором году иммиграции (первый был заполнен хлопотами по обустройству, учёбой на курсах немецкого), я охотно убегала от реальности в спасительный мир сновидений. В нём я общалась с мамой, тётей, отчимом, которые давно уже спали вечным сном, с друзьями детства и юности. Мне было так хорошо и спокойно с ними, что вовсе не хотелось возвращаться в действительность. Может быть, Линда права, и всё, что происходит со мной - сон?

*Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом ...*

Волшебным сном видится мне сегодня наше пребывание в Крыму, в ботаническом заказнике Новый Свет, куда мы часто ездили с мужем и где в августе 92-го оказались вместе с Линдой. До Симферополя летели большой компанией, а затем молодёжь, т.е. сын с невесткой и их друзья, отправилась в Алушту, а мы погрузились в автобус и битых три часа тащились до Судака (в далёком прошлом - Сурож), откуда - рукой подать до Нового Света. Дорога серпантинном вьётся над морем, над ней нависают скалы, местами она сужается: двум машинам не разъехаться. Бухта Нового Света взята в полукольцо-амфитеатр невысокой горной грядой, поросшей лесом. Лесистую подкову, охватывающую посёлок, сторожит с одного краю высокая скалистая гора Сокол. Её серая морщинистая вершина недоступна для растительности, громады сизых утёсов перемежаются с круто наклонёнными каменными чашами, лишь кое-где видны пятна зелени. Кому-то в её силуэте видятся очертания громадного

каменного органа.

У подножья Сокола при въезде в заказник - шлагбаум, при нём - охранник, интересующийся, кто, куда, к кому и зачем. Нам он не страшен: мы едем к знакомой местной жительнице, молодой женщине, которая, лет пять назад попав в аварию, стала полным инвалидом, “спинальницей”, как она себя аттестует. Передвигается она в коляске. Линда была заранее предупреждена, поскольку дети обычно проявляют повышенный интерес к физическим недостаткам, они их удивляют, как любое отклонение от привычного. Больному же или инвалиду детское любопытство может быть неприятно. Люба - хозяйка небольшой двухкомнатной квартиры на первом этаже типовой пятиэтажки. Живёт на скудную пенсию и деньги квартирантов, которых пускает даже на балкон-лоджию. Спрос большой: места сказочные. Но и народ сюда устремляется неденежный, не очень-то разживёшься. “Новые русские” предпочитают комфорт, удобства, а тут всё дико.

Линда впервые видит море и горы. К морю ведет довольно крутой спуск. Сверху оно кажется зелёным, особенно у берега. Линда недоумевает: "Почему море зелёное? Ты всегда рисуешь синее. А мама сказала, что едем на Чёрное море."

Синее, зелёное или чёрное - ответа она не ждёт, главное - поскорее спуститься и дорваться до воды. У берега она настолько прозрачна, что видны камни, водоросли и стайки крохотных рыбок, мальков, шныряющих на мелководье, где вода прогревается солнцем. Линда рвётся в море, но мы-то уже знаем, что здесь нужна осторожность: вначале идут камни, они скользкие, нужно отыскивать песчаные “пятачки” между ними. Преодолев каменный пояс, попадаешь на песчаное дно, но там ей будет по шею, а плавать мы ещё не умеем. Ухватившись за плавки дсда, приподняв голову над водой, смешно сжав губы, наморщив нос, пытается плыть, бьёт ногами по воде, поднимая фонтаны брызг. Впервые слышу её визг. Дед, обладаемый брызгами, визжит громче внучки. На первый раз достаточно. “Ещё! Ещё!” - кричит Линда, но неумолимая Грета подаёт знак, дед выносит её, дрожащую, с пупырчатой, “гусиной” кожей, на берег, где Грета принимает её в мохнатое полотенце и, увязая в горячем песке, тащит под навес на подстилку.

К морю мы ходим с утра. Муж с Линдой отправляются первыми занимать место. Моя обязанность - приготовить завтрак на всех и без промедления доставить его на берег. Пляж не оборудован, можно сказать, дикий. Один небольшой щелястый навес на всех про всех, спрятаться от солнца больше некуда. Первые ранние часы

можно провести и на солнышке, что мы и делаем.купаемся, завтракаем, строим песчаные замки-крепости, бродим вдоль берега, собираем камешки (конечно, это не сердоликовые и агатовые россыпи старого Коктебеля, но попадаются красивые, пёстрые и диковинной формы - то сапожок, то шляпка), рассматриваем мелких обитателей моря, находящих убежище под скалами и большими камнями. Ведь всё Линда видит впервые. Живые рыбки, водоросли, медузы, черноморские устрицы-мидии, тёмно-синими гроздьями облепившие скалы, шустрые чёрные крабики, бегающие боком, ракотшельник или его родственники, облюбовавшие пустые раковины, дельфины, иногда заплывающие в бухту и вынырывающие поодаль, белоснежные чайки, покачивающиеся на воде и взмывающие при приближении к ним - вот сколько нового мы узнали! Около одиннадцати солнце загоняет нас под навес, где мы ещё проводим часок-другой. А затем начинается подъём-восхождение. Мы не знали, что у Линды неблагополучно с сердцем, ещё год нам предстоит пребывать в счастливом неведении, но мы заметили, что подъём по лестницам от моря и дорогу домой она одолевает с трудом: дважды она присаживалась отдыхать в облюбованных местах.

Первая остановка - под развесистым деревом, в тени которого копошится в пыли и выгоревшей траве с полдюжины кур. Прежде чем пуститься в путь Линда обращается к ним с речью: “Кокко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко, лапками гребите, зёрнышки ищите!” Выговаривает-выпевает она всё это очень серьёзно. Петух, внимая, начинает голосить и с остервенением бить крыльями, куры более энергично скребут лапами и кланяются, что-то склёвывая. Одним словом, Линдины указания приняты к неукоснительному исполнению. Бросив прощальный взгляд на подопечных, Линда продолжает путь.

Вторая остановка - во дворе старинного каменного дома восточного типа с распахнутыми воротами и четырьмя обитаемыми башнями. На первом этаже этого, надо полагать, в прошлом каравансарая ныне находятся сельские магазинчики - продовольственный, промтоварный и овощной, а также небольшой кинозал. Мы - в торговом и культурном центре Нового Света. Пока Линда отдыхала на скамейке, я успевала кое-что прикупить. Впрочем, если речь шла о чем-то существенном, как-то: молоке, масле, сыре или колбасе, то нужно было укараулить прибытие машины с товаром из Судака, для чего деда командировали в очередь пораньше. Но вскоре стало ясно: пока не “отоварятся” местные, нам, чужакам, рассчитывать не на что.

Даже если он оказывался в очереди, к примеру, пятым, перед каждым из четверых, что стояли впереди, пристраивалось ещё чуть ли не по дюжине, “заяввших очередь и отошедших на минутку”.

После обеда мы отправлялись к ближайшим зарослям можжевельника, целебные свойства которого и влекли сюда мужа, или под сосну Станкевича (здесь сохранились рощи этого реликтового дерева). Там старый и малый, устроившись в тени на подстилке, отправлялись в объятья Морфея, а я исполняла роль Цербера, отгоняя всяких “жукей и червякей”. Мы играли в “слова”, и Линда, возражая против моего варианта, заметила: “Мы составляем слова только про людей, а не про этих жукей, червякей ...”

Кстати о насекомых. В один из дней я, вспомнив свои детские забавы, исхитрилась поймать довольно крупную стрекозу. Линда была от неё в восхищении, замерев, любовалась её огромными сферическими глазами, радужными крыльями и переливчатым зеленовато-голубым вытянутым тельцем, дивилась тому, как она сучила лапками, подгибала хвост, доставая его кончиком собственное брюшко, но в руки взять стрекозу побоялась и долго следила за её сверканием-порханием, когда я отпустила пленницу. Крыловскую “Стрекозу и муравья” я Линде уже читала.

Конечно, мне бы ни в жизнь не придумать трактовки, каковую уже многие годы предлагает студентам моя коллега, доцент нашей кафедры. По её версии, попрыгунья-стрекоза, эта типичная представительница вырождающейся аристократии, привыкшая бездельничать и паразитировать за счёт трудового крестьянства, что выражается в порочной привычке развлекаться, порхать и бездумно петь не иначе как французские песенки, “лето красное пропела”. Разве мог этот классово чуждый элемент заметить и тем более осознать, что “зима катит в глаза”? Где ей?! Муравей, этот вечный труженик, скромный и незаметный, но при этом, разумеется, типичный представитель народа-богатыря, преподаёт ей, недостойной, настоящий урок. “Ах, ты пела?! Это дело. Так пойдика попляши!” - говорит муравей замерзающей стрекозе. Приговор справедлив! Классовая ненависть (я-то имела возможность почувствовать лишь расовую ненависть коллеги) ассоциировалась у меня с образами из другой жизни.

Моя мама, отброшенная склерозом в детство, любила пускаться в воспоминания о послереволюционном времени, когда на Кавказе, и в частности в Туапсе, то и дело менялась власть, что длилось достаточно долго. Она помнила, как катился через городок “железный поток” - Таманская армия, как оборванные бойцы грабили

соседей, в то время как их голодные лошади, привязанные к забору, объели всю кору на деревьях и грызли сам забор. Мне запал в душу её рассказ о печальной участи жены царского генерала. Красавица и модница, она шила свои шикарные наряды у моей бабушки-портнихи. И вот в мгновение ока происходит ужасный поворот судьбы, и эта изнеженная женщина и две её дочери-отроковицы, вышвырнутые из дома, потерявшие не только богатство, но мужа и отца (царского генерала пустили в расход), бродят по улицам, прося подаяние, в рубище, в мешках, в которых сделаны прорези для рук и головы. Мама не знала, что с ними стало с наступлением зимы. Очевидно, их постигла участь несчастной стрекозы ...

Линда следит за полётом стрекозы, а я - за Линдой. Она никогда не упустит случая понаблюдать за животными, а уж если удастся кого приласкать, то и вовсе - счастье! У нас дома нет ни кошки, ни собаки, увы! После гибели моего преданного друга, пинчера Джеки, напоминавшего мастью и статью маленького оленёнка, я “загремела” прямиком в реанимацию и почти месяц провела в больнице. Муж поклялся, что больше у нас животных не будет. Рыбки, которые невероятно быстро плодились в аквариуме, мало волновали Линду. Но зато она охотно общалась с соседской собачкой Китти, ласковым перекормленным созданием, которое очень красил пышный хвост султаном, и рыжим флегматиком - котом Швондером, которого однажды нашли убитым во дворе, что было от Линды, разумеется, скрыто. Она надеялась на возвращение блудного кота, но его всё не было. И вдруг вчера, укладываясь спать после долгой вечерней прогулки по заказнику, она мне заявила: “Грета, Швондера, наверное, похитили волки”. Видимо, исчезновение знакомого кота не прошло для неё бесследно, это стало событием в детской жизни, а разговоры взрослых о фауне здешних мест, сгущающиеся сумерки, полная луна и шорохи леса - всё это родило мысль об опасности и наложилось на историю злосчастного Швондера, и Линду пронзила догадка: во всём виноваты волки!

Помимо собаки и кота у нас с Линдой в Кишиневе имелась знакомая коза. Встретились мы с ней случайно, прогуливаясь вблизи дома по центральной улице, которая некогда была названа Александровской в честь российского императора-освободителя, затем в послевоенный период носила имя вождя русской революции, самого человеческого человека, как нам его характеризовали, а теперь, после обретения Молдовой независимости, получила имя молдавского господаря Штефана чел Маре (то бишь Великого). Носителям национальной идеи - "фронтистам" не давал покоя

феномен Петра Великого, их мучила неизвестность, кто из сих исторических деятелей более велик. Чтобы всякие сомнения отпали, они наградили Штефана ещё одним эпитетом. И вот уже на табличках, которые за последние годы трижды сменились на центральной улице, на каждом углу которой ныне просят подаяния обездоленные старики и дети, значится : Штефан чел Маре ши Сфынт (Великий и Святой). Сами понимаете, куда против такого нашему Петру, этому “саардамскому плотнику”?! Памятник Штефану стоит на улице, носящей его имя, у входа в парк, до недавней поры именовавшийся Пушкинским. Ныне он, само собой, тоже переименован.

Прошёл слух, будто поэтесса Лари, эта Сапфо местного разлива, вошедшая к тому же в образ матери-заступницы несчастного молдавского народа, устроила то ли обручение, то ли венчание со статуей Великого и Святого Штефана. При большом скоплении народа поп вопрошал господаря, согласен ли он на развод с "русойкой" (Штефан был женат на русской). Переговоры он вел, постукивая по бронзе статуи и вслушиваясь в эхо-отклик. Затем многодетную мать Лари, обряженную в белые одежды непорочной невесты, трижды обвели вокруг бронзового господаря, и ... свершилось.

Эта инсценировка удивительно напоминает историю из раннего средневековья, о которой поведал Анатолий Франс в блестящей сатире “Остров пингвинов”. Любвеобильная пингвинка возлежала с очередным волопасом, когда её слуха достиг призыв: лишь непорочная дева может спасти страну от страшного дракона. Восстав с ложа любви и препоясавшись мечом, она отправилась покорять чудище, роль которого успешно играл её переодетый муж Кракен. С ним “народная заступница” предварительно обо всём столковалась. За свой подвиг “дева” была причислена к лику святых и вошла в историю Пингвинии как св. Орброза. Кто знает, в каком качестве войдёт Леонида Лари в историю Молдовы? Однако нелишне помнить уроки минувшего. Ведь явился же Каменный Гость на зов пушкинского Дон Жуана. И бронзовая статуя Венеры Илльской в новелле Мериме ожила и задушила незадачливого жениха. Быть может, Лари тоже дождётся своего часа ...

Представить сие венчание как факт реальный очень трудно, пусть даже слух о нём достиг берегов Гудзона и Потомака и даже Лев Рубинштейн упомянул о нём в своих "Случаях из языка", но ведь видела я своими глазами учащих молдавских школов, стоящих на коленях со свечками в руках перед этой статуей, видела и

колени преклоненных учительниц, организовавших это действо в начале сентября 1992 года. Тем же летом с ужасом следила за толпой бесноватых, которая сражалась в парке с другим памятником. Они били палками по гранитной колонне, увенчанной бронзовой головой Пушкина работы Опекушина, явно намереваясь её повалить. Усилия оказались тщетными, тогда была приставлена лестница, которая, как пресловутый рояль, “случайно оказалась в кустах”, и какой-то пигмей, вскарабкавшись на неё, вылил на кудрявую голову поэта ведёрко жёлтой масляной краски. Насмотревшись на подобное, можно поверить и в венчание со статуей.

Всё вышеозначенное происходило среди бела дня на постоянном нашем с Линдой маршруте, потому и довелось стать тому очевидцем. Оно вроде бы не имеет отношения к теме, но на самом деле решение об отъезде в Германию вызревало под впечатлением от увиденного. И Чайку, белую козу с жёлтыми глазами, мы встретили тоже “на маршруте”. Она мирно щипала траву на газоне, в самом центре столицы суверенного государства, а я вступила в разговор с её хозяином не без корыстной мысли разжиться козьим молоком для Линды. Но надежда поманила и обманула: молоко шло хозяйским внукам. Однако мужичок охотно согласился принять от нас мешок сухарей (наголодавшийся в годы войны муж запрещал выбрасывать сухой хлеб, и мы его собирали, складировав в шкафу на балконе). В сопровождении козы мы явились в наш двор, взяли сухари и пошли провожать Чайку. Обитала она вместе с хозяином и его семейством в домишке, притаившемся-притулившемся за зданием парламента. Это внушительное здание из бетона, металла и особого, непроницаемого для зрения коричневатого стекла, оставившего жизнь новых слуг народа невидимой для человека с улицы (весьма предусмотрительно!), Линда определила так: дом, на котором растёт флаг. На мой взгляд, хороший образ.

И вот под сенью триколора и дремантым оком КГБ, чьи владения, включая тюрьму, располагались по соседству, коза Чайка родила не семерых, как в сказке, а лишь двух очаровательных козлят. Мы с Линдой навещали их регулярно, собирая для их мамы не только сухари, но очистки картошки и прочих овощей-фруктов. Повесив свой дар в целофановом пакетике на калитку, мы наблюдали за козлятами, которые уже свободно взбирались на поленницу и всячески резвились на маленьком выгороженном пятачке двора. Линду интересовали и утки, грузно переваливавшиеся за провололочной сеткой. Пока дело ограничивалось их созерцанием.

Козлят иногда удавалось приманить и погладить, а то и подержать за пробивающиеся рожки.

А вспомнилась коза потому, что в Новом Свете на пути к морю обнаружился настоящий скотный двор, полный всякой живности: помимо коз, кур, уток и гусей, там разгуливали цесарки и индюки. Подстрекаемая дедом, Линда решила скормить домашним птицам сквозь ячеистую проволочную сетку кусочки арбузной корки. Среди немногих светлых воспоминаний мужа о его бессарабском детстве, прошедшем на Георгиевской улице в тогда ещё румынском Кишиневе, была пара ручных гусей, для которых он, пяти лет от роду, нарезал арбузно-дынные корки. С возрастом это воспоминание становилось ему всё дороже, и вот настал момент, когда с помощью Линды он вознамерился вернуть утраченное время. Каждый делает это по-своему. Марселя Пруста, как известно, возвращал в детство вкус пирожных “мадлен”, Исаака Ольшанского - гуси и арбузные корки. Но испытать блаженство ему не довелось. Прожорливый селезень, выхватывая у Линды кусок, ущипнул её за палец. Линда издала отчаянный вопль не столько из-за сильной боли, сколько от неожиданности и испуга. И вот мой “голосящий Кивин” бежит к Грете искать сострадания и утешения. Утки решительно исключены из круга наших друзей, но обида и мстительное чувство ещё живет в Линде. Проходя поутру мимо птичьего двора, она грозит обидчику: "Щас как дам задней ногой! Как стукну - он и умерёт!"

Вместо уток мы принимаем в нашу компанию чаек и бакланов, которые по вечерам слетаются на пустынный пляж. В роли санитаров они по-хозяйски расхаживают по песку, подчищая-подъедая то, что оставили после себя свинтусы-отдыхающие. При этом зорко поглядывают по сторонам: авось кто подкинет ещё чего-нибудь. Линда бросает им сверху кусочки хлеба и следит, кто проворнее. С наступлением сумерек они улетают на скалы, где у них гнёзда.

Набережная в Новом Свете - место вечерних прогулок. Днём она во власти предприимчивых торговцев фруктами и овощами, среди них немало крымских татар, потомков высланного Сталиным народа. Мой приятель студенческих лет правозащитник Илья Габай, учитель от Бога, лишенный властями права преподавать, был арестован за участие в демонстрации в защиту крымских татар. Прошедший лагеря, спецпоселение, не оставленный вниманием КГБ и после освобождения, он покончил с собой. Думаю, ни один из владельцев легковых машин, доставляющих на набережную свой ходовой товар, понятия не имеет об этой истории. Илью Габая

оплакали его жена, сыновья-школьники, близкие друзья и его сподвижники-единомышленники, одного из которых я встретила здесь, на берегах Рейна. Но до этой поры далеко. А пока что мы покупаем благоухающие персики дивной красоты и совершенно потрясающего вкуса. Жителей Молдавии, привычных к изобилию фруктов, казалось бы, трудно удивить персиками, но должна признаться: ничего подобного мне не доводилось пробовать - пища богов да и только!

По вечерам у парапета набережной устраивают выставки-продажи художники, выезжающие в Новый Свет "на пленэр". Их не так уж и много. Чета Харитоновых из Киева лет двадцать кряду появляется здесь по весне. Местные жители их знают и приветуют. Андрею Дмитриевичу не приелись пейзажи Нового Света. Он не устаёт поражаться многообразию и постоянной смене цветовой гаммы. Море, горы, сам воздух - всё здесь преобразается в зависимости от времени дня, от освещения, и подчас за считанные минуты. Эти перемены схвачены его кистью. Он работает маслом. Один и тот же вид - мыс Меганом, протянувшийся далеко в море со стороны Судака, - предстает то в жемчужно-розовом сиянии, то в серо-лиловой дымке, то в ослепительном блеске солнца, то на фоне лёгких перистых белоснежных облаков. Каждый год мы покупали несколько его работ, по преимуществу небольших.

На этот раз Линде было дано право определить, что мы возьмём. Её выбор пал на небольшой весёлый этюд - мыс Капчик. Он напоминает гигантского коричневатого ящера, разлёгшегося в море, как бы отделяя Синюю, или Разбойничью бухту, от Голубой. Хвост его теряется в прибрежных зарослях, а тело свободно простёрлось перед нами и нежится на солнцелёке. Голова, увенчанная гребнем, слегка повернута влево, ящер точно поглядывает на нас вполоборота, выставив в море переднюю правую лапу. Мы с Линдой часто смотрели на Капчик сверху, с обрыва, гуляя после ужина по заказнику, и она его узнала на картине, потому, видимо, и выбрала.

Харитоновские пейзажи образовали в нашей рабочей комнате в Кёльне маленький крымский уголок. Как было не привезти с собой в Германию эти этюды и картины, на которых запечатлены знакомые и дорогие сердцу места Нового Света при дневном и ночном освещении, если я даже кусок розово-серого гранита, камень, подобранный в море, взяла сюда с собой?! Кто-то привёз хрусталь, сервизы, а мы книги и картины.

И сейчас, глядя на скалы Пещерной горы, отделяющей Новый Свет от Разбойничьей бухты, я вспоминаю, как мы с Линдой

отправились туда на прогулку, как забрались в грот, где она впервые запросилась на руки. Видимо, страшновато показалось ей в полумраке под нависающими каменными громадами. Меня поразил цвет воды: настоящий густой ультрамарин. Скалы здесь круто обрываются вниз, затеняя воду и придавая ей мрачный колорит. Бухте подходит её название - Разбойничья. Вдоль скал вьётся опоясывающая их карнизная тропа, она местами осыпалась, лишь редкие смельчаки рискуют ступить на неё. На некоторых участках они передвигаются мелкими шажками, бочком, обнимая скалу, прижимаясь к ней всем телом. Легко представить, как некогда здесь ночами швартовались фелюги контрабандистов, как торопливо зажигался и гас потайной фонарь, как на арбах подвозили-увозили товар (тропа, видимо, прежде была достаточно широкой и главное - досмотренной). Ныне эта романтически-преступная жизнь отшумела.

Но чаще всего я смотрю на картины, где запечатлен такой разный Меганом. Однажды Харитонов пригласил нас взглянуть, как он работает. На этот раз он расположился на веранде старого голицынского дома, куда мы с Линдой поднялись по деревянным ступенькам. Дом стоит на возвышении, откуда бухта и Меганом - как на ладони. Некогда князь Голицын жил в этом доме с семьёй. Он основал здесь первый в России завод по производству шампанских вин, предварительно заложив виноградники. Завод оказался убыточным, князь с большим трудом передал его в царскую казну. Тем не менее он и сейчас действует, сохранились и старые подвалы. Но что особенно удивительно: сохранился склеп, где похоронена жена князя. Мы с Линдой приходили к нему, каждый раз оставляя у решетки несколько полевых цветочков.

А название посёлка-заказника по преданию возникло так: царь, приглашенный сюда Голицыным, выходя из моря после купанья, якобы воскликнул: "Боже, до чего хорошо! Будто заново на свет народился!" Так и появилось название - Новый Свет. Вряд ли мне доведётся там ещё когда-нибудь побывать, а Линда была слишком мала, чтобы многое запомнить. Но я испытываю необъяснимое удовлетворение от того, что это чудо по имени Новый Свет, этот кусок древней земли, именуемой Киммерией, в моих воспоминаниях неразрывно связан с нею, с моей любимой девочкой. Глядя на картину, рождение которой мы с Линдой некогда наблюдали, я твержу строки Мандельштама. Они придают некую цельность, завершенность этому небольшому отрывку моей жизни, напоминающему волшебный сон.

Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!

- *Кстати, о треске, - начал Черепаха Квази.*
- *Знаешь, почему её называют треской?*
- *Я никогда об этом не думала, - ответила Алиса. - Почему?*
- *Треску много, - сказал значительно Грифон. -*
Очень любят поговорить. Как начнёт трещать,
хоть вон беги. И друзей себе таких же подобрала.
Ходит к ней один старичок Судачок.
С утра до ночи судачат! А ещё Щука забегает
- так она всех щучит. Бывает и Сом
- этот во всём сомневается...

Дети любят игру в слова, но чувство слова, способность играть словами даны не всем. Конечно, можно попытаться их развить, выявляя созвучия, фиксируя на них внимание, что я и делала, играя с Линдой, как некогда - с её папой. Кстати со Щукой у меня связана своя история. Лет тридцать назад наше телевидение купило право одноразового показа английского сериала "Сага о Форсайтах". Дело было летом, и я с трёхгодовалым сыном гостила у родителей в Одессе. Соседка Ася, продавец со стажем и - самое главное - с богатым опытом, заходила к нам на просмотры, поскольку её телевизор "полетел". Всё бы ничего, если бы Ася не пускалась в комментарии. Эстетические принципы у неё отсутствовали начисто, а из всех житейских ей ближе всех был принцип бальзаковского банкира Нусингена. Он, как известно, сводился к тому, что тысяча экю лучше сотни, поскольку из одной тысячи можно сделать три, а из сотни лишь триста. По собственному признанию, лишь на пересортице селедки Ася зарабатывала столько денег, сколько у вас волос на голове. А что говорить о левом товаре?!

"Какое богатство!" - восхищенно-завистливо приговаривала она, любуясь интерьером дома Сомса Форсайта. Поведение Ирен, равнодушной к Сомсу, к его богатству и, похоже, намеревающейся покинуть и его самого, и его роскошный дом, было Асе непонятно, как, впрочем, и большинству Форсайтов, и вызывало глухой гнев. Он душил её, и, не в силах сдерживаться, Ася трижды выкрикнула по адресу Ирен прямо в телевизор: "Сука!"

Нужно ли говорить, что Роберт вознамерился тут же

включить это слово в свой лексикон. Мама пришла в ужас и настроилась прочесть своему “маленькому лорду Фаунтлерою” очередную мораль о том, как постыдно воспитанному мальчику говорить нехорошие слова. Предчувствуя, чем это нам всем грозит, я перехватила инициативу и решила проблему, не выходя за пределы лингвистики: “Роберт, такого слова нет, ты неправильно произносишь. Не *сука*, а *щука*. Говори правильно, а то смеяться будут.”

Трёхлетку удалось убедить.

Двадцать лет спустя трёхлетка Линда принесла из Робертова “куратника”: “А папа говорит **“блин”**, когда у него крышка падает.” Ещё через два года её запас существенно пополнился: **“Ё-моё** - это такое слово. Шурик так говорит. А Серёжа сказал: - **“Чёрту матери!”** Бывшие одноклассники, ликуя по случаю детского праздника и пребывая в подпитии, не стеснялись в выражениях. Живописуя вечеринку, Линда использовала знакомые ей слова, не понимая ещё до конца их смысла, а потому свой рассказ о застольном веселье она закончила так: “Все ходят такие трезвые, шатаются...”

Известно, что в своих играх дети подражают взрослым, повторяют их интонации, не говоря уже о словах. У меня нет возможности постоянно играть с ней. Когда я занята за письменным столом, она пристраивается в этой же комнате на ковре или на диване (по сезону) со своими “детьми”: Слоней, Зайкой, Мишкой, куклой Катей. Конечно, я поглядываю в её сторону, чтобы не набедокурила. Замечаю у неё ножницы, понимаю: явно намерена подстричь новую куклу. Она опережает мои мысли: “Ты, Грета, поработай, а это *мои* ножницы. Я не стригу.”

Играет сама с собой: с “детьми” беседует, выступая сразу в нескольких ролях, при этом меняет тон, голос. Говорит тихо, чтобы мне не мешать. Я не прислушиваюсь, но отдельные реплики долетают.

- А вдруг родится мальчик? - спрашивает Зайка Слоню.

Кукла Катя толкает его, Зайка падает и обиженно “выговаривает” Кате:

- Разве так можно?! А если я так подержаю тебя за косичку?

Похоже, Катя и ухом не ведёт. Тогда вмешивается “мама”

Линда:

- Ещё раз это увижу, точно будешь привязана. Запомни это!

Узнаю строгие интонации невестки. Уложив своих “детей”, Линда пристраивается рядом на подушке и предупреждает неслухов, чтобы они не вздумали болтать:

- Я слышу всё ушами насквозь, когда сплю. Запомните!

Иногда Линда делится с нами своими "открытиями". Ей немногим больше четырёх, и она просвещает деда: "Знаешь, почему становится светло на улице? Потому что мы зажигаем свет. Люди включают лампы, и становится светло". Она уважает деда за его дотошность. Он не устает от "почемучки" и разясняет ей все от "а" до "я". И сама она, подражая ему, тоже пытается объяснять, чтобы заранее "снять" вопрос: "Если я тебя, Грета, буду шлёпать, тебя мальчики не будут любить, ни дед, никто. Потому что будешь битая."

Устанавливая причинно-следственные связи, она изобретает новые слова, неологизмы: "Подул ветер, и листья **разветрились**". Интересно следить за ходом её рассуждений, за тем, как рождаются собственные предположения и выводы. "У нас на базаре продавались чёрные винограды," - сообщила она в начале августа. Для чёрного винограда в Молдавии ещё не сезон. Пятилетняя Линда отмечает это несоответствие: "Летом - винограды. Удивительно! Наверное, из другого города."

Ей было четыре года, когда муж, выйдя на пенсию, поехал в гости к родичам в Израиль. Уехал на целых три месяца по их приглашению и за их счёт (мы осилить такое не могли, откуда у советского инженера возьмётся тысяча долларов?). Линда безапелляционно заявила: "Он будет скучать уже через три недели." Сама она начала скучать по деду через три часа. Не успела я вернуться из аэропорта, как Линда взялась за карандаши и акварель: "Я такое нарисую, что он там ахнет!" Самолёт только взял курс на Тель-Авив, а она уже готова была слать вдогонку деду свой привет-рисунок.

Дед вернулся к Новому году со множеством гостинцев. Среди деликатесов была и копченая рыба, о которой всё сказано незабвенным Райкиным: "Вкус просто специфический". Дав всем отведать заморского лакомства, я спрятала целую рыбку для Линдочки и понемногу выдавала ей к обеду. Но всему, как известно, приходит конец. Как-то весной муж принёс с базара копченую рыбку, бледную тень израильской, и вознамерился испытать Линду.

- Это из Израйля? - оживилась наша лакомка.

Дед ответил утвердительно.

- А как же ты успел так быстро? - с подозрением спросила

Линда.

- Так ведь на самолёте!

Она поверила, ребёнка обмануть легко. Но проверка на вкус разоблачила фальсификатора. Линда не обиделась: она понимала шутку, к тому же дед был её любимцем.

Зигмунд Фрейд уверял, что дети в детстве тяготеют к своим родителям противоположного пола. Рассуждения моего маленького сына, казалось, полностью подтвердили его теорию. Пятилетний Роберт так видел свою жизненную программу:

- Вот пойду в школу, потом - в армию, потом вернусь, и мы сыграем свадьбу.

- А на ком же ты женишься? - спрашиваю я.

- Как на ком?! На тебе!

Линда сменила ориентиры. В свои три года семь месяцев она призналась: "Деда, я невеста, как мама на фотокарточке. Я женюсь, а ты знаешь, кто будет мой жених? Ты! И мы будем спать вместе". Почему дед, а не папа? Потому, видимо, что папа по молодости лет мало внимания уделял своей дочке, а дед в ней души не чаял. Именно ему Линда доверила свою первую тайну: "Деда, я **взлюбилась** в Серёжу."

Линдино словотворчество проистекает, конечно, не из сознательного анатомирования слова, которое под силу подростку, но не малолетке. Мой знакомец рассказал, как ему однажды удалось огорошить почтенных немецких филологов гипотезой о германофильстве Льва Толстого. Дотошные немцы требовали доказательств.

"Ну, как же, вспомните фамилию его любимого героя из "Войны и мира"! Совершенно верно, Безухов. А ведь образована она от немецкого *der Besuch, besuchen* (посещение, посетить)." "Высоколобые" готовы были рвать остатки волос: как же это они проглядели?! История достойна анекдота. Линде подобная игра была, конечно, не по зубам. Но я гордилась её скромными успехами, вроде метафоры: "Я на родителей губу повесила," - т.е. обиделась, или неологизма: "Я буду картёжницей." "Картёжник" - тот, кто рисует картины.

Ей уже было пять лет, когда мы впервые отправились в оперу слушать "Травиату". Она колебалась в выборе платья. Я достала платье потеплее, все-таки ноябрь на дворе, но кто-то сказал, что она в нём проигрывает. "Грета, возьми в **складовке** и принеси платье с **короточками** (оборочками)!" Натянув принесённое, потоньше и понаряднее, она повертелась перед зеркалом и поинтересовалась: "А теперь я **выигрываю**?"

Нужно ли говорить, что в театре моё внимание всецело сосредоточилось на Линде. Я не видела певцов, я наблюдала за её реакцией. Подавшись вперёд, опершись на переднее кресло (благо, оно пустовало), она неотрывно следила за происходящим на сцене. Лишь один раз во втором акте, апофеозом которого была

“Застольная”, Линда взглянула на меня своими черными блестящими глазами, улыбаясь, как бы приглашая разделить всеобщую радость. “Как пенится светлая влага в бокале, так в сердце кипит любовь...” - заливались в экстазе сопрано и тенор, увлекая душу маленькой девочки в полёт. А я любовалась тонким профилем Линды с чуть вздернутым носиком. Темные волосы, подстриженные каре, оттеняли ее бледное, всегда бледное личико. Челка (*пчёлка*, как она говорила) закрывала лоб, почти достигая бровей. Пухлые губки были полуоткрыты. Она была увлечена, она находилась в ином мире. Мне мечталось, чтобы в этом волшебном мире музыки и игры Линда имела постоянную прописку.

- *Рассказывай сказку!* - потребовал *Мартовский Заяц*.
- *Да, пожалуйста, расскажите*, - подхватила *Алиса*.

Дети обожают сказки. Мы начинали с самых простых: “Колобок”, “Три медведя”, “Лисичка со скалочкой”, “Волк и семеро козлят”. Бывая в Москве, я всегда навещала “Детский мир” и покупала диафильмы впрок. Первые были приобретены ещё до Линдиного рождения. Примерно с двух лет начались наши киносеансы. На табуретке устанавливался диапроектор, небольшой экран подвешивался к письменному столу, наводилась резкость и выбирались две сказки для демонстрации. Линда приносила свой стульчик, пристраивалась рядом, она была вся внимание. У нас практиковались сеансы повторного фильма, поскольку появились любимые сказки, и Линде не надоедало их смотреть по нескольку раз. Если я сбивалась при чтении текста под картинками, меня немедленно поправляли: моя единственная зрительница знала сказки наизусть и не признавала отклонений от канонического текста.

Постепенно к русским народным прибавились сказки Шарля Перро, братьев Гримм и Андерсена. Со временем Винни Пух, ослик Маффин, а затем Мэри Поппинс и Карлсон тоже стали нашими друзьями. Линда полюбила сказки Пушкина, а “Сказку о рыбаке и рыбке” мы с ней разыгрывали по ролям. Она исполняла роль рыбки, ведь она была самой короткой. Она настолько вошла в свою роль, что, когда я, читая от автора, произносила: “Приплыла к нему рыбка,” - Линда бросалась на пол, на ковёр, и, вилия всем тельцем, “подплывала” к дивану. Приподняв головку и глядя мне в глаза, она сочувственно вопрошала: “Чего тебе надобно, старче?” В ы с л у ш а в

жалобу старика на вздорную старуху и его очередную просьбу, она его успокаивала: "Не печалься! Ступай себе с Богом!" - после чего, развернувшись, "уплывала" под стол. И всё это проделывалось с истовой серьёзностью. Она ведь воображала себя морской царицей. Я смастерила ей корону.

Линда любила инсценировки. Песня Аллы Пугачёвой "Арлекино" тоже разыгрывалась как действо. "По острым иглам тонкого луча бегу, бегу, дороге нет конца", - пела примадонна, а Линда мчалась по кругу, изображая бег по арене. На зиму Инга сшила ей стёганую душегрейку, а я прикрепила к ней все медали, какие нашлись в доме. Это были медали моих родителей: "За победу над Германией", "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны", "К тридцатилетию Победы", а также наши с мужем предпенсионные медали "Ветеранов труда", торжественно врученные на собрании. Во время бега медали подпрыгивали и позвякивали, и Линде это нравилось: "Смотри, Грета, как у меня веселятся ордена!"

Куплет о силачах-циркачах заканчивался словами: "Им рукоплещет восхищенный зал, и на арену к ним летят цветы..." Вот тут все присутствующие должны были бешено аплодировать, изображая публику в цирке, моей же обязанностью было бросать цветы к ногам Линды, то бишь на арену. Цветы часто бывали у нас в доме, особенно в пору студенческих экзаменов. Но в случае их отсутствия на арену летели праздничные открытки с изображением букетов. Таков был ритуал, и внучка его блюла.

Наблюдая маленькую Линду, я убедилась, что дети очень этикетны, т.е. они строго соблюдают условия игры, подмечают малейшие отклонения-нарушения. Прав Антуан де Сент-Экзюпери, который в сказке "Маленький принц" верен детской логике, хотя некоторые критики ошибочно усмотрели здесь манерничанье. Верность детским повадкам особенно заметна в сцене беседы Лиса с Маленьким принцем, когда Лис, рассказывая мальчику, как нужно его приручать, строго оговаривает условия: "Вначале я буду садиться в отдалении, потом - поближе, и, наконец, я буду ждать тебя каждый день в одно и то же время". Вот и Линда руководствовалась своими правилами и хотела, чтобы мы, взрослые, их соблюдали.

Она верила в сказочный мир, и я старалась эту веру поддерживать. Много раз я читала и рассказывала ей сказку о Дюймовочке. Однажды ранней весной я принесла домой три тюльпана. Торговцы цветами приспособились одевать на каждый тюльпан тончайшую красную резиночку, чтобы не повредить лепестки при транспортировке. Снимешь резиночку - тюльпаны

тотчас и распускаются. Если вы помните сказку Андерсена, то знаете, что Дюймовочка находилась в чашечке цветка, который раскрылся после того, как молодая женщина его поцеловала. И вот я предлагаю Линде поцеловать тюльпаны, а сама незаметно освобождаю их от резинок, и они раскрываются. Восторгу нет предела. Наша жестокая реальность так далека от сказочного мира! Так хотелось, чтобы калиточка, ведущая в него, оставалась для Линдочки приоткрытой как можно дольше!

Линда подрастала в двух домах, а потому и пила она из разных источников. Невозможно заключить её в волшебный мир сказки и оградить от реального, можно лишь постараться смягчить его влияние, что-то ему противопоставив. А реальный мир становился день ото дня всё прагматичнее и прозаичнее. Линде было немногим более трёх, когда она меня просто ошеломила вопросами, в которых странным образом преломился весь наш суетный быт последних месяцев, когда вдруг население охватила приобретательская горячка, когда люди бросились записываться в очереди за мебельными гарнитурами, коврами, пылесосами, телевизорами. Причём записывались не потому, что их в доме не было, отнюдь нет, приобреталось впрок или с целью перепродажи, а то и обмена. Это было выгодным вложением денег, которые начали обесцениваться. Одни магазины принимали открытки-заявки, в других действовала живая очередь, в которой нужно было отмечаться по утрам и вечерам. Бабушка Лора состояла во всех возможных очередях, и эта проблема, видимо, бурно обсуждалась в доме. Как же это сказалось на Линде?

Идём мы как-то из детского сада, и вдруг она спрашивает: “Трета, а мама долго в очереди стояла за мужем?” Я просто обомлела и пока соображала, как бы объяснить, что замуж выходят без посредничества магазина, она закидала меня вопросами: “А где она его брала, в коммерческом? А меня уже записали? А два можно?” Коллеги на кафедре от души хохотали, слушая мой рассказ. Они знали Линду, время от времени я приводила её в институт. Сама читаю лекцию, а внучка под присмотром лаборантки рисует или печатает на машинке. Итак, Линдины вопросы всех позабавили. А между тем не смеяться - плакать от них хотелось. Детское сознание впитало перемены в психологии общества. Ребёнок в силу своей бесхитростности обнажил то, что взрослые как-то маскировали: рыночные отношения глубоко пронизали всю нашу жизнь. А поскольку мы не знали иного капитализма, иного рынка, кроме как дикого, то хищническое начало, хватательные инстинкты выступили

на авансцену и стали определять отношения.

Пройдёт шесть лет, и Линда расскажет мне при встрече, что у них в классе ребята одалживают друг другу деньги под проценты. Речь идёт о маленьких суммах, но проценты идут. Мой вопрос, считает ли она правильным брать проценты с подруги, и рассуждения о том, что, может быть, стоило просто выручить её, коль ей сейчас необходимы 10 лей, а когда-нибудь она или кто другой тебя выручит, не встретили у Линды понимания. После четырёх лет разлуки Линда впервые не понимала меня. "Но ведь в банке, Грета, такие правила," - сказала она без тени сомнения. Её мама работала в банке, и Линда бывала там ещё чаще, чем у меня на кафедре. А уж после нашего отъезда банк и вовсе стал для неё родным домом. Порядки банка приобрели непререкаемый авторитет в её глазах. И я не решилась его расшатывать. Дело, конечно, не в банке. В конце концов не у всех же её одноклассников родители работают в банках, правда, почти у всех они связаны с ними (Линда учится в элитном румынском лицее, что по карману лишь состоятельным людям). Да, дело не в банке, а в новой морали, которую я не могу принять. А банк, где работала Инга, всё же рухнул в результате афер его руководителей. Но это совсем иная история, хотя на Линдиной судьбе она сказалась. Мы же вернёмся в сказку:

Спасает сказка от невзгод -
Пускай тебя она спасёт.

Пришла пора рассказать о Мохнатике. Он появился вроде бы ненароком, неожиданно, но прочно вошел в нашу с Линдой жизнь. Желая ограничить естественную склонность ребёнка к сладостям, я выделяла ей перед дневным и ночным сном лишь одну дольку шоколада. А чтобы лишить Линду соблазна заниматься вымогательством и требовать "Ещё!", объясняла, что шоколад принёс Мохнатик. Поскольку он очень мал, больше, чем дольку, он притащить просто не в силах. Линда жаждала его увидеть, но вскоре осознала, что это не так просто. Мохнатик жил на балконе в норке за шкафом. Он не любил появляться на людях и всегда норовил прошмыгнуть незаметно. Она подолгу караулила его, но проследить, как он появлялся и исчезал, ей всё не удавалось. Происхождение Мохнатика было таким же загадочным, как и он сам. Но поскольку Линда добивалась узнать, откуда он взялся, пришлось в первой же сказке осветить именно этот вопрос. Впрочем, как известно, все исторические сочинения и даже пародии на них, вроде "Истории

одного города” или “Острова пингвинов”, начинаются главой о происхождении. И я пошла путём, какой предписывала традиция.

Как начинаются сказки? Зачины-трафареты всем известны: “В некотором царстве, в тридевятом государстве...”, “Давным давно жили-были...”. Здесь они оказались неуместными. У нас всё должно выглядеть более современно. Соединение фантастики с реальностью, элементов волшебства с деталями повседневного быта, как известно, сильно повышает эффект достоверности. Это проверено маститыми писателями, вроде Гофмана или Уэллса, и было мною учтено. И ещё мне показалось интересным включить свою маленькую слушательницу в сказку, сделать её если не главной героиней, то хотя бы соучастницей. Тем самым открывались широкие педагогические перспективы. К тому же не лишне помнить, что любой человек более всего сам себе интересен и в книгах и фильмах пытается узнавать себя. Так что расчёт мой был верен, и я начала творить сказку из наших будней, из самого обыденного материала.

Сказка начиналась просто: “Однажды Грета поехала в Москву”. Действительно, что тут особенного? По своим научным делам я часто ездила в Москву, и Линде это было известно. Она даже дважды встречала бабушку на вокзале, видела поезд, вагоны, побывала в купе. А далее события в сказке разворачивались так: “Вошла Грета в вагон, нашла своё купе, поставила чемодан под полку, сняла пальто, повесила на крючок и села поближе к окошку. Поезд тронулся, замелькали привокзальные дома, голые деревья, затем пошла поля, виноградники, и вскоре стемнело. - Чай пить будем? - справилась проводница и вскоре принесла стакан крепкого чая. В это время Грета почувствовала, как что-то мягкое, как будто шелковистый мех, скользнуло по щеке. Скользнуло и исчезло. Грета достала булочку, сыр и начала ужинать. В это время тоненький голосок пропищал:

- Ой, как есть хочется!

- Ты кто?

- Я - Мохнатик.

- Ты где?

- В кармане твоего пальто. Ой, осторожнее! Я боюсь щекотки.

- Что же тебе дать поесть?

- Я вообще люблю грызть зёрнышки риса, но у тебя ведь их при себе нет. Дай мне, пожалуйста, кусочек булочки.

Так завязалось знакомство. Мохнатик прибыл с Гретой в Москву. На Бородинском мосту, когда он некстати вылез было из

кармана, его чуть не сдуло ветром прямо в Москву-реку. Но Грета успела его схватить на лету и водворить на место, в карман, где он и жил, пока она находилась в столице. Вместе ходили они в Ленинку, т.е. в библиотеку. Мохнатику там было не очень-то интересно, к тому же он с непривычки отравился в библиотечной столовой (вы не поверите, это не столовая, а настоящая тошнилровка, там и крошками можно отравиться) и маялся животом, но зато поход в столичный зоопарк стал для него настоящим праздником. Там он встретил своего то ли закадычного друга, то ли родственника - мишку-коала, забрался к нему на дерево, где они сидели в обнимку и долго беседовали. Этой замечательной истории посвящена особая сказка - "Мохнатик в Московском зоопарке".

На обратном пути в Кишинев в самолёте Мохнатик рассказал Грете, что скоро у неё появится внучка Линдочка и он, Мохнатик, будет её охранять и добывать ей шоколадки. Но главный его подарок - лоскут чёрного меха, который служил ему прежде шубкой, Линда получила прежде, чем он стал навещать её регулярно в нашу спальню и оставлять то на подушке, то под ней дольки вкусного шоколада. Теперь вам понятно, какую ценность может иметь простой кусочек кроличьего меха, какую роль он может играть в детской жизни?

Линда требовала всё новых историй, связанных с похождениями и проделками этого очеловеченного зверька. Она помнила их все и поправляла меня, если я, засыпая и еле ворочая языком, начинала нести околесицу. Это были сказки о повседневной жизни: "Как Мохнатик заблудился в институте", "Как Мохнатик покупал груши на базаре". Этот ряд можно продолжать до бесконечности. Сказки помогали осваивать мир, ориентироваться в нём, в них была упрятана мораль: что такое хорошо и что такое плохо. Постепенно сложился целый сериал.

Мохнатик, можно сказать, стал членом семьи. Даже наша домоправительница Катя, приходившая раз в два месяца, чтобы помочь со стиркой и уборкой квартиры, была посвящена в его загадочную историю. Появившись на пороге и расплываясь при виде Линды в широкой улыбке, Катя доставала из кармана конфетку и подавала ей со словами: - Только что на лестнице повстречался твой Махмудик, сунул конфетку и просил передать Линдочке, а сам куда-то помчался по своим махмудинским делам.

- Не Махмудик, а Мохнатик! - смеётся Линда и тут же, спохватившись, спрашивает с тревогой: - Катя, а во дворе не было овчарки? Точно? Ты смотрела глазами на все четыре стороны? А то

она может Мохнатика съесть.

Мохнатик сопровождал нас в короткой поездке в Одессу. Зная о предстоящей операции, решила хоть ненадолго вывезти Линдочку к морю. Неделю провела с ней на даче моей школьной подружки. Дача Аллочки на двенадцатой станции Большого Фонтана потихоньку старилась вместе с хозяевами: дом обветшал, сад зарос сорняками. Была в этой заброшенности своя прелесть, а главное - дышалось здесь легко, и весь день мы проводили на воздухе. У Линды появилась подружка. Внучка Аллочки, Юлечка, была в ту пору почти вдвое старше Линды, тем не менее им вдвоем было не скучно. Две головки - кудрявая золотистая и тёмная - часто склонялись друг к другу: Линда поверяла Юле свои секреты. Они забивались в укромные уголки сада, и мы не знали, о чём они шепчутся. Но однажды, когда Линда днём уснула, Юлечка спросила меня, правда ли, что с нами прибыл Мохнатик, и я поняла, что Линда поделилась с ней самой главной тайной.

Если в этом тандеме Линда признала лидерство Юли и охотно следовала за ней, то в отношениях со сверстницами она претендовала на роль первой скрипки. В соседнем подъезде нашего дома жила её ровесница Валя, крупная рыхлая флегматичная девочка с серыми сонными несколько навывкате глазами, вся розовая и округлая. Валя любила заходить к нам. Развитием Вали занимались явно недостаточно, в свои шесть лет она почти не различала букв и не могла тягаться с Линдой в математических играх. В этом союзе Линда верховодила. Не из-за умственного превосходства. Просто она - лидер по натуре. Но вот однажды к Вале приехали родственники с девочкой-первоклассницей. Валя забыла Линду и часами играла с новой подружкой во дворе, запруженном машинами. Линда порывалась тоже спуститься во двор, но дед не давал согласия. Отказ он объяснил тем, что, если её со двора украдут, то его повесят (не лучшая мотивировка, конечно, но интересно, как она "аукнется"). И всё же Линде удалось обрести свободу и выйти во двор, но Валя не приняла её в свою новую кампанию, и я впервые наблюдала Линдину реакцию на предательство и пережитое унижение. Я и не подозревала, каким страстям подвержена моя маленькая внучка.

- Я жестоко поссорилась с Валею, - выдавила она, утирая кулачком слёзы обиды. А далее, как бы отвечая деду, но не называя его, она навзрыд выкрикнула: - Пусть кого-то повесят, но лучше я умру и не буду жить!

Мы с Мохнатиком едва смогли её успокоить. Если ссора с Валею вызвала такой взрыв отчаяния, можно только догадываться,

какой драмой для Линды стала наша разлука, крушение привычного уклада её жизни. До сих пор меня мучит вина перед этим ребёнком, вина без вины виноватой ...

Спустя полгода после того, как мы уехали в Германию, Линда прислала в Кёльн склеенный ею бумажный домик с трубой и постельку для Мохнатика. Ведь он оставил ей свою шубку- мех, значит, ему нужно одеяльце. До недавнего времени домик стоял на подоконнике в нашей гостиной, окно которой смотрит на лужайку. Под окном в зарослях кустов - кроличья нора. По утрам поднимаешь жалюзи и видишь, как улепётывают вспугнутые кролики, смешно вскидывая свои белые попки с короткими хвостиками. Случаются смельчаки, которые продолжают сидеть, прядая ушами и поглядывая в мою сторону чёрными бусинами. Эти пушистые создания всегда наводят меня на мысли о Линдочке.

Во время наших коротких встреч в Кишиневе она в течение четырёх лет неизменно интересовалась, как и что с Мохнатиком. Я отвечала, исходя из ситуации: дескать, ждал-ждал тебя и ушёл к кроликам, иногда прибегает, ночует в домике и уходит. “А как ты узнаёшь, что он приходит?” - “Очень просто. Я ведь ему всегда оставляю зёрнышки риса. Нет риса - значит, был”. Похоже, Линду удовлетворяли мои ответы. Новых историй о Мохнатике она больше не требовала.

*- Поставь ребёнка в круг! Истица и ответчица,
станьте обе возле круга! Возьмите ребёнка за
руки, одна за левую, другая за правую. У настоящей
матери хватит сил перетащить его к себе. Тяните!*

Когда много лет назад я смотрела “Кавказский меловый круг” Брехта в московском театре Маяковского, мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь и я окажусь в ситуации несчастной Груше. А между тем такая возможность наметилась ещё до нашего отъезда, когда ничто не предвещало разрыва (по крайней мере, нам так казалось: моя доверчивость и самоуверенность сына, видимо, мешали разглядеть его уже наметившиеся признаки).

Нас предупредили о необходимости после операции оберегать Линду от инфекции. Первые два месяца ей нельзя было посещать детский сад. Сама Линда настолько прониклась важностью момента, что когда дед Буханов подхватил грипп, она заявила: “Я не буду им звонить. Вдруг Валера по телефону будет мне давать свой

запах”. Мы, как могли, ограждали её от “запахов”-вирусов, но через три месяца всё же отвели в молдавский детсад по соседству. Ночевала она теперь чаще у нас. И в садик ходила не на весь день, а на несколько часов. Прочту лекцию - и бегом за нею, так что обедала и спала она дома.

Однажды вечером, было уже после девяти, позвонила невестка. Линда заигралась и ещё не спала. Мать была недовольна и пообещала утром проверить, как она встанет и когда отправится в садик. Учитывая состояние внучки и свои возможности, я иногда отводила её в сад после завтрака. Так было и на этот раз. Линда сидела на кухне за столом. Ела она давно самостоятельно, но при этом у них с дедом был свой ритуал, своя игра, в которой участвовал мифический Бумбарашка, котятка, Винни-Пух и прочие симпатичные герои.

Инга влетела стремительно: спешила на работу. Холодно поздоровавшись, метнулась на кухню и стала строго выговаривать Линде за то, что она ещё не в садике. Выговор был адресован нам с дедом, мы это поняли и примолкли, как проштрафившиеся школьники. Линда ударилась в рёв. Вытащив из-за стола, мать проволочка её через холл в ванную (тащила за левую руку, где под лопаткой десятисантиметровой свежий шрам!) и заперлась там. Линдины отчаянные вопли вывели деда из столбняка, и он с криком “Сволочь!” бросился на дверь и вышиб её, сломав замок. Не говоря ни слова, Инга одела ребенка и увела её, плачущую, в сад. Когда я после лекции прибежала туда, воспитательница, пряча глаза, сказала, что мать запретила давать мне ребёнка, что девочка останется в группе до вечера. Линдочка при моём появлении начала рыдать, но подойти ко мне не осмелилась. Наше “отлучение” продолжалось несколько дней, но тут Линда заболела, и Инге пришлось сменить гнев на милость.

Этот скандал не то чтобы забылся, но был отодвинут новыми заботами, поскольку болезнь Линды оказалась затяжной - коклюш. В Кишиневе его эпидемия была в разгаре, но органы здравоохранения хранили молчание, дабы не сеять паники. Опыт Чернобыля никого ничему не научил и, видимо, не научит в этой стране. Паники не было, но и меры не принимались, и коклюш беспрепятственно гулял по садикам и школам. Диагноз внучке выставила я, доктор отнюдь не медицинских наук. Участковый врач с ним не согласилась и выписала девочку в садик. А через три недели диагноз подтвердил мой знакомый врач, которого мы посетили в детской больнице, преступно сея при этом инфекцию.

Болезнь протекала приступами: после двух недель спокойствия Линда вновь начинала заходиться в кашле, и конца этому не было видно. Нам посоветовали поводить её в специально оборудованную камеру, где можно было дышать парами соли (имитация микроклимата соляных пещер). Весь май дед ходил с ней туда как на службу. Линда по часу дышала там, а чтобы она дышала “правильно”, под наблюдением, деду тоже купили абонемент. Не знаю, сохранилась ли ныне эта камера на Киевской, первая ласточка частного бизнеса, или её задушили налогами, но нашей девочке она очень помогла. Кашель отступил, и на мой день рождения мы с Линдой при всём честном народе (собралась кафедра, я объявила в институте, что осенью уезжаю) спели дуэтом песню моей молодости.

Сиреневый туман над нами проплывает.
За тамбуром горит полночная звезда.
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкой я прощаюсь навсегда ...

Нам обеим не дано было знать, что она станет песней нашей разлуки, но пели мы с таким чувством, будто и впрямь навсегда прощались. Как сейчас вижу, как мы стоим у окна, обнявшись, Линда на стуле, вровень со мной, головы наши склонились друг к другу, и Линдочка старательно выводит мелодию:

Запомню навсегда всё то, что ты сказала,
Пожатье милых рук, ресниц твоих полёт.
Запомню навсегда прощальный шум вокзала.
Ещё один звонок - и поезд вдаль уйдёт ...

Ни вокзала, ни поезда, ни звонка на самом деле у нас не было. Спустя четыре месяца во двор въехал автобус, куда погрузили массу коробок (одних книг набралось с тонну), а потом сели мы с сыном и мужем. Накануне пришли невестка с матерью, привели Линдочку проститься. Больше всего боялась зареветь в три ручья и напугать внучку. Она, бедняжка, не осознавала всего происходящего. Поняла, что они с мамой остаются, поскольку днём ранее я вынула и вернула ей Слоню. Как она себе всё это объяснила, не берусь судить. Мы на эту тему говорили уклончиво: пусть, дескать, поначалу папа устроится на новом месте, а потом и они с мамой приедут. Нам самим хотелось в это верить... Возможно, когда-нибудь Линда и узнает правду, но только не от меня. В споре Луки и Сатина я держу

сторону старца-утешителя.

- Счастливого пути! - только и сказала на прощанье невестка. Слова прозвучали двусмысленно. Минуло и забыто время, когда она, смеясь, призналась, что девчата на работе завидуют ей и все хотят замуж за Грету Евгеньевну.

Когда лифт пошёл вниз, я выскочила на площадку и из окна глядела им вслед. Линда шла, держась за руку матери. Я не окликнула её, но быстро загадала: обернётся - всё ещё наладится. Не обернулась. Сиреневый туман разлуки застилал глаза ...

Для шестилетнего ребёнка слова “прощаюсь навсегда” - пустой звук. Дети слабо ориентируются во времени, ещё не ощущают его бега или замедленного течения, а где уж им прочувствовать всю безысходность строк: “Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду”. Вы ведь помните “Юнону” и “Авось” ? В этих словах - судьба моих родителей, навсегда разлученных в страшном тридцать седьмом, когда мне довелось появиться на свет Божий.

К счастью, мы с Линдой расстались не навсегда. Мы с ней свиделись через год и не разлучались почти целый месяц. Когда пришла пора возвращаться в “неметчину”, последнюю ночь я провела подле Линды, почти без сна, прислушиваясь к её мерному посапыванию. Я думала тихонько выбраться из постели на рассвете, не будить внучку, но сон её под утро был чутким. При моей попытке встать, она ухватилась за меня и, прижавшись, прошептала: “Грета, не уезжай!” - “А как же там дед один?” - “Пусть к нему папка поедет, а ты останься!” Она беззвучно, горько заплакала. За год разлуки она поняла, чего лишилась, и предприняла робкую попытку вернуть себе Грету. Но тогда, при первом прощании, она не плакала. Я же уезжала в полной прострации. Провожаящие (ранним утром пришли самые близкие) смахивали слёзы. У меня их не было.

Когда автобус уже катил по Германии, на одном из складских сооружений или магазинов, проплывающих за окном, увидела родное имя. Большие неоновые буквы - ЛИНДА. Искоса глянула на сына: видел? Он ничем себя не выдал. В эти дни я заметила у него первые седые волосы, в его-то двадцать шесть лет!

Спустя неделю после нашего прибытия в пересыльный лагерь Унна-Массен на его территорию неожиданно-негаданно вкатил знакомый автобус с молдавскими номерами: привёз очередную партию еврейских “беженцев”. Шофёры согласились взять передачу в Кишинёв для внучки. Что купишь в лагере за пять минут? Схватила первое, что подвернулось, что для нас в ту пору было внове: ананас, йогурты, апельсины, шоколад. Важнее была счастливо открывшаяся

возможность передать живой, вещественный привет. Впопыхах нацарапала записку. Невестка была недовольна: стоило ли отрываться от дела, искать этот чёртов гараж, чтобы получить такую малость?! Впрочем, не стоит клепать на бывшую невестку. Мой сын не лучше: мои передачи, куда более содержательные, он воспринимает с зубовным скрежетом: - Опять что-то передала! Опять искать этот долбанный автобус! Ты меня заколебала!

Раздав сестрам по серьгам, продолжаю свой “плач”. Прошёл год немецкой жизни, и вот я в Кишинёве. Линда - уже первокурсница. Инга не препятствовала нашим встречам. Я поджидала внучку у школы. Вторую половину дня мы проводили вместе. Её отдали в молдавскую школу, но языком она ещё не владела и захаживала к воспитательнице детсада, которая помогала ей справляться с домашними заданиями. Прислушиваюсь с интересом. В своё время, когда сынишка начал учить молдавский, я вознамерилась составить ему кампанию. Однако учебник для начинающих оказался настолько бездарным, что у доцента-филолога руки опустились. А что уж говорить о десятилетнем мальчишке?! К тому же Роберт заболел болезнью Боткина, и, когда два месяца спустя вернулся в класс, дети дружно учили стихи, не понимая ни слова. Помочь ему я была бессильна. Лишь некоторые слова “открывались” по аналогии. Основу молдавского (то бишь румынского) составила народная, или “вульгарная”, а по выражению поэта Семёна Липкина, “ломовая латынь”. И хотя “латынь из моды вышла” ещё во времена Онегина, я её настолько успешно “грызла”, обучаясь на филфаке Московского пединститута им. Ленина, что доцент Тимофеева, о “зверствах” которой ходили легенды, поставила мне, первокурснице, вместо зачёта “отлично”, прибавив при этом нечто загадочное: “Быть может, пригодится при поступлении в аспирантуру”. Что могла знать об аспирантуре выпускница сахалинской школы, пусть даже медалистка? Но ведь и впрямь азы латинского ещё как пригодились. Но прямой потомок “ломовой латыни” не давался ни мне, ни моему сынишке. И тогда под общий смех (“Зачем вам учитель молдавского?” - недоумевали “проницательные” коллеги в 1978 году) была приглашена домашняя учительница. Она своё дело знала, но была на сносях, потому обучение продлилось недолго, и остались мы с сыном недоучками. Зато Линдочка сейчас пишет по-румынски куда лучше, чем по-русски.

В свои семь лет Линда переживала период увлечения шахматами, она даже успела побывать на “санированиях” (ещё

недавно она так называла соревнования) в Румынии и кого-то обыграть. Руководитель шахматной секции её подхваливал. Я могла наблюдать за её игрой: при внешнем спокойствии и кажущемся безразличии она была бойцом, внутренне подобранным и сосредоточенным. Математический склад ума она, видимо, унаследовала от отца, который довольно рано овладел искусством просчитывать ходы и разыгрывать в голове комбинации, преуспев поначалу не в шахматах, а в карточной игре, которой он обучился (сказать - не поверите!) у моих родителей. Частенько бывая у них в Одессе по случаю карантинных в детском саду или моих научных командировок в Москву и коротая со стариками зимние вечера, семилетний Роб из наблюдателя превратился в равноправного игрока в “Тысяча одно”, а вскоре стал и вовсе лихим мастером.

Спустя два года после нашего отъезда в жизни Линды произошли большие перемены. Их предвестником стало появление в доме серебристого пуделя (почти по “Фаусту”: в келью-кабинет ученого проникает чёрный пудель, а потом превращается в Мефистофеля). О четвероногом дружке Виконте Линда сообщила в записочке, и собачница Грета порадовалась этой вести. Линда нам поначалу писала часто, подписываясь: “Ваш котик Линда”, “Ваша ласточка Линда”. Мои обращения к ней эхом отзывались в концовках её писем. Одно из них было всецело посвящено событию чрезвычайному: Виконт на прогулке попал под автомобиль и чудом уцелел. Ума это ему не прибавило, но и природной жизнерадостности не лишило. В подарок Виконту в очередной приезд я привезла автоматический поводок. Тогда-то я и узнала, что у Линдочки появился “папа Женя”, от которого теперь зависела судьба наших с ней свиданий, их число и продолжительность.

Понятна логика мыслей и поступков Линдиного отчима: он создал новую семью, с прошлым должно быть покончено. Линда - тоже из прошлого, но её он готов принять при условии, что она не станет на прошлое оглядываться и вспоминать его. Значит, нужно пресечь её встречи-свидания с отцом и бабушкой. Отец хочет видеться с ребёнком? Через суд, при свидетелях, под надзором официального лица. Так и только так! Бабушка? Что ещё за бабушка?! Своих - пруд пруди! Он шутит; что женился сразу на четверых женщинах. - Приехала бабушка? Из Германии? Ну и что? Повидались - и хватит!

Взрослый дядя не хочет считаться с правом девочки на любовь, на общение с родными и близкими ей людьми. Он полагает, что у восьмилетнего ребёнка прошлого нет и не может быть. А

между тем выяснилось, что Линда помнит такие мелочи из нашей с ней жизни, о которых я давно позабыла. Она поражала меня этой способностью с младенчества. Ей было около полутора лет, когда умерла наша Симочка. И вот спустя несколько месяцев после похорон кроха бродит по маминной комнате, подымает полог покрывала на её кровати и ищет прабабушку: - Сима! Сима! Ты где? Так можем ли, вправе ли мы отступиться от Линды, если мы вошли в её память?

Дети, как, впрочем, и взрослые, жаждут любви. Никогда не забуду, как четырёхлетняя Линда спросила однажды: "Грета, ты ведь меня любишь больше всех, правда?" Могу ли я лишить её этой уверенности во имя спокойствия вполне достойного, но непонятливого мужчины? Он отказывает мне в свиданиях, возможно, он ревнует Ингу к её прошлому, возможно, он страдает, но ведь прекратить общение с внучкой - предать её. Я и без того чувствую себя перед ней виновной. Без вины виноватой. Отказаться от встреч придётся только в случае, если об этом попросит Линда. Остаётся встречаться тайком.

Пользуясь отсутствием мужа (командировка), Инга отдаёт мне Линдочку на три дня. Какое счастье - целых три дня вместе! Мы проводим их у моей подруги. Её дочь рисует Линдин портрет. Из густого лилового мрака проступает родное лицо. Знакомая прическа "под Мирей Матье". Чёлка-пчёлка почти закрывает лоб, тёмные волосы падают к плечам, загибаясь на концах и как бы заключая лик в овальную раму. Большие затененные глаза смотрят печально. Улыбка настолько неуловима, что складочка у губ кажется скорее скорбной ...

Позируя Тане, Линда написала свою первую картину маслом - дерево в цвету. Где только мы ни побывали за три дня! И на качелях-каруселях в Рышканском парке, и в оперном театре, и по своему маршруту прошлись. В городском саду встретили бывшую соседку, хозяйку Китти. Выгуливала она роскошного королевского пуделя, собаку своих богатых квартирантов (многие жильцы нашего "элитного" дома теперь спасались тем, что сдавали квартиры, сами снимали похуже, подешевле, а разница, "доход", позволяла им как-то держаться посреди всеобщего обнищания). С аристократом-пуделем мы объяснялись на его родном языке. Породистый пёс, как и его хозяева, был родом из Филадельфии.

На парковых дорожках Линда демонстрировала своё мастерство: лихо носилась на роликовых коньках. А я без усталости её фотографировала. На снимках, сделанных в эти три дня, Линда -

сплошь смеющаяся. Необычно оживленной предстаёт она в игре с кошкой Дуней, грациозным, забавным созданием редкой масти: светло-серой в тёмную полоску. На фоне этих фотографий портрет, сделанный Таней, особенно поражает. Художник (а Таня - человек одарённый) видит глубже. И ей открылись такие глубины печального одиночества ребёнка, в которые, признаюсь, мне страшно заглядывать. Я покинула мою девочку, когда я более всего была нужна ей, и эта вина, эта мука всегда со мной. И когда муж говорит мне: - Линда - отрезанный ломоть, я каменею и неизменно отвечаю: - Ты не закончил фразу, она звучит так: - Линда - отрезанный ломоть моего сердца. И он умолкает.

С возвращением Ингиного мужа из командировки встречи наши стали реже. На городскую выставку кошек, куда мы было собрались, Линдочка пошла без меня, с мамой и “папой”, который купил ей за сто долларов котенка-перса. Видимо, игры с Дунькой не прошли даром. Отчим не скупился на подарки, но когда два года спустя Линда при гостях в застолье объявила: “А наша кошка опять беременна”, он велел ей выйти вон.

Непосредственность воспринимается взрослыми неоднозначно. Склонность Линды фантазировать, сочинять расценивается в семье как лживость. Оскар Уайльд, как известно, считал, что миссия писателя - сочинение красивых небылиц. Английский эстет связывал упадок современной литературы с упадком искусства лжи. Но что им Оскар Уайльд?! Они слышали лишь о кинопремии Оскар. Бабушка Лора ошарашила меня потоком жалоб на Линду. Она, дескать, избалована, хочет, чтобы только ею и занимались, наконец, она врёт. - Это ещё тот подарок! Мы ещё от неё будем иметь!- в сердцах завершила она свою обвинительную речь. Это был косвенный выговор мне за последствия моего воспитания. И бесполезно было объяснять, что из безобидной детской склонности к выдумке вырастает не преступник, а художник. С возрастом способность удивляться, безоглядно верить и фантазировать угасает. Человек многое теряет на пути взросления и мужания. И совсем не обязательно иметь педагогическое образование, чтобы это понимать.

Линде не повезло: близкие её не всегда понимают. Мне же её склонность к выдумке близка. В свои одиннадцать лет я сочинила и заставила поверить весь класс во главе с учительницей в детективную историю. Зачитавшись “взрослой” книгой “Великие женщины”, упрятанной мамой от ребёнка в запертый шкаф, я прогуляла уроки. Бедная мама не догадывалась, что добратся до притягательной книги легко: сдвинув крышку нашего выдавшего

виды шкафа. Однако в школе предстояло объяснение. В своё оправдание я придумала “уважительную” причину: якобы утром, когда я направлялась в школу, неизвестный напал на меня и потащил в “развалку”. На пути к школе “развалок”, т.е. разрушенных бомбами домов, руины которых ещё не были разобраны, встречалось предостаточно. Послевоенное время было разбойное. Банда “Чёрная кошка” наводила страх и ужас на одесситов. Так что рассказ мой был глубоко укоренен в реальности. По моей версии, нападавший не смог сделать своё чёрное дело, т.к. я кричала и упиралась, а в это время появились прохожие. Однако, прежде чем убежать, бандит успел ножом порезать мне руку. Для правдоподобия я долго ходила с забинтованной рукой. Бинтовала я её в подъезде по выходе из дома, а возвращалась, не удосужившись снять повязку, ведь домашние были на работе. Рассказ мой не вызвал подозрений, поскольку я была отличницей и от уроков не отлынивала.

Времена, как известно, повторяются. История, которая якобы приключилась с Линдой и её подружкой, произошла полвека спустя после моей одесской. Рассказывала она очень естественно, увлеченно, понижая местами голос до шепота, помогая себе мимикой. Глаза горели, её волнение передалось мне.

- Сидим мы с Зойкой у них дома, на Чеканах. Ты знаешь Зойку? Нет? Это дочка секретарши в Лориной фирме (даю справку: деловая бабушка Лора не только состояла во всех очередях, но успела ещё до нашего отъезда организовать коммерческую фирму, которая по сей день успешно выдерживает конкуренцию). Дома никого нет. Зойкина мама на работе. Мы - одни. Вдруг - звонок в дверь. Смотрим в глазок - а там трое дядек. Один говорит: - Откройте, девочки! Нам нужно проверить вашу плиту.

- Линдочка, я же тебя учила никому не открывать дверь! - не выдерживаю я.

- А мы им и не открыли. Но через полчаса снова звонят. Смотрим - стоит один, а за ним прячутся ещё двое. Передний говорит: “Мы ловим бандита, и с вашего балкона хорошо видна крыша соседнего дома, где он спрячется. Пустите, мы пройдем на балкон”. А мы же знаем, что Зойкин дом смотрит на лес и никакого дома перед балконом нет. Мы говорим: “Уходите, мы вам не откроем и позвоним в милицию”. А он говорит: - Если вы позвоните в милицию, мы сейчас поедem на работу к вашим мамам и убьem их. А чтобы вы их не предупредили, мы вам телефон перережем. А чтобы вы не вышли, мы оставим одного караулить на лестнице, а сами поедem в оффис.

В этом рассказе, как в зеркале, отразилась криминогенная ситуация нынешнего Кишинева, и у меня от ужаса язык присох к гортани. Между тем, Линда продолжала, строго следуя законам детективного жанра, и, наконец, приблизилась к финалу:

- Тогда мы с Зойкой связали простыни и стали спускаться с балкона.

- А на каком этаже квартира?

- На девятом, - не подозревая подвоха, без тени сомнения ответила Линда.

Только тут мне окончательно стало ясно, что всё от начала до конца придумано. Первые мгновения я пребывала в уверенности, что она рассказывает быль. За месяц своего гостевания я услышала от коллег и не такое. Из двенадцати кафедралов пятеро подверглись разбойному нападению, причём одной сломали челюсть, другая лежала с сотрясением мозга. Линдина “страшилка” вписывалась в городскую реальность. Закончив свой рассказ, она скороговоркой, между прочим, попросила не говорить маме о том, что она посвятила меня в эту ужасную историю. Я пообещала, тем более, что причина её просьбы мне была понятна. Накануне у меня был пренеприятный разговор с бабушкой Лорой. По сей день я слышу её обидные слова: - Линда - вруша, вруша!

Самое прискорбное то, что Инга вторила матери: - Вы представляете, что Линда говорит?! Что её воспитывала Грета, а мама ею до шести лет не занималась. Какая вруша!!!

Я даже не успела возликовать по поводу признания Линдой моих заслуг. Меня обуял страх. Слова Линды, обидные для матери, могут стать поводом для отказа во встречах с нею. С Инги станется заподозрить, что это я внушила Линде подобные мысли. Я испугалась не на шутку и, как покажет время, не зря. В следующий мой приезд встречи были сведены до минимума. Я стала прибегать в школу, чтобы свидеться с внучкой на большой переменке. Мы обе - Линда в классе, а я под дверью - с нетерпением ждали звонка и успевали за пятнадцать минут обменяться вроде бы ничего не значащими фразами. Вновь звенел звонок. На прощанье я фотографировала Линду, и она убежала в класс, а я шла по знойным улицам, мысленно прокручивая-проигрывая сказанное ею, и извлекала крупницы сведений о Линдиной жизни. Но и эти короткие встречи были прерваны. Когда в очередной - третий - раз я переминалась под дверью, неожиданно появилась Инга: - Что же это Вы делаете, Грета Евгеньевна?! Вам было позволено прийти попрощаться, а вы ходите и ходите. Ребёнка воспитываю я. Я не

хочу, чтобы мне мешали!

- Помилуй, Инга, чем же я могу помешать?

Прозвенел звонок, Линдочка выскочила к нам, но Инга строго приказала ей вернуться на в класс.

- Я разрешила Вам прийти проститься с ней, а вы злоупотребили. А Линда после этих встреч плачет, требует особого внимания, становится неуправляемой. Вчера позвонила Жене на работу и потребовала, чтобы её отвезли домой, он в это время вёл планёрку. Совсем обнаглела!

Я дала Инге слово, что больше не прийду. Она разрешила проститься с Линдой. Моя девочка дрожала, как осиновый лист. Простились мы под грозным взглядом её мамы. Я знала, что она разрыдается в классе. Я уходила, оставив внучку наедине с её горем. Слово, данное Инге, я сдержала.

В мой последний приезд история повторилась. Мне позволили лишь лишь одно длительное трёхчасовое свидание. Встретились мы в школе. Линда знала и ждала. Я заглянула в класс до звонка. Она выскочила в тамбур, прижалась ко мне, и я почувствовала, как вздрагивает от рыданий её худенькое тельце. Она вытянулась за этот год, и её худоба стала особенно заметна. Слёзы заструились по лицу, но я опомнилась: - Ведь это от радости, правда, Линдочка?! Утирая слезы, боялась взглянуть ей в глаза. Через пять минут она вернулась в класс, а я стала дожидаться конца урока.

Наконец, наконец-то прозвенел звонок, и, взявшись за руки, мы двинулись вниз по улице к Пушкинскому парку. Мы не успели пройти и квартала, как Линда, поглядывая на меня сбоку, спросила: - Грета, а правда, что Изя мне не родной дедушка?

У меня перехватило дыхание. Ради того, чтобы отвадить Линду от нас, доморощенные поборники правды ступили на путь "разоблачений" и не пожалели ребёнка. Не знаю, что ожидала она услышать от меня. Ложь - даже во спасение - была теперь бессмысленной. И я сказала ей правду, добавив, что меня воспитывал тоже не родной папа, но он был добрым и меня любил: - И вы с Изей ведь любили друг друга ...

Линда не ответила и вымученно улыбнулась, жалкой такой улыбкой. Сердцу вдруг стало тесно в груди, горячая удушливая волна подступила к горлу. В романе Алексея Толстого есть эпизод: царевна Софья теряет голову при виде горестно-жалкой улыбки возлюбленного, князя Голицына. За эту дрожащую складочку в уголке губ она готова была спалить пол-Москвы. В эту минуту я понимала эту женщину.

До парка дошли молча. Присев на скамейку, рассмотрели привезённые подарки. Среди них был и фотоальбом о нашей с дедом поездке в Лондон. Я трудилась над ним долго: каждый снимок сопровождала поясняющей надписью, готовила краткие исторические справки. Получив под старость возможность увидеть если не мир, то Европу, я хотела разделить свою радость с друзьями, кому поездки за границу были недоступны. Так появились “Прогулки по Парижу”, “Израильские заметки”. Отстучав их на машинке (час компьютера ещё для меня не пробил), я отсылала их в Кишинев, Уссурийск, Москву. Но Линде не под силу прочесть их, для неё придуман рассказ о путешествии в фотографиях. Бегло просмотрев альбом, мы пускаемся в путь. Линда намерена показать мне дом, где живёт её мальчик.

Господи, как летит время! Кажется, вчера получили от неё “говорящее” письмо. Она наговорила всякой всячины и напела на “метафон” свою новую песенку:

В одной маленькой избушке - шке - шке
Жили-были две старушки - шки - шки.
И была у них собачка - чка - чка
По прозванью Кукарачка - чка - чка ...

А сегодня она доверяет мне тайну своего первого увлечения. А после нового года она напишет открытку, где сообщит, что на Рождество наколядовала себе на кофточку и была в обновке на дискотеке. “Я была в ней прелестна” - заканчивает она своё послание. Кто-то отметит её раннее женское кокетство и самомнение, я же горжусь тем, что моя внучка, хотя русский язык стал для неё почти иностранным, прибегла к любимому слову толстовских героев. Ведь это Наташа постоянно твердит: “Ах, какая прелесть!” А Николай Ростов, как бы вторя сестре, дивится: “Что за прелесть моя Наташа!”. И откуда к моей маленькой прелестнице пришло это слово? Как она угадала его? Ну что за прелесть моя Линда!

В этот день напоследок она задала ещё один вопрос: - Грета, скажи честно, Мохнатик был или это твоя придумка? Она просила ответить честно, и я ответила. Почитай, своими руками похоронила сказку. И в этот же миг поняла: время сказок и, стало быть, детство моей Линдочки кончилось. Началось отрочество. Найдётся ли мне в нём место?

Виталий Волков

"ВИШНЕВЫЙ САД"



В Измайловском парке по асфальтовым дорожкам гулял сухой злой ветер. Он гонял с места на место ржавые листья, присвистывал, залетая под гнутые крышки зеленых пустых мусорных баков, отвечавших ему стариковским скрежетом петель, задувал холодом под воротник, заползал в рукава куртки, настойчиво жалил шиколотки.

- Ну что, не замерзла? - спросил свою спутницу габаритный мужчина, одетый явно не по погоде.

- Нет, не замерзла. Дай хоть воздухом подышать...

Девушка говорила тихо, но любому постороннему прохожему стало бы ясно, что она раздражена. Правда, прохожих не было, а мужчина лишь посмотрел печально на пустую дорожку и на скребущиеся об асфальт кленовый гербарий.

- Смотри, как евреи из Египта, - он указал на убежавшие из-под ног листья.

- А у нас Ленка Чернова в Штаты уехала со своим евреем, - оживилась девушка. - Скоро все девушки наши разъедутся, - продолжила она то ли в своем частном, то ли в более общем смысле.

- Чернова, это толстая такая? Та, что на Новый Год шампанским упилась? Ей в Америку в самый раз.

- Почему это ей в самый раз, а мне нет?

- А там все американцы толстые. Они от гамбургеров жиреют. Как на дрожжах растут.

- Ох да, я и забыла, ты же телевизор смотришь, ты же об американцах теперь все знаешь. Вот только Чернова тебя спросить забыла, как там ей придется.

- Ладно тебе. Я же наоборот, что ей там хорошо, в самый раз будет.

- Вот найду себе еврея, и тоже в Штаты.

Мужчина насупил. Он остановился, прицелился и наступил лакированным туфлем на проползающий мимо лист. Тот хрустнул, как жареный картофельный ломтик, и замер под подошвой.

- Поехали на неделю в Египет? - предложил мужчина, не сходя с листа, будто опасаясь, что тот лишь коварно притворился мертвым и, стоит поднять ногу, убежит вовсю. В Штаты, есть гамбургеры.

Девушка тоже остановилась и обернулась.

- А что с тобой там делать? В Греции две недели пропарилась, так ничего и не видела! Тебя ведь дальше пляжа и кабака не вытянуть.

- Да что ж там еще делать? Мы ж отдыхать ездили! - лицо любителя кабаков приняло совершенно детское выражение, несмотря на густые, хоть и короткие, усы и заметные мешки под глазами.

- Лешенька, милый! Светка Гальцева только вернулась, так она рассказывала: и в Афинах была, и всякую там архитектуру смотрела, скульптуры видела. Фотографий всяких навезла. А мы, как поплавки - ныр-дыр, ныр-дыр. Вот все твои говорят: "Леся Бугров у нас интеллигент в натуре, да?" А ты меня хоть раз в театр бы пригласил. Или, там, на выставку. Рыжая Лариска у меня всегда через плечо списывала, а сейчас со своим хахалем ко всяким художникам ездит, стихи начала царапать, дура, словам специальным выучилась.

- Ну? А тебе что, завидно, что ли? Я тебя в два счета таким специальным словам обучу, что у Лариски твоей от удивления морда лица треснет! - Леша поднял, наконец, ногу и осмотрел раздавленный лист, чем-то напоминавший желтый полуразрушенный скелет, найденный в сумерках.

- Да при чем тут слова, - девушка покачала головой и откинула упавший на лоб локон, - при чем? Мне молодости осталось лет пять, а потом кому я нужна стану?

- Ну что с тобой? Маленькая моя.

- А то. Лет пять еще погуляешь, а потом печенка тебе скажет: "Лешенька, я устала." И усадишь ты свою маленькую под домашний арест, заставишь детей тебе рожать, и все - вот она, моя жизнь. Если тебя до этого твои дружки не угрохают. А если угрохают, то мне одна дорога - найти себе еврея, и в Штаты.

- Ну и ищи, - обозлился Алеша, - вон, походи, пошукай здесь по парку, а я, пожалуй, поеду. Меня здесь что-то не греет.

- Да, найдешь его, - с горечью в голосе откликнулась

девушка. - Они дур не любят. Ладно, поехали греться. А еще говорил, что у тебя дед из Сибири...

* * *

Весь следующий день Алеша страдал от дурного настроения и сосущей боли в правом боку. Так что просидев часов до четырех в офисе безо всякого толку, он собрался отправиться домой, но передумал и решил навестить сына.

- Ты куда? Сегодня ж вечером именины у Казаха, - удивился коллега Витек.

- Не, сегодня день не здался. Поеду, сына навещу.

- А, дело хорошее. Я своего уже месяца три не видел. - Витек усмехнулся и добавил - Вот бабы! Говорит мне: хватит ему пистолеты всякие таскать, купи ребенку куртку модную. А я в этих размерах, как чукча в космонавтике... Подожди, довези до центра.

"Точно, надо подарок купить", - подумал Леша и еще удивился: Витек, хоть и бандитская рожа, а уникам. Он же ходячий справочник, помнит все спецификации, все цены на металлы за последние лет сто, и на их стрелках с партнерами - существо просто незаменимое. А вот, надо же, детских размеров запомнить не может. Смешная жизнь.

- Поехали. Ты сам-то что, без колес?

- Представляешь, какие-то придурки вчера шины прокололи. Шантропа! Не, точно надо на "Волгу" садиться. Или на "Москвич". Народ у нас - хть, придурки, иномарок не могут пережить. Луддисты!

Лешу почему-то задели эти "луддисты", но он успокоил себя тем, что Витек, наверное, тоже когда-то учился в средней школе и историю английского рабочего класса "воленс-неволенс" зацепил. Ну, а с его памятью...

- Ишь ты, "луддисты"... Что ж ты размер ребенка запомнить не можешь?

- Да на хрен мне этот размер? Пускай скажет по-человечески: "Дай денег", и идет себе, сама ищет... Модную... Я что, Пьер Карден? Откуда я знаю, какая у них сейчас модная?.. Ну, поехали?

* * *

Алексей долго искал место у "Детского мира", желая встать поближе к магазину.

- Ты паркуйся прямо так, во второй ряд, - советовал Витек.

- Так они ж не выедут.

- Подождут. Мы ж не будем час ходить? Смотри, одни "Жигулята", чайники. Они на работу не спешат.

- Почему не спешат?

- Потому что у них нет работы. Был бы нормальный "джоб", ездили бы на нормальных тачках, я так думаю. Как мы с тобой.

- А, может, они колеса берегут, - съязвил Леша, но попал в "молоко".

Витек намека не оценил.

- Вон, вон, смотри, место впереди, слева. Давай, рвани, пока синяя "шестерка" туда не влезла. Ну!

Леша дал по газам и успел занять позицию перед "шестеркой", осторожно паркующейся задним ходом. Но та, несмотря на свою неторопливость, поздно заметила появившийся в тылу "Ауди" и подслеповато ткнулась в него бампером.

- Ах ты чучело рязанское, тих тебя пых, - изумился Витек и выскочил из машины.

Пока оотуда вылез и Леша, он уже извлек на свет божий водилу и тянуд его за галстук, заставляя нагнуться, чтобы как следует рассмотреть нанесенный ущерб.

- У тебя, чудила, что, очки запотели? Или у твоей башни сегодня выходной? - кричал Витек, дергал безжизненный галстук и готовился при первом же слове возражения сунуть незадачливому автомобилисту каменным кулачком в морду. Но тот молчал и лишь упирался ладонями в капот, да растерянно моргал.

- Во подонок, а? Думаю, на штуку тебя посадил. Смотри, бампер аж в капот вмяло!

Леша устало огляделся вокруг. Несколько любопытных, наблюдавших ДТП, тут же отвели глаза, делая вид, будто заняты совсем другими делами. Лишь завернутая в ватник лоточница, сама словно набитая изнутри ватой, глядела на Лешу так, как глядят в феврале, через холодное окно, на заваленный серым снегом пустой двор.

- Ну, чего ты там булькаешь? Денег давай сейчас. А то пойдет крутить по счетчику. Что? Что? Ты в такси раньше ездил? Там рублекилометры были, а у нас теперь суткобаксы. Десять процентов в день.

- Отпусти его, задушишь, - Леша подошел поближе и заправил человеку под пиджак его галстук. - У тебя деньги-то есть?

Человек сжал в плечи голову и снял очки.

- Я не видел. Не видел, - в отчаянии прошептал он.

- Чувачок, ты открой уши и отвечай на вопрос. Грины платить будешь или нет? - Витя перестал орать и заговорил вкрадчиво.

- Буду. Только у меня так много нет. У меня сейчас нету.

- А мы обождем. Машину продай, купи себе велосипед. Трехколесный. Или ролики. Говорят, в Европе модно. Вот сейчас номера твои перпишем, счетчик включим и поедем ждать. Понял, чувачек?! Ты должен быть понятливый, вишь, в прикиде, при галстуке. Ты, наверное, доцент! Век воли не видать, доцент...

- Я не доцент. Не доцент я. Я при театре. Хотите, я билетами в театр буду платить?! Ну, миленькие мои, а?

Витя от хохота присел на капот.

- Артист, Леха! Билет в театр! Ну, ты видел такого... Это сколько же билетов ты нам на штуку баксов натаскать собираешься? Наверное, всю нашу братву можно раз по пять окучить! Прикинь, Бугров, Казаха сводить в театр с пацанами, всем бабочки одень...

- А ты в какой театр можешь? - оборвал приятеля Леша и поправил пиджак на плечах у маленького человека.

- Я? В любой. Мы же меняемся. Меня все знают, куда хотите достану.

- А какой сейчас самый крутой спектакль?

- Самый крутой? - человек выпрямился, стал серьезным и важным, как продавец в ювелирном магазине. - Самый крутой сейчас - "Вишневый сад" в "Театре без вешалки".

- По Чехову, что ли?

- По Чехову. Только не в Художественном, а у Полтаровича.

- Леха, ты чего воду мутишь? Мы с тобой за штукарь гринов не то что "Вишневый сад" посмотрим. У нас Полтарович этот под поллитрович сам и дядю Ваню сыграет, и Чацкого, и этого, Кармазанова, - вмешался Витек.

Хватать театрала снова за галстук он уже не решался, но окончательно от этого желания, кажется, не отказался.

Но Бугров на приятеля внимания не обращал, зато обратил внимание на то, что за хмурой пеленой прошедшего дня, как за нечистой занавеской купе в поезде дальнего следования, тронувшемся, наконец, под утро с забытого богом полустанка, забрезжило, мелькнуло что-то живое.

- Ох, миленькие мои, на сегодня тяжело. Сейчас ведь уже пять.

- Ты чего, чувачек, не в себе? - подал голос Витек. - Тебе, видать, и правда башку отстрелить надо, тогда начнешь умом

раскидывать. По асфальту. Тебе же говорят: сегодня! Или штуку неси.

Человечек с мольбой заглянул Бугрову в глаза:

- Завтра лучшие места будут. Клянусь!

- Не, - Леша покачал головой, - мне сегодня нужно. Мне очень нужен доктор Чехов. Понимашь?

- Ага.

На сей раз театрал посмотрел на Бугрова с сочувствием.

- Достанешь?

Тот лишь развел руками.

- Один?

- Леха, бери два, с Ленкой сходишь. Чего ты там один потерял?

- Не, один пойду. Скажу Ленке - в театре был. Если понравится, завтра вдвоем сходим. Достанешь?

- Мне б заранее. Если заранее скажете, чего ж не достать?

- А для детей что-нибудь дельное знаешь? Я б сына в театр сводил. А то растет как сирота.

- Сколько лет ребенку? - человек надел очки и превратился в доктора в детской поликлинике.

Бугров задумался о возрасте сына. Вроде только что пятиление праздновал, а когда это было, год ли, два назад - бог ведает.

- Ну что ты там считаешь? - спас его Витек. - Моему оглоеду пять, твой - на год старше. Один пишем, два в уме, значит, шесть.

- Шесть лет - это "Кот в сапогах". У Вахтангова. Это мы достанем. Два? Три?

- Четыре! - вставил Витек. - Четыре достань. Пускай мой тоже к искусству приобщается. Вот и подарок нашелся. - Он довольно потер друг о друга сухие ладошки. - Я из подарков только пистолеты могу покупать. Вот, думаешь, надо Антоху игрой какой-нибудь обеспечить, а все равно пистолет тащишь...

- А девчонкам вместо цветов тоже пистолеты даришь? - поинтересовался Бугров.

- Девчонкам веников в жизни не дарил. Пустое дело. Я сам - подарок.

Витек мило улыбнулся театралу и хлопнул его дружески по плечу.

- А ты, братень, меня порадовал. Хочешь, на брудершафт выпьем? Угощаю.

- Миленькие мои, - то ли подыгрывая, то ли взаправду

зарыдал человек. - Нельзя мне. Я же зашитый.

- Э-эх, братень, беда. Я б не выдержал, - в голосе Виктора прозвучало искреннее сострадание. - Уважаю. Бабы, наверное, довели, знамо дело. Ладно, не грусти. Авось расштопают, заживешь как человек. Ну, держи пять. А то за билетами не успеешь.

Он протянул театралу руку, и тот пожал ее осторожно, словно боялся обжечься.

- А билеты как? Где заберете?

- Да у входа. Где театр-то этот, как его? Без вешалки?

Бугрову показалось странным, что хороший театр - и без вешалки. Он хотел узнать, сидят ли там прямо в пальто или вешают куртки на кресла, но постеснялся. Человек, кажется, угадал его мысли.

- Театр классный. А что в доме на слом ютится - так это сейчас самый цимес.

Прощаясь, Бугров обождал, пока Витек усядется в машину, и спросил у театрала негромко:

- Ты только, батя, не обижайся. Скажи, ты не еврей?

- Нет, клянусь Богом, - вновь испугался тот. - Я вам контрамарку в "Закрытый русский театр" могу... Хотите?

- Не, не хочу.

Бугров оставался в задумчивости.

- А я думал, ты еврей.

Человечка осенила внезапная догадка. Он подошел вплотную к Бугрову и очень тихо сказал:

- Может быть, вам в "Еврейский театр"?

- А там "Исход из Египта" идет?

- Нет. А это чей "Исход из Египта"? Это кого-то из приезжих? Евдокимова? Гринштейна?

Бугров не ответил и сел в машину, оставив растерянного театрала наедине с загадкой, что же это за постановка - "Исход"...

* * *

Ровно в семь Бугров прибыл в Последний переулочек, где получил из рук театрала билет на "Вишневый сад" и четыре - на "Кота в сапогах".

- Вы оделись тепло? - заботливо спросил человек, подозрительно посмотрев на легкие летние лешины туфли.

- А что, там не топят? - поинтересовался Бугров, сам

начавший сомневаться и в своей обуви, и в своем желании идти в театр.

Служитель Мельпомены не ответил, лишь посмотрел на часы - пора.

У Леши в большом его организме что-то екнуло, дрогнуло, какая-то маленькая, всеми забытая пружинка вдруг ожила и начала колебаться быстро-быстро, как будто он не в театр шел, а на защиту диплома лет так пятнадцать тому назад.

- А куда идти-то? Стройка какая-то, забор. Проводи, а то заблужусь здесь в вашем "Вишневом саду".

- Не заблудитесь. Театр - за забором. Вон вход, за калиткой, куда дама в шубе заходит.

- А буфет там есть? - словно утопающий за соломинку, Бугров схватился за воспоминание о театральном буфете.

- Буфет? Я не знаю, какой сегодня состав играет. Если первый, то поесть дадут. А если второй, то они сами все съедают...

* * *

Бугров отворил тихо скрипнувшую деревянную калитку. С одной стороны он догадывался, что скоро ощутит зверский голод, с другой... с другой, странное дело, ему любопытно было посмотреть на тот чудной оголодавший второй состав, который съедает все сам.

- Интересно, а реквизит они тоже едят? - пробурчал он и усмехнулся забавному слову "реквизит". - Транзит, паразит, мезозит. Шейный.

Он толкнул было низкую, обшитую листом металла, подвальную дверь, но задержался, увидев деревянную доску, висящую над входом. "Новые русские, отрубите трубы. Лопахин" - была выжжена на доске странная надпись, задевшая лешу циничной настойчивостью и огульностью. Если бы под ней стояла другая подпись, например, "инженер сцены Лопахин", или "начальник охраны Лопахин", или, на худой конец, "директор театра Лопахин", с этим было бы куда легче смириться, чем с таким вот "просто Лопахиным", котрому хотелось не то что "отрубить трубу", но просто оторвать голову, причем еще до спектакля, немедленно.

- Слушай, братень, а кто тут у вас Лопахин? - спросил Бугров у билетера, больше похожего на бендюжника, чем на работника театра.

- Прикинь, братэлло, - в тон ему отозвался бендюжник, - до сих пор не знаем, каким составом играем. Но если первым, то ты с

ним не разминешься. Сто пудов!

- У вас что тут, дворец спорта? Типа подвального минифутбола?

- Да, типа того. А Лопахин - играющий тренер.

После общения с билетером Бугров прошел по коридору и оказался в гардеробе, а точнее - в темной кишке, по всей длине которой тянулась доска с прибитыми к ней крючками. Пальто и шубы свисали с нее в таком количестве, что казалось, будто это оптовый склад соболиных и прочих шкур. "Сопрет! - громко сказал Леша, имея в виду Лопахина, ставшего ему неприятным лично и вполне конкретно. - Сопрет, наглая морда". Желая насолить этому Лопахину, он не стал снимать куртку и двинулся дальше, что впрочем не встретило никаких возражений со стороны дремавшего на стуле паренька, видно, призванного следить за соболями. Леша волновался. Ему не терпелось посмотреть на буфет, чтобы понять наконец, какой состав сейчас выйдет на сцену. Но вместо буфета прямо из кишки он оказался в совсем темном зале, где едва-едва, ощупью, натываясь на сидящих театралов, набрел на свободный стул, а точнее - табуретку. "Ну вот, попал в непонятное, - Бугров во мраке затосковал. - На хрена Лене сдался этот театр?!" Ей богу, лучше бы его авто сукнул директор цирка!

Зажегся слабый синий фонарь, осветивший маленькую дощатую сцену, над которой была протянута тонкая, поблескивающая серебром проволока. На проволоке балансировал мужчина. Он был грузен и неуклюж, так что в синем свете чем-то напоминал слона из мультфильма. Дрессированного слона-эквилибриста. Одет эквилибрист был в белую маечку на лямочках и темные тренировочные штаны. За спиной у него, как школьный ранец, висела массивная табличка с надписью "Лопахин". Бугрову ступни словно обрезало бритвой - этот большой, подростковый, школьный Лопахин стоял на проволоке босиком.

- Пришел поезд, слава Богу. Который час? - подал голос Лопахин и медленно заскользил вперед по леске.

Бугрову вдруг стало остро жаль Лопахина, как бывает жаль близкого родственника, у которого обнаружилась тяжкая болезнь.

- Девять вечера, - громко ответил Бугров, но осекся - на сцене, прямо под Лопахиным возникла девушка и, словно желая заглушить бугровский голос, закричала: "Скоро два".

Леше показалось, что этот крик спугнет Лопахина и тот

упадет с высоты. Он опустил голову, долго не поднимал глаз и старался не слушать, что говорит глупая девица и прочие суетливые люди внизу. Пахло вишней и табаком, резь в ступнях не проходила, и от этой боли особенно хотелось, чтобы все скорее кончилось, чтобы ушла, исчезла, отправилась в Париж рыхлая женщина, похожая на его бывшую тещу, чтобы продала, наконец, свой злосчастный вишневый сад.

Когда свет в зале погас совсем, а через полминуты зажегся ярко, Бугров понял, что это - антракт. Сцена была пуста, а у кром ее стоял огромный эмалированный таз с фишней. Зрители подходили и набирали горстями бурые ягоды. "Мороженная", - быстро определил Леша и направился в открытую боковую дверь. Долгожданный буфет показался ему куда больше зала. Он подошел к высокой барной стойке, такой высокой, что из-за нее, как из-за стены крепости, видна была лишь голова девчонки-буфетчицы. Бугров спросил пол-литра водки.

- Заедать будете? - равнодушно бросила она.

- А у вас что сегодня, первый состав?

- У нас как обычно. Бутерброды и суп дня. Или вы о пиве?

- Давайте суп дня. Хотя какой сейчас день! Ночь уже. Зима, а вы "Вишневый сад" играете. Вишня-то мороженая!

- Ну, на вас не угодить, - обиделась буфетчица и встряхнула нетерпеливо маленькой стриженной головкой, посаженной на длинную тонкую шею, как вишня на черенок. - Суп будете или нет? Вон люди уже идут, думайте живее. Весь перерыв - пять минут.

Бугров уселся на деревянную скамью, спиной к шумящим у стойки зрителям.

Бугров уселся на деревянную скамью, спиной к шумящим у стойки зрителям. Он глотнул водки, вытянул ноги и стянул ботинки. Боль в ступнях стала глуше, но совсем уходить, кажется, не собиралась. "С Ленкой вчера переходил", - подумал Бугров и покачал головой: прогулка с Ленкой была уж совсем не при чем. То есть, может быть, вообще не надо было ходить с Ленкой в этот пустой парк. Вишневый сад, хм! Что они все от него хотят!

Бугров помнил, что проходил в школе Чехова. Он помнил Волгу, которая впадает в Каспийское море, хорошо помнил Ионыча - их училка не раз поднимала Леху на смех после того, как он однажды несчастливо назвал того Иванычем. А что с того - хоть Ионыч, хоть Иваныч, разве от этого суть меняется? И еще он помнил, что доктор

Чехов - это должно быть смешно и немного грустно. И это всегда удивляло - ему не было смешно и грустно, а было скучно и тоскливо. Так тоскливо, что лучше уж было сходить на сдвоенную физику, чем на такую литературу.

Бугров добавил водки и не стал обращать внимания на звонок будильника, призванный приглашать зрителей к действию. Собственно, в спектакле ему было почти все ясно: они так и будут мучить Лопихина насмешками, пустыми словами, планами, мерзлым садом, наследят, надышат, а потом уедут и оставят его одного. И все это будет скучнее и тоскливее, чем школьный Ионыч. И можно было бы допить водку и уйти, если бы не ущербный этот, босой Лопихин в ляпочках, которого не хотелось так вот бросать одного, не зная, чем закончится сегодня его сегодняшняя скверная ночь.

- Вы что, сюда водку пить пришли? - услышал он голос буфетчицы.

- А хоть бы и водку. Тебе-то что за дело? - Бугров хотел догрузить фразу еще чем-то весомым, обидным, но осекся и уставился на свои большие ладони, поразившие его сходством с лопихинскими.

- Что это Вы грубите? - вспыхнула буфетчица. - Я таких, как вы, через день вижу. Как "Вишневый сад", так обязательно кто-то вот так в буфете отсиживается. Хорошо еще, если тихо, без буйства.

- Я тихо, - неожиданно мягко отозвался Леша.

Он продолжал разглядывать своих уменьшенных Лопатиных и удивлялся странному желанию, разливающемуся от живота к рукам и ногам: очень хотелось сделать что-нибудь хорошее и посадить это хорошее, как котенка, в лукошко ладоней.

- Суп-то небось остыл. Подогреть?

- Не. Не надо греть. Лучше посиди рядом, выпей со мной водки.

- Что вы, мне нельзя, мне еще во втором перерыве работать. Давайте я лучше Вам пирожок с грибами принесу. У нас повар хороший.

Бугров оторвал взгляд от своих рук и посмотрел на девушку. Ему хотелось смотреть как можно ласковей, но он чувствовал, что взгляд выходит столь же грузным, как и он сам. "По образу и подобию", - почему-то вспомнилось ему.

- Не надо пирожков. Выпей лучше со мной - ну, хоть не водки, так коньяку. Ну что ты сразу убегаешь? Не съем я тебя. Хочешь, домой отвезу после всего этого? Так просто. Ты где живешь?

- А я не одна езжу. Я не какая-нибудь одинокая.

”Вишенка”, с каждым словом Бугрова отступавшая на шаг, тут остановилась, уперлась каблучком в дощатый пол.

- Так. С кузнецом, значит?

- Почему с кузнецом? С администратором. А вам что за дело? Я вот с ним скоро в Америку уеду. - Она, похоже, настроена была и дальше спорить с Бугровым, но он замолчал и спрятал взгляд в ладони. ”Вот, обиделась. Ну, что же это такое? Как ни повернись, кого-нибудь заденешь. Как медведь. Чего только в театр приперся...”

- Ладно, не дуйся, давай пирог. Я ж ничего такого... Ты еще водки носи. Выпью за здоровье Леша Бугрова.

- А Леша Бугров - это вы? - Буфетчица опять подошла поближе.

- Я.

- Похож.

- Эх, - только и вырвалось у Бугрова. - А в Штаты с какой радости? Посмотреть или насовсем?

- Что я, дура, насовсем? Нет, поработаем год, и в Париж. Я в Париже жить хочу.

- А что так?

- Там тепло и весело! Там жизнь. И у Славки там дядя.

- А Славка - администратор?

- Не, Славка - жених.

- Что ж он, жених твой, год тебя ждать будет?

- А чего ему не подождать? Куда денется! Я ж красивая, - буфетчица громко рассмеялась.

Бугрову стало как-то неловко, жалко этого глупого Славку с дядей в Париже, жаль и дуру-девку, которую - сто пудов - обманет ушлый администратор, - ему Леша почему-то присвоил очки с маленькими круглыми стеклами, трехдневную классическую небритость и фамилию Полтарович.

- Осень, зима, птицы летят на юг, - пробормотал он странную фразу, которую буфетчица вряд ли и расслышала, но покачала головой и пошла за водкой.

- Вы, Бугров, пирогом заешьте и домой идите. А то у Вас в душе какие-то сумерки начинаются.

- Если птицы на юг улетають, значит это кому-нибудь нужно, - ответил Леша, сам не понимавший, что с ним творится.

Он выпил водки и склонил голову. Девушка встряхнула своей ”вишенкой”, махнула рукой и вернулась за стойку. ”Во народ у нас, мать вашу, - подумала она, хотела даже распутать эту мыслишку,

растянуть ее в продолжение фразы, но споткнулась и лишь фыркнула громко: - Театралы!"

* * *

Бугров хотел последовать полученному дельному совету и отправиться из театра хоть домой, хоть к Ленке, хоть куда глаза глядят. Но когда во втором антракте в буфет набежали люди и, набирая коньяк и бутерброды, все галдели о том, что Лопехин чуть было не звезданул на сцену и поговаривают, будто от него ушла актриса Купелина и он сегодня как-то особенно пьян, и что Войцеховская, она же Раневская, действительно только что вернулась из Парижа и собирается обратно, насовсем; так что играет, в общем-то, себя и играет здорово, и что сам Захар Самаров пришел на спектакль, так что если Лопехин не оступится, то театру могут дать ход, или, по крайней мере, помещение, - слыша все это, Бугров пришел в волнение. Оставить "им" Лопехина одного, бросить его он не мог. Он зашел в зал, где уже больше пахло пряными духами, чем вишней и табаком, нашел свой табурет, смиренно сложил ладони на теплых коленях и затаился. Бугров знал, что сад пойдет под топор, что Раневская отправится в Париж со своим гербарием пустоцветов. Все это стало ему неинтересно и блекло. Важно было досидеть до конца и узнать, что большой человек, раскачивающийся на проволоке, не упадет с высоты, не распластается плоским ребристым скелетом на затоптанных желтых досках, как раздавленный им вчера кленовый лист. Леше хотелось снять Лопехина с проволоки или хотя бы дать ему домашние тапочки, чтобы не резал ноги. И еще ему почему-то захотелось стать вороном, каркнуть, хлопнуть крыльями, сорваться с линии высоковольтки и улететь в рыхлый сизый лес.

Спектакль закончился неожиданно. Сперва по сцене бродило много людей, потом остался один. Он походил-походил и устало лег на сцену прямо перед Лопехиным, испуганно посмотревшим вниз. И вдруг свет погас совсем и послышался отдаленный звук, словно где-то за сценой лопнула струна. А затем этот звук повторился близко и резко - лопнула проволока под Лопехиным. Бугров вздрогнул и закрыл ладонями глаза, услышав шлепок тела и тихий, но протяжный вздох.

Когда зажегся свет, Леша еще долго не открывал глаза. Лишь когда вокруг стали громко хлопать, и кто-то хрипло кричал "браво", он рискнул посмотреть на сцену. Там, в самой середине, кивала

головой женщина, только что уехавшая в Париж, ее держал под руку старик, только что лежавший под Лопахиным. Он тоже кивал головой, как игрушечный детский петушок. Держась за руки, их окружали другие, смотрели в зал слепыми счастливыми глазами. Лопахин стоял крайним, смешно и жалко поджимая одну, будто подшибленную, ногу. Он никого не держал за руки, а брал из одной ладони, из пригоршни, вишни, а в другую сплевывал косточки. Что еще запомнил Бугров - это крупные, как горошины, собравшиеся у ляпочек капли пота на его плечах. Леша встал и вышел из зала.

На улице было холодно. Казалось, что лужи вот-вот и подернутся блестящей корочкой. Бугрову очень хотелось трех вещей: курить, сделать что-нибудь хорошее и дать некоему негодяю в морду. Но кто конкретно этот негодяй, Леша не знал. Он подошел к машине, провел рукой по вмятине на бампере. "Господи, вот так оступишься раз - и крышка. Зачем? Зачем я живу? Почему я здесь?". Но ему никто не ответил. "Так, понятно, это все от женщин. Довели до тоски животной", - усмехнулся Бугров, сам толком не понимая, говорит ли он о себе, о Лопахине или вообще об устройстве жизни.

Проезжая мимо церкви Троицы в Листах, он увидел нищего. Тот сидел, прислонившись к белой каменной ограде и дремал, завернув лицо в длинный шарф до глаз. Бугров остановил машину, перешел Сретенку, легонько толкнул бомжа кулаком в плечо и дал ему 10 долларов. Нищий проводил Бугрова долгим недобрим взглядом и, когда Леша вернулся в машину, принялся звонить по мобильному телефону.

"Ехал бы ты спать поскорее, - советовал Леше внутренний голос. - Москва большая, на всех долларей не хватит".

Леша не торопясь катил по Садовому. Авторадио "Семь", что на семи холмах, сообщало о пробке в районе Таганки, и Бугров с удивлением думал о том, сколько же народу едет в ночи из конца в конец этого бугристого города. И все они, мужики, стремятся к кому-то из своих квартир и сердец. А, значит, по закону сохранения массы и чувства, где-то их будет не хватать, где-то будут пустовать квартиры, театры, затухать в одиночестве жены, стареть - любовницы... И так вот каждый день вся эта мужская масса крутится, крутится по Садовому кольцу и торчит в пробке где-нибудь на Таганке, стекаясь в эту Таганку, как грязная вода в сливное отверстие старой, ржавой металлической раковины.

Грустно от этих мыслей не было, но было очень пусто. И от пустоты, как от ресницы в глазу, хотелось избавиться. Хотелось дать

в морду театралу, доставшему билет. "Вот заразы. Интеллигенция. Всю душу вынул". Леша подумал, что прав был Витек, и что надо было брать с театрала деньги, а билетами своими пускай подавится.

Бугрова сбил с мысли резкий сигнал - серый спортивный "мерс" настойчиво требовал уйти вправо и освободить полосу. "Что ему, слева места мало?" - буркнул Леша, но ушел в правый ряд. "Мерс" гордо проплыл мимо, бычья рожа на правом сиденье зло посмотрела на него. Бугров остановил машину, достал мобильник и позвонил Лене. Сперва сработал определитель номера, потом долго звучали длинные гудки. "Ну я же знаю, что не спишь еще. Подойди, маленькая!". Но Лена не подходила. "Не могу один домой. Подойди! Или махну в "Метлу!" - пригрозил он, но и это не помогло. "Никому я не нужен. Кроме проституток - прости, Господи". Бугров вновь завел машину, но перед тем как отправиться, набрал номер театрала.

- Алле, - услышал он сонный, угасший женский голос.

Злость у Бугрова исчерпалась. Ему представилась на том конце провода Раневская-Войцеховская, большая жабой или какой-нибудь инфлюэнцей. И эту несчастную бесплодную женщину пытается прокормить билетами такой же бесполезный театрал. Как его? Гаев. Со всей аккуратностью, на которую он был способен, Леша сказал:

- Это Бугров. Мне бы мужа вашего. По делу.

- Его нет, - таким же мертвым голосом отозвалась она. - Еще в театре, наверное. Передать что?

- Мне билеты нужны на "Вишневый сад". Два, на завтра. Леше Бугрову, из "ауди".

- Из ауди? - не поняла она.

- Да, он вспомнит.

- А-а. Ладно. На "Вишневый". Два. Передам. - Она, видно, уже собралась положить трубку, но после паузы еще переспросила - к Полтаровичу?

- Да, к Полтаровичу, - согласился Леша, хотя признавать, что он идет на "Вишневый сад" именно к Полтаровичу, ему почему-то было неприятно. Снова вспомнился разговор об исходе, раздавленный лист, холодный желтый ветер в осеннем парке.

- Да, понятно. К Полтаровичу, - эхом отозвалась женщина и голос ее изменился. Не то что повеселел, но посветлел на миг. - Я передам. Доброй ночи.

- Доброй... - Бугров покачал головой и улыбнулся.

Потом тронулся. В "Метлу" он решил не ехать.

Бугров дал по газам и полетел по Москве. Вот так бы и лететь, лететь. В теплом, пружинящем на московских ухабах авто. Всю ночь. Напролет. Нет, навывает...

Недалеко от Маяковки его внимание привлек знакомый серый двухместный "мерс". "Мерс" этот стоял у обочины и вроде бы ничем не отличался от сотни других таких же "Меринов". Но Бугров сразу узнал его по какой-то неуловимой разумом детали. Так узнают уголком глаза идущую по другой стороне улицы когда-то любимую женщину, так вспоминают перед боем безошибочно и необъяснимо свою будущую судьбу.

Леша сбавил обороты и продрейфовал мимо Серого. Водитель так и сидел за рулем, а его сосед вылез из машины и со смехом тянул внутрь, в салон, девушку. Та упиралась и что-то кричала. Бугрову показались забавными большие очки на ее маленьком личике. Видно, от крика они сбились на самый кончик носа и словно выражали свой отдельный от хозяйки испуг. "Вот город! Не город, а театр", - отметил Бугров, еще поглядывая в широкое зеркало заднего вида.

Мимо, слева, проехали менты. Их обдолбанный "жигуленок" слегка приспустил ход, поравнявшись с лешиным "ауди", и Бугрова ошупали цепкие недобрые буравчики. "Ну, что прицепился? - Леша встретился взглядом с сержантом. "Жигуль" чихнул на него, зарычал грозно и умчался в ночь.

"Да, может мимо проехать, а может зацепить..." Улетавшие осенние менты усилили в Бугрове философский строй. "Так вот вдруг хлоп - и останется от тебя клякса на сцене. Да звук лопнувшей лески, как будто ты сам ешь такая вот леска, на которую кто-то большой ловит себе рыбу. И то натягивает свой спиннинг, то приспускает его. Приспускает, если повезет. Вот девочке не повезло, попалась мушка паукам", - он вспомнил о сером "мерсе", но того уже не было видно в зеркало. Бугров причалил к обочине и дал задний ход. Вот показался Серый, он приближался, увеличивался, Леша отчетливо видел его хищную и тупую акулю морду.

Девочка все еще упиралась, но уже молча. Очков на ней не было, а испуг на лице сменился тоскливым отчаянием. Прохожие бросали на нее короткие взгляды и обходили стороной; бычек из "мерса" больше не смеялся. Он сжал зубы и с силой дергал жертву за руку, как собака зубами упрямо вырывает палку. "Оторвет ведь", - подумал Бугров, лишь угадывая в ночи тонкую веточку руки.

Правая дверца "мерса" открылась. Из нее появился, точнее, "разложился", как складной нож, длинный наголо бритый парень. Он

обогнул Серого, подошел к девушке и коротко, видно, даже несильно ударил ей в ухо. Она упала на колени и закричала пронзительно, как рожаящая кошка. Овчарка, прогуливающаяся поблизости с хозяйкой, метнулась на звук, но хозяйка что есть силы, с весом, рванула повод, налегла на него и заорала: "Альфа, к ноге! Домой, сволочь!". Собака секунду еще упиралась всеми четырьмя мощными лапами, но потом послушалась команды.

Рванул свою жертву и бычек, и та с колен, головой вперед, упала в салон - только спичечные ноги еще торчали снаружи. Длинный, сделав свою работу, сплюнул и отправился за руль.

Бугрову не было жаль мушку. Он давно усвоил, что в этой жизни не стоит жалеть проституток, разорившихся бизнесменов, бедных инженеров, ментов и, главное, неудачников. Девочке очень не повезло. Она "попала". Так же мог попасть и он. И этот длинный урод. И старая женщина со своим "Вишневым садом". И театрал с "жигуленком"...

И фокус-то был в том, что женщине повезло, повезло на Лопяхина. И театралу повезло с ним, с Бугровым. Так что дело вовсе не в том, что ему, Бугрову, жаль "попавшую" дуру-девку, а в том, что ему сегодня хочется сделать что-то... вот такое. Не как всегда. По проволоке пройти. В Египет. Из Египта.

Леша Бугров вывел машину вправо, обождал немного и дал полный задний ход. Он рассчитал так, что "ауди" ударил задом точно в основание широкой полуоткрытой двери Серого тогда, когда длинный уже сел за руль, но нога его еще стояла снаружи.

"Мерседес" смешно согнулся в банан, словно получил под дых. Водила выпал на мостовую и стал кататься по ней, жутко матерясь и держась двумя руками за перебитую ногу. Бычек едва успел отскочить в сторону от прыгнувшего прямо на него "Мерина". Он растерянно моргал, не понимая еще, что произошло.

Бугров, придя в себя после мягкого, но чувствительного удара затылком о подголовник, зажал в кулак большую пятимарочную монету и вышел наружу. Пятак этот недавно кто-то привез из Германии, а вот кто это был, и как монета оказалась в кармане, Леша вспомнить не мог. Наверное, еще когда его сороковник справляли... Зато помнил, что в юности, в школе, копеечная мелочь, медный пятак, не раз помогал ему в драках.

- Тх, отмозг, т ппал крут. Ну т понл, да? - Бычек пошел на Бугрова, по дороге сплевывая меж зубов слова, как шелуху от семечек.

- Сколько? - спросил Леша.

Он был спокоен и полон. Просто полон. Так полон, как может быть полна собой весенняя река.

- Зависит, - с неожиданной отчетливостью выговорил бычек.

Он даже замедлил шаг, видно, прикидывая в уме математическое выражение для "попадалова".

"Почему он меня совсем не боится? - удивился Бугров и остановился. - Молодой еще. Пусть пешеходом поработает".

Тем временем девчонка в "мерсе" очухалась, выскочила, наконец, наружу и потеряно смотрела то на сближавшихся мужчин, то под ноги. Видно, искала очки. Только когда Бугров ударил быка большим кулаком в его маленькую и потертую, как гандбольный мяч, голову, она очнулась и побежала, смешно припадая на правую ногу.

Леша промахнулся. Гандбольный мяч нырнул под его рукой, будто ушел под воду, и вынырнул вновь. А вслед за ним в челюсть ему вынырнул кулак, твердый и тяжелый, будто залитый свинцом. В глазах у Бугрова потемнело, во рту разлилась противная кислота. От второго, вдогонку первому прилетевшего кулака в голове что-то лопнуло, потом стало совсем тихо, и весь мир вокруг заполнил звон лопнувшей, но вроде бы все еще дребезжащей струны. Леше не было больно. Напротив, ему стало хорошо, очень хорошо, как будто он после холода попал, наконец, в давно желанную, нежно журчащую воду, теплую как раз настолько, насколько просило тело. Или душа.

Он бы упал, если бы не родной "ауди", подставивший хозяину свою темную спину. Уперевшись в эту спину, Леша что есть силы кинул в лицо врагу монету, рассекающую ребром воздух и попавшую быку прямо в глаз. Тот закрыл глаз обеими ладонями и на миг присел на корточки. Этого мига Бугрову хватило, чтобы упасть на быка сверху. "Конец тебе, боксер". Леша уже знал, что теперь-то не упустит, задавит. Тело работало, боролось за жизнь, руки в замке сминали врага, лишали его воздуха, крошили тисками хрящи, но сам он не испытывал злобы. Он слушал звоны и, помимо кислоты, отчетливо ощущал вкус вишни.

Все-таки появились менты, оттащили Бугрова и извлекли из под него полумертвое мятое существо. Леше надели наручники и посадили на холодную мокрую землю, спиной прислонив к колесу Серого.

- Петухов, глянь, чего там второй так охает? - прикрикнул краснокожий щекастый капитан, оглядывая поле боя с видом полководца. - И гляди, осторожно... Может, где пушка валяется...

Маленький востроносый лейт поправил висящий на шее

автомат и нырнул за "мерс". Длинный перестал стонать.

- Не, Саныч, типичный ДТП. Борова берем, тачки ГАИ оставляем, а по этим доходягам люди в белых халатах плачут.

Петухов насильно пнул ногой колесо, поддерживающее Бугрова.

- Ну, так вызывай дорожников. А этого тащи в машину. Колдобин, - вновь подал голос капитан. - Ты чего там телишься? Дышит твой отморозок? Ну так пускай сам отлеживается. Проверь по карманам документки и дуй сюда, а то что, Петухов один этого мамонта волочь будет? - он кивнул на Бугрова.

Колдобин, высокий, сутулый и какой-то потерянный, как старая подмерзающая птица, направился к Бугрову и наклонился над ним.

Леша не слышал того, о чем говорили менты. До него начала доходить боль, которая разрасталась и множилась, идя от основания носа и от уха по всей голове. Как будто этих болей было много и похожи они были на вязкие жидкие массы, вроде мазута, вытекавшие сразу из нескольких дыр. И еще Леше было жаль. Жаль раздавленного листочка. Жаль евреев, исходящих из Египта, как его боль - из черепа. Лену жаль. И очень жаль себя. Он не плакал, но из широко открытых глаз падали на брюки крупные теплые слезы.

- Саныч, смотри, очки нашел, - Петухов поднял с земли очки. - Вроде хорошие. Может, этого? Этот поумнее выглядит.

- Твои, что ли? - лейтенант, как и Колдобин, наклонился над Бугровым.

- Ты чего, глухой? Смотри, Колдобин, плачет... - Петухов постарался надеть очки на Бугрова, но они не налезли, дужки разошлись в стороны и треснули.

- Вот гад. Очки из-за тебя сломал. Саныч, очки, кажись, бабские. Может, гомики? Видишь, как слезы тёкают. А, Колдобин? Ты чего, примерз, что ли?

Бугров понял, что очки - его шанс на спасение, или упекут в тюрягу за все, что было и чего не было сегодняшней ночью в этом глухом городе.

- Очки. Девушка. Они ее в машину. Насильно...

- Ты чего орешь? - Петухову Леша явно был не по душе. - Чего пургу гонишь? Водки нажрался, да?

Колдобин присел на корточки.

- Может, он и правда контуженый? Вишь, глаза какие? Я в Афгане таких видел.

- Ребятки, они б ее убили. Клянусь. Упал я. Отпустите, а?

Миленские мои... - голова у Леша горела, он говорил наугад, как в бреду.

Петухов махнул рукой и пошел к ментовской машине.

- Тащи сам своего афганца, - бросил он Колдобину. - Саньч, у тебя спички есть? Перекурю, а то наш сердобольный расследование затеял.

Капитан вздохнул и извлек сигареты.

Колдобин поднялся и обошел кругом место происшествия, ощупал рукой помятый передний бампер лехиного "ауди" и вернулся к Бугрову.

- Эй, инспектор Лосев, потарапливайся, а то сейчас дорожники примчатся, еще год здесь будем торчать, - с насмешкой, но без злобы прикрикнул капитан, выпустив облако табачного дыма и став похожим на кражистый пароход.

Колдобин вновь присел возле колеса и одними губами прошептал:

- Парень, у тебя деньги есть? - и сделал движение, будто пересчитывал купюры.

Леша понял. Он кивнул в направлении своей машины.

- Ты... им... дай... денег, - так же прошептал мент, снял фуражку и сделал жест, будто собирает милостыню.

Но Бугрову показалось, что он различил слова. Он снова согласно кивнул.

- Товарищ капитан, тут обстоятельства.

- Ты чего, сержант, охренел? Какие в час ночи обстоятельства? - вконец потерял терпение Петухов. - Все вы, афганцы, контуженные, - тихо и недобро сказал он, будто финку в карман сунул.

Саньч еще раз посмотрел на Колдобина и отправился к нему. Видно было, что ходить ему тяжело или просто лень, так что если уж он решился отправиться в плавание, то лишь по важному делу. Он приблизился к сержанту, выслушал его "обстоятельства" и окликнул Петухова:

- лейтенант, сними с гражданина обода.

- Счас, докурю... - недовольно отозвался Петухов.

- Перекур отменяется... Мы задерживаем гражданина, пострадавшего в ДТП.

- Да, пострадавшего... Ты, Саньч, гаишникам этот металлолом покажи, им про пострадавшего объясняй. От него и водярой за версту.

- Петухов, ну-ка быстро снимай наручники! - гаркнул

капитан и побагровел. - Может, ты и к нам с Кандыбиным начнешь приноховаться!?

Потом снова усмехнулся:

- Тут гражданин залог желает внести, так что не тяни резину.

Петухов, услышав про залог, бросил сигарету и поспешил к Бугрову.

- Да, крепко тебя наварили, - сочувственно сказал капитан и похлопал Лешу по плечу, когда тот поднялся.

Но Бугров не понимал, что ему говорят, и обернулся к сержанту.

- Вишь, кто-то тебе в нос наподдал, вот ты задом в него и въехал. Так и пой, если гаишники к тебе вдруг пристанут. И хоть сотню себе оставь, - тихо, но отчетливо выговорил Колдобин, и Леша вновь порадовался, что слышит его.

Он извлек портмоне, достал оттуда все свои доллары и протянул капитану. Тот, не считая, зажал их в кулаке, похожем на красную варежку, и напутствовал Бугрова на прощанье.

- Осторожнее надо ездить.

- Я в театре был, - неожиданно решил поделиться Бугров, но не с капитаном, а с сержантом. - Там Лопахин чуть не упал.

- И правда контуженный. Вот почему я, Колдобин, с тобой в наряд не люблю - ты всегда таких находишь. Как ты, - не сдержался Петухов.

- А от тебя рыбой всегда воняет. В машине сидеть не могу, - вдруг окрысился и Колдобин.

Он припустился за Петуховым и словно вознамерился клюнуть его в самую макушку, сверху вниз. Страшно было наблюдать эту детскую ссору вооруженных автоматами ночных ментов, но бояться было некому. Саныч уже плыл к "газику", а Бугров и не слышал, и не смотрел на них. Он искал в кармане ключ зажигания и думал о том, что сейчас осторожно поедет к Лене, и она вылечит ему голову. А он расскажет ей о странном, похожем на цаплю менте. И о девочке в очках. И еще о том, что он все-таки не зря родился. Вот такой, как есть. Большой, битый, дурной. И о несчастном Гаеве. И о его счастливом "жигуленке". И о том, что они поедут в Египет. И пойдут в театр.

Порыв ледяного ветра забрался за ворот, обжег шею. Леша поднял глаза. Над Москвой стояла зорька, небо вдалеке было темно-розовым, и по этому далекому розовому морю бежали, торопились на запад острые черные облака.

